

ЮРИЙ НАГИБИН ◆ МОЯ АФРИКА



Юрий  
Нагбин

**ЮРИЙ  
НАГИБИН**



**МОЯ  
АФРИКА**



АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

*Юрий  
Нагибин*

**МОЯ  
АФРИКА**



**ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»  
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1973

Ответственный редактор  
Л. Н. ПРИБЫТКОВСКИЙ

ФОТО Ю. НАГИВИНА,  
В. РАМЗЕСА, Н. ХОХЛОВА  
И  
«ФОТОХРОНИКИ ТАСС»

## СВОЯ ЧЕКАНКА

Книга, которая лежит перед нами, пожалуй, поначалу может вызвать недоумение одним своим названием: певец Чистых прудов и Мещерской стороны, автор многочисленных новелл, многие из которых давно стали хрестоматийными, десятков сценариев о жизни советских людей, о наших современниках на этот раз представляет... Африку. Не статьей, не серией путевых очерков-зарисовок, что вообще-то так обычно для наших дней, отличающихся широким международным общением и туристическим паводком, а целой книгой. Лет десять назад Юрий Нагибин совершил первую поездку в африканские страны. За ней последовали другие. Накапливался материал. Появлялись журнальные публикации. Пробуждался более углубленный интерес к Африканскому континенту. Как говорится в таких случаях, писатель «заболел» новой тематикой. И возможно, что, в то время когда мы листаем страницы его Африки, автор совершает путешествие по берегам Замбези или вслушивается в шум водопадов на реке Конго...

«Сумею ли я за краткое трехнедельное путешествие хоть краешком заглянуть в скрытую жизнь этих людей, хоть в малой мере понять их страсти, их надежды и горести, их стремления и желания, их гнев и нежность?» — пишет Юрий Нагибин. Подобные сомнения встают перед каждым пишущим о той или иной африканской стране независимо от времени пребывания в ней. Живи год, два, а такие внутренние вопросы все равно будут преследовать тебя. Но мне представляется, что Юрий Нагибин не зря мотался по пыльным африканским дорогам.

В книге широко представлены люди новой Африки, что особенно ценно в познавательном смысле. Автор не впадает в грех, присущий многим беллетристам, залетевшим в африканские просторы и выезжающим на экзотике, на броских описаниях борющегося континента, жители которого якобы только и знают, что бесконечно танцуют, жгут костры, бьют в тамтамы и с ходу,

не успев как следует и познакомиться, осыпают прибывшего поговорами и поговорками, а узнав, что перед ними советский человек, впадают в неопишуемый восторг... Такого сорта банальности автор счастливо обошел стороной. Персонажи его книги говорят просто, естественно и достоверно. «Вы поедете по стране, вы увидите древнюю роскошь и нищету настоящего, вы увидите ростки нового, вы увидите, что люди по-другому глядят на мир. И это, быть может, самое важное, самое ценное, я бы сказал, даже самое реальное из всего, что принесло нам сегодня национальное освобождение: новый, открытый взгляд людей, над которыми никогда уже не взвонят кнут колонизаторов, взгляд людей, все отчетливее и глубже осознающих свою свободу от иноземцев, свое гражданство в независимом государстве, взгляд людей, пробуждающихся для сознательной жизни в обществе», — говорит автору один марокканский служащий.

Можно предположить, что советскому писателю приходилось выслушивать не одного чиновника: у него были встречи и с министрами и с другими высокопоставленными лицами. Из массы высказываний приведено одно, и оно бьет в цель, ибо раскрывает существо происшедших перемен. Марокко — монархия. Специфика состоит в том, что колониальные власти передали управление страной королю. В современной Африке не так уж много династических режимов. Но и они являются (значительным или менее значительным) шагом вперед по сравнению с полным империалистическим засильем. Логика национально-освободительного движения новой Африки такова, что даже монархические институты в силу общей политической тенденции в ряде вопросов вынуждены выступать против колонизаторов и считаться с настроением народной массы. Пусть свобода еще не полная, но люди успели ощутить ее озоновое дыхание. К тому же опыт соседних демократических государств, избравших республиканскую форму правления, со всей убедительностью показывает, в каком направлении следует идти дальше, где находится та заветная вершина, достигнув которой человек вздохнет полной грудью.

В описании Марокко нет набивших оскомину крайностей. Я имею в виду склонность некоторых авторов к расписыванию «жгучей ненависти», «клокочущего гнева» и прочих человеческих чувств, проявляемых в минуты наивысшего напряжения. В обыденные же дни, когда народ занят рабочей суетой, эти «жгучие» и «клокочущие» стихии могут возникнуть лишь в слишком бурном воображении. Умный наблюдатель с должной выдержкой отнесется к случайным лозунгам, выкрикам толпы,

проанализирует все «за» и «против», прежде чем позволит себе высказать собственное мнение. При этом он руководствуется чувством ответственности перед читателем: страна-то далекая, чужая, порой о ней мало что знают, а хотят услышать правдивое повествование...

Юрий Нагибин выходит на широкий людской тракт и с до-тошностью крестьянина, попавшего в сутолоку современного большого города, обо всем расспрашивает, все замечает, часто останавливается, чтобы узнать, во что одет человек, как называется эта одежонка, сколько она стоит у разбитного африканского лабазника, ноская ли, не подсунули ли бедному арабу какую-то заваль. Я нисколько не утрирую, просто зрительно представляю Юрия Марковича за «сбором материала» в африканских странах. И так — с утра до ночи, с ночи до утра: поездки, беседы, выступления, споры с африканскими коллегами по перу. Только при такой неумной натуре и можно претендовать на то, что ты что-то понял в этой жаркой, бурной, не перестающей изменяться и удивлять мир парадоксами Африке! Только неиссякаемая любознательность позволила автору дать красочную и многогранную мозаику, например, Марокко.

Какой широкий охват! Колоритные сцены так и следуют одна за другой: моление о дожде, гадание с вараном в руках, базарный притвора, мастер перевоплощения, африканский Петрушка, шофер Хуан, сражавшийся в Испании на стороне республиканцев, сапожник, накопивший наконец денег на покупку престарелого велосипеда, европейский художник, древние и молодые города. Все это движется на читателя, все в развитии, и все составляет частицу реальной действительности. Медина в Касабланке, т. е. арабская часть города, с трудом поддающаяся веяниям времени, почти такой же была внешне и до независимости, такой она осталась и после неудавшейся попытки переворота во дворце Скират.

Читатель не найдет в книге описания перипетий, связанных с этой печальной страницей в истории Марокко, перевернутой летом 1971 года. Тогда курсанты военного училища во главе с директором королевского военного кабинета генералом Мухаммедом Медбухом совершили нападение на королевский дворец Скират, расположенный недалеко от Рабата, в тот самый момент, когда там проходил дипломатический прием по случаю дня рождения... короля. Путч был подавлен немедленно. В тот же день радио столицы передало: «В Марокко все спокойно. Положение в стране нормализуется».

Вне книги и события в Судане, где тоже была предпринята

попытка переворота, вылившаяся в расправу над многими видными деятелями суданского освободительного движения, обернувшаяся полосой репрессий против коммунистической партии, ее признанных лидеров.

Писатель не стал включать в книгу главы или разделы, посвященные событиям, свидетелем которых он не был. Не спорю, иной расторопный автор непременно вышел бы из положения, описав, что называется задним числом, как раз то, чего он не видел, да так искусно, что у читателя и мысли не возникло бы о переписывании и «литературной обработке» чужих источников.

Юрий Нагибин и в этом плане привлекает писательской честностью: он пишет о виденном и слышанном, о том, что наблюдал своими глазами, пережил, перечувствовал. Для порядочной книги куда как достаточно и того! Что же касается политической злободневности, то, во-первых, за ней просто не угнаться. Приливы и отливы в африканских событиях порой поразительно часты и совершаются в отличие от океанских, казалось бы, в самых непредвиденных местах. Только газета способна угнаться за волной африканских и мировых известий, да и она сплошь и рядом не поспекает. Во-вторых, автор, как нам представляется, и не ставил своей целью освещать политико-экономическую сторону проблемы. Это не значит, что в книге нет ни политики, ни экономики: есть, но эти вопросы поданы приемами художника, а не репортера, они поставлены не речами политиков, не цитатами из деклараций и резолюций, а писательским изображением существующей обстановки, своеобразным подходом к людям, который отличается глубиной и наблюдательностью. Я отнюдь не хочу противопоставить один метод другому: речь идет о правомерности и оправданности появления совершенно различных книг, посвященных современной Африке. У Юрия Нагибина — своя чеканка сработанного им африканского сосуда...

Мне доставили особенное удовольствие страницы о Нигерии. Гигантская страна — и не по одним лишь африканским масштабам. Шестьдесят с лишним миллионов населения — первое место в Африке! В своих очерках писатель передал человеческую атмосферу в одной из наиболее сложных стран независимой Африки, пережившей тяжелые годы братоубийственной войны, развязанной сепаратистами из Биафры. Нигерийский народ совершил настоящий ратный подвиг, отстояв единство своего государства, его неделимость, целостность. Общенациональные задачи потребовали невероятных жертв — материальных и людских, но центробежные силы, подогреваемые империалистиче-

скими колонизаторами, были сняты и устранены с арены общественной жизни.

Советский писатель, оказавшийся в Нигерии, мягко, по-доброму, с теплотой и сочувствием присматривается к жизни вышедшей из горнила войны страны. Глаз у него точен, как и слово. Из его поля зрения не ускользнуло и то обстоятельство, что после войны в Нигерии возрос интерес к нашей родине, к опыту Советского Союза. Общественность страны отдает дань уважения принципиальной политике нашей социалистической державы, которая от начала и до конца военных действий оказывала разнообразную помощь федеральному правительству. В восстановительный период расширилась торговля между двумя дружественными странами, оживились контакты во многих других сферах. Нельзя без волнения читать сцены встречи советских литераторов с деятелями Общества нигерийско-советской дружбы: члены этого общества несут в народ правду о Советском Союзе, выступают за всемерное расширение связей со странами социализма. И в частных беседах пробивается это тяготение к нашей стране. Так, в доме одного местного вождя, известного политического деятеля Нигерии, разговор вращался вокруг колхозов и принципа распределения доходов по трудодням. Поверь, читатель, в буржуазной стране все эти понятия, вошедшие в наш обиход устоявшейся прозой, воспринимаются возвышенно, постично! «И снова я испытал,— делится впечатлениями автор,— странное, удивленно-взволнованное чувство: «за тысячи верст от родимого дома», в сказочном дворце, где за окнами фаянсовая лазурь небес и зелень манговых деревьев и летают райские птицы, а по залам бесшумно скользят слуги в шелковых одеждах, будто на гумне или на завалинке в рязанской глубинке звучат слова «трудодень», «неделимый фонд», «бригада», «предколхоза»...».

Интересный писатель всегда и всюду найдет интересных людей — и на советских, и на африканских проселках. Понятно, что Юрий Нагибин проявляет интерес к африканской интеллигенции: она только нарождается, ее пока мало, но пирога, как говорит африканская поговорка, отчалила от берега. Шагнуло вперед народное образование, открываются университеты и технические училища. Грамотных людей становится больше. Развивается африканская литература, а самобытное искусство заявило о себе красочными национальными и общеконтинентальными фестивалями-смотрами. Все это свидетельствует о духовном подъеме народов, вышедших на путь самостоятельного развития. Книга знакомит читателя с нигерийскими литераторами

Волле Шоинкой и Амосом Тутуолой, блистательным скульптором Беном Эвонву, у которого в войну погибла коллекция произведений, с кенийским художником Эммо Нджау и талантливый кенийский скульптор-самоучкой Эдвардом Нженги, работающим в «Центре помощи неимущим», с «египетским Чеховым» — писателем Юсефом Идрисом, у которого в душе — боль за поражение в войне с израильскими агрессорами...

И все — человечно, по-нагибински душевно: писатель воспекает людей труда, он ценит увлеченность, высокий профессионализм в любом деле. Ремесленники вызывают у него проникновенные слова о мастерстве вообще. Вот это место: «Запомни,— сказал я себе.— Не доверяйся скользющему бегу пера по бумаге, принимая обманчивую легкость за вдохновение. Сомневайся в каждом третьем слове, ведь рука слепа... Да хватит ли всей жизни, чтобы стать настоящим ремесленником в своем литературном цехе?..»

Хочу обратить внимание и на словесную ткань африканских рассказов: она добротна, выразительна. Порой короткие, удачные мазки создают законченную картину. Их — настоящая россыпь: «Каждый нигериец похож на Остужева в роли Отелло»; об аистах, которые «выбрасывали перед посадкой длинные ноги, устремленные вперед, будто шасси самолета»; у автора — «зебры в арестантских халатах», «духота ночи, набитой звездами, как решето черешнями». Читатель как бы своими глазами наблюдает за церемонией встречи эмира, которого «служители связали... с лошади, оправили на нем воздушные одежды, будто на невесте перед венцом», за всадником: «Он круто осадил, будто врыл коня в землю», как, «отмахивая пальмы (не километры!), мы мчались по широкому, прямому шоссе»...

Ну как после этого не ждать от Юрия Нагибина новой книги об Африке! Закон подлинного мастерства одинаков в любой профессии: сделав удачную вещь из нового материала, художник приступает к очередной работе. Полагаю, что к этому пожеланию присоединятся многие-многие читатели нагибинской книги о нагибинской Африке.

*Н. Хохлов*

## НА ЗЕМЛЕ МАРОККО

### У ПОРОГА СТРАНЫ

За плечами были тысячи километров пути: перелет Москва — Париж на «ТУ-104», двухдневная беготня по парижским улицам, долгий перелет из Парижа в Касабланку на старом французском самолете, шедшем так низко, что были видны пустые арены для боя быков в испанских городах, — но сейчас, выйдя из отеля, расположенного в самом центре Касабланки, я испытывал такое чувство, будто путешествие только начинается. Нам предстояло проделать на автобусе три с половиной тысячи километров по Марокко, стране не столь уж обширной, но включающей в себя и покрытые снегом горы Атласа, и знойные пески Сахары; стране, омываемой на западе Атлантическим океаном, на севере — Средиземным морем. Я чувствовал себя на границе неведомого и жадно вглядывался в проходящих людей: статные длинноногие мужчины, сторбленные, пропеченные солнцем старики, женщины с младенцами за спиной — их зачуранные лица, казалось, хранили тайну, черноголовые ребяташки, нищие-слепцы... Сумею ли я за краткое трехнедельное путешествие хоть краешком заглянуть в скрытую жизнь этих людей, хоть в малой мере понять их страсти, их надежды и горести, их стремления и желания, их гнев и нежность?

Встретившись в первый же день с одним правительственным чиновником, я попросил его дать краткую характеристику его страны.

— Это очень трудная задача, — сказал он, улыбаясь. — Марокко — абсолютная монархия, у нас нет конституции, но при этом существуют многочисленные по-

литические партии. Еще покойный король Мухаммед V заявлял о своем божественном праве на безраздельную власть, но в вопросах международной политики и в отношении к странам социалистического лагеря был левее иных наших левых партий.

Мы завоевали государственную независимость, но экономически зависим от иностранного капитала. Наша свобода еще молода, а полустолетнее владычество французов обобрало нас и материально, и духовно. Колонизаторы искореняли в Марокко все проявления народного духа, кроме, разумеется, религии. У нас есть немногочисленные писатели, но нет национальной литературы; у нас нет национального театра, а современная национальная живопись делает лишь первые шаги; у нас нет науки, кроме церковной, — а на что потребны знатоки Корана стране, которой предстоит завоевать экономическую независимость, искоренить болезни, голод, нищету? У нас сделано кое-что для развития среднего и высшего образования, для борьбы с эпидемиями, оживления культурной жизни. Мы могли бы сделать больше, но стране дьявольски не везло. Сперва саранча уничтожила посевы на самых плодородных землях, затем разразилась агадирская катастрофа \*, оставившая тысячи людей без крова и средств к существованию, затем — массовое отравление оливковым маслом...

Вы поедете по стране, вы увидите древнюю роскошь и нищету настоящего, вы увидите ростки нового, вы увидите, что люди по-другому глядят на мир. И это, быть может, самое важное, самое ценное, я бы сказал даже — самое реальное из всего, что принесло нам сегодня национальное освобождение: новый, открытый взгляд людей, над которыми никогда уже не взвоется кнут колонизаторов, взгляд людей, все отчетливее и глубже осознающих свою свободу от иноземцев, свое гражданство в независимом государстве, взгляд людей, пробуждающихся для сознательной жизни в обществе...

Я не раз вспоминал эти слова во время поездки. Но с особой силой вспомнились они мне однажды вечером, когда мы выезжали из маленького городка Имусер. На окраине группа мужчин в белых одеждах молилась о

---

\* Агадир — город на Атлантическом побережье Марокко, в феврале 1961 г. сильно пострадал от землетрясения.

ниспослании дождя, а неподалеку шло народное гулянье. Гадальщик с вараном предсказывал судьбу, плясали плясуны, местные силачи показывали свою силу, а местные гимнасты — свою ловкость, без усталости гудели узкие длинные барабаны. Мы попросили остановить автобус и высыпали наружу. По мере нашего приближения веселая жизнь площади, словно по команде, стала замирать. Смолкли барабаны, оборвалась пляска, застыли гимнасты и силачи, пола халата накрыла варана, а толпа медленно, волнами, повернулась к нам. Сотни пар глаз глядели на нас сурово, требовательно, непримиримо. Глаза мужчин и женщин, стариков и детей, больные, красные глаза нищих и даже незрячие очи слепцов источали гнев.

Если бы тысячи глоток рявкнули нам в голос: «Вон!» — это не произвело бы столь ошеломляющего впечатления, как этот грозный, властный, молчаливый взгляд.

Механик нашего автобуса Браим первый догадался, что нас приняли не за тех, кем мы были. Он крикнул какую-то фразу, из которой мы поняли одно лишь слово: русские. И тут произошло то, что в описании выглядит нарочитым, а в живом переживании дарит таким захватывающим чувством гордости, радости и умиления, что комок подкатывает к горлу. Глаза людей мгновенно потеплели, в них засветилось радостное удивление, доверие и близость. И, будто в сказке о спящей царевне, враз ожила площадь: загремели барабаны, заплясали плясуны и метнул ввысь смуглое тело гимнаст...

## ДУРНОЙ ГЛАЗ

Широкая серебристо-пыльная площадь четко делит Касабланку на новый и старый город. Белые небоскребы, уходящие в ярко-синее небо, глядят свысока на маленькие, тесно сбитые домики медины\*. Из медины к сверкающим витринам кафе, расположенным в нижних этажах небоскребов, прибегают арабские мальчишки поглазеть на туристов, поклянчить сигарету или денежку.

---

\* М е д и н а — арабская часть города.

За стеклами кафе, если смотреть с площади, всегда видны нацеленные на медину фото- и киноаппараты. Туристы подстерегают здесь арабов в национальной одежде, арабских женщин с младенцами за спиной, юных и пожилых велосипедистов в джеллабе, чадре и бабушах \*. Фотографировать в медине почти невозможно. Мусульманская религия запрещает всякое воспроизведение человеческого облика, и арабы энергично противятся «сглазу».

...Этот рослый краснолицый турист пытался фотографировать на площади перед кафе. Сдвинув на лоб легкую фетровую шляпу с фестонами для прохлады, он выламывал свое тучное, негибкое тело, тяжело набившее клетчатый пиджак и серые брюки, стараясь поймать в объектив стайку арабских ребятишек. Он присаживался на корточки, крался, согнувшись, под прикрытием автобуса, чтобы щелкнуть затвором из-за угла, изгибался с неповоротливостью только что отобедавшего удава, пытаясь накрыть их врасплох. Ребятишки были начеку и мгновенно разгадывали хитроумные маневры туриста. Только он подносил палец к затвору, как они разом перемахивали через деревянную ограду вокруг строящегося дома, а едва он отымал аппарат от глаза, показывали над краем ограды свои смуглые смеющиеся мордочки.

Конечно, они боялись сглаза, но больше тут было игры, причем игры на грани издевательства. Когда турист терял их из виду, они сами напоминали о себе громкими криками: «Американос!.. Американос!..». Но американский турист то ли не догадывался, что над ним смеются, то ли не считался с этим.

Нетрудно было понять, чем вызвано его упорство. Ребятишки были очень живописны, в своих ярких лохмотьях они напоминали пестрых взъерошенных птиц. Особенно занятен был темнокожий малыш с бритой головой, на которой курчавился один только черный локон. Мальчиков-мусульман обрезают в восьмилетнем возрасте. А что, если бог призовет малыша до свершения обряда, как отличить его от неверного? Для того и оставляют на стриженной макушке витой хохолок. За

---

\* Д ж е л л а б а — рубаха; б а б у ш и — мягкие туфли без задников.



Касабланка. На перекрестке

этот хохолок возьмет его пророк и перетащит в рай, куда доступ открыт лишь правоверным.

Турист не был пророком, и ему никак не удалось «ухватить» ни владельца хохолка, ни его быстрых товарищей. И тут я заметил еще одного участника игры.

В некотором отдалении от хохлатого арабчонка и его приятелей слонялся, опираясь о высокий самодельный костыль, мальчик лет одиннадцати-двенадцати, облаченный в заношенный взрослый пиджак, доходивший ему до голых колен. Одна нога его была калечной: тонкая, с кривой, толстой, будто распухшей, ступней. Узкое, бледноватое, темноглазое лицо смотрело чуть вбок, отворачиваясь от остро вздернутого костылем плеча.

Парнишка, которого так жестоко сглазила судьба, тоже боялся дурного глаза. Как только турист нацеливался фотоаппаратом на стайку ребятишек, он с испуганным видом ковылял прочь. Затем опять возвращался в поле зрения аппарата. Но туриста вовсе не интересовал калека, он досадливо отворачивался, и хромой мальчик тщетно пытался его завлечь, выставляя напоказ свой жалкий облик. Ведь он был дитя и, как другие дети, хотел участвовать в игре, хотел, чтобы его пугали стеклянным оком объектива, хотел спастись от сглаза, испытывать страх и радость избавления.

Мой товарищ, художник, медленно поднялся из-за столика — мы сидели под ярко-полосатым тентом летнего кафе — и пошел к выходу. По движению его локтя было видно, что он заводит кинокамеру.

Наверное, хромой мальчик что-то понял, теперь он понуро стоял в сторонке и с грустно-завистливым выражением смотрел на улепетывающую стайку и с каким-то стыдливым упреком — на туриста. Он не сразу заметил, что художник навел на него кинокамеру. А заметив эту счастливую угрозу, он с тонким, радостным криком метнулся за фонарный столб.

Я тоже вышел из кафе и взял его под обстрел «ФЭДа». Какие чудеса быстроты и ловкости требовались от мальчишки, чтобы избегать двойной опасности! Он проворно ковылял на своем костыле, порой припадал к земле, чтобы тут же вскочить, он ругался почти всерьез, грозил нам кулаком, торжествующе смеялся, задыхался от усталости, он жил.

## МИМОЗЫ

Белые, сверкающие, будто высеченные нацельно из меловых гор, здания Касабланки сперва бежали наперегонки с автобусом, но вскоре безнадежно отстали.

В приоткрытые окна летели нежные, медовые запахи. Как я потом убедился, эти запахи слышишь всюду, где Северная Африка зелена. В ожидании каких-то свежих, радостных впечатлений я откинулся в кресле и прикрыл глаза.

— Справа мимозы! — послышался из хриплого микрофона голос гида.

Я сидел с правой стороны, но, глянув в окно, мимоз не обнаружил. Насколько хватало взгляда, вдоль шоссе и в глубину простора раскинулось одно из тех уродливых лоскутных поселений, для которых французы придумали звучное слово «бидонвилль» — жестяной город. Печальные спутники капиталистических городов, эти «бидонвилли» под всеми широтами и долготами выглядят на одно лицо. Человечьи берложки строятся из всевозможной дряни: обрывков ржавой жести, кусков фанеры, камней, тряпок, щебня, картона. Как ни быстро мелькали мимо меня жалкие лачуги, я успевал обнаружить в их стенах и кровлях самые неожиданные предметы: кусок рельса, отбиток мраморной колонны, звено штакетника, металлическую арматуру, дверцу от шкапа и автомобильную дверцу, часть самолетного крыла, не говоря уже о сухих пальмовых листьях, соломе, циновках, войлоке, огрызках толя. Так строят ондатры, в куполах над их логовом можно найти не только сухие осотинки, камышинки, сити, но и утиные перья, рыбы кости, доньшко от консервной банки, гильзу ружейного патрона. На веревках между хижинами развешано стирное белье, но ни деревца, ни кустика не росло в щелевых проулках лоскутного города.

Я пожалел, что пропустил мимозы. В день нашего отъезда из Москвы первые желтые, пахнущие весной веточки появились на прилавках цветочных магазинов, но я никогда в жизни не видел цветущих мимоз.

А через некоторое время сквозь шум, наполнявший автобус, вновь донеслось:

— Мы подъезжаем к Мухаммедии, справа мимозы!

На этот раз я не хлопал глазами и сразу ткнулся в окно. Бидонвилль поменьше того, что на выезде из Касабланки, шевелил под ветром, дующим с океана, своими жестяными и фанерными лоскутьями. Ярко пестрело развешанное для просушки белье, а возле одной развалюхи сверкал лаком широкий, распластаный,

черный «ягуар» с крыльями, как у космической ракеты, до боли неуместный среди этой нищенской бедности. Мимоз же не было и в помине.

Я поглядел налево, но по ту сторону шоссе была лишь бурая, выжженная земля, за ней золотистая полоска пляжа и океан.

— Где вы видите мимозы? — несколько раздраженно крикнул я гиду.

— Трущобы, а не мимозы! — хладнокровно отозвался гид.

Быть может, эта странная игра слуха объясняется тем, что в своей первой очарованности Африкой я совсем не был настроен на встречу с городами из жести и фанеры.

А мимозы я вскоре увидел под Мекнесом, в «Долине счастья», как щедро назвал миллионер Паньон принадлежащий ему гигантский, раскинувшийся амфитеатром сад, открытый для посетителей. Почему-то Паньон решил, что для счастья человеческого помимо роскошных клумб, розариев, водных каскадов, фонтанов, всевозможных деревьев — от ели с мягкими, длинными иглами до финиковой пальмы — необходимы еще старый сонный лев, два шакала и белоголовый сип. Так вот, маленький зверинец, словно живой изгородью, окружен кустами мимоз. Золотые шарики цветов куда крупнее ягод черешни, но почему-то не пахнут.

## НИЩИЙ

В Шелле, под Рабатом, находится некрополь маринидских султанов \*, поэтому там все священо: земля, камни, деревья, аисты и угри. Аисты гнездятся на кровлях минаретов, иногда они спускаются вниз и что-то ищут в траве. Они знают, что священны, и ничего не боятся. Угри обитают в круглом бассейне с чистой, прозрачной водой, их кормят крутыми яйцами, другой пищи они не признают. Впрочем, крутыми яйцами они тоже брезгуют. Дно водоема желто от желтка, бело от белка, но хоть бы угорь польстился на вкусную снесь!

---

\* Династия Маринидов царствовала в XIII—XV вв.

Не священны в Шелле лишь туристы и нищие, хотя нищие старцы, с их изможденными, тонкими лицами, длинными, бесплотными телами в рубище, очень походят на святых.

Я загляделся на угрей и не заметил, что мои товарищи ушли вперед. Боясь заблудиться, я решил вернуться к автобусу, поджидавшему нас у ворот Шеллы.

И тут, словно почуяв мою беззащитность, меня окружили нищие. Я продирался сквозь них, как сквозь тропическую заросль. Мне нечего было им подать, всю мелочь я оставил у старухи, торговавшей крутыми яйцами. Особенно тяжело было отказывать святым старцам, с чьих бескровных губ словечко «дирхам» слетало тихо, проникновенно и нежно, как благословение.

— Но, месье, пардон!.. — смущенно лепетал я, уклоняясь от худых темных рук.

Наконец я достиг каменной, пологой, заросшей бархатным мхом лестницы и быстро взбежал наверх. Здесь я вздохнул с облегчением — прямо передо мной, в толстой глинобитной стене, темнел зев подворотни, за которой стоял автобус. Я шагнул вперед, и тут, на грани солнечного света и тени, отбрасываемой стеной, на меня накинulo страшное существо: грязный ком лоскутьев, повисший на длинном посохе, трясаясь и корчась, заплясал в моих глазах, во мне самом ночным кошмаром, вмиг уничтожив светлый, радостный, полный цветов и сладких запахов окружающий мир.

Ошеломленный, я не сразу разглядел в мельтешне лохмотьев и судорог ужасное лицо идиота: маленькое, косо запрокинутое, кривоносое, с кровавыми щелками слепых глаз под изломанными бровями и обезьяньим лобиком; из перекошенного рта тянулась нитка серой слюны. Страшный нищий протягивал ко мне рачью клешню пятерни и, захлебываясь слюной, требовал денег.

Я схватился за карман, чтобы любой ценой откупиться от него, и тут вспомнил, что оставил бумажник в гостинице.

— Нон, нон дирхам! Нон даржан, но мани, кайн гельд!.. — растерянно закричал я на всех языках.

Нищий перестал трястись, и на миг мне почудилось, что по его бессмысленному лицу скользнуло отчетливое выражение злобы. Единственно в расчете на этот про-

блеск сознания я сказал с проникновенной убедительностью:

— Поверьте... даржан... отель... — и вывернул пустые карманы.

Лицо нищего странно дернулось, застыло, опять дернулось, и я стал свидетелем чуда восстановления разумного человеческого облика из страшной маски идиота. Сперва показались глаза, темно-карие, печальные, с красными, натруженными белками; спокойной линией легли густые, сросшиеся брови, над ними простерлась ясная гладь лба, затем нос занял место посреди лица, и, вобрав слюну, сомкнулся тонкогубый, четкий рот. На меня глядело худое, усталое, хорошее лицо пожилого человека. Он выпрямился и расправил плечи.

— Англе?.. Франсе?..

— Русский... рюс...

— Рюс?.. — повторил он тихо, чуть недоверчиво и заинтересованно.

Судя по живому, готовному блеску глаз, он хотел еще что-то спросить, узнать, но тут из подворотни послышался характерный раскатистый шум громких, уверенных голосов, и мой новый знакомец мгновенно скорчился, запрокинув лицо, ослеп и, повиснув на костыле, задергался, заплясал навстречу туристам.

Но всю необыкновенную одаренность этого человека я оценил лишь на следующий день. Мы приехали на дворцовую площадь, чтобы поснимать королевский дворец, живописных стражей у ворот и пеструю толпу, ожидающую выезда короля на пятничную молитву в близлежащую мечеть. Это очень красивая церемония: король, весь в белом, едет на белом коне в сопровождении нарядной пешей свиты. Но сегодня выезд короля был отменен, о чем, видимо, не знали томившиеся под жгучим солнцем люди. Ослабленные рамаданом \*, они дремали в тощей, просвечиваемой солнцем тени дворцовых стен, иные сидя на корточках, иные распластавшись на горячей, сухой земле.

Я отошел в глубь площади, чтобы ухватить объективом дворцовые ворота с двумя высокими башнями, и,

---

\* Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого верующие соблюдают строгий пост от восхода до заката солнца.

когда сделал снимок, увидел, что ко мне приближается нищий-поползень. Он полз на задку, с невероятными усилиями передвигая руками свои голые, тонкие, тряпичные ноги в огромных спадающих бабушах. Я хотел было ретироваться, но закинутое назад, искаженное страданием лицо паралитика показалось мне знакомым. Еще не веря себе, я шагнул ему навстречу и сразу признал вчерашнего слепца и трясуну. И он узнал меня и по-давешнему явил мне свое настоящее лицо.

Мы дружески поздоровались. Я глядел на него во все глаза, но не мог постичь тайны его нынешнего превращения. Он весь вытянулся, усох, ноги его были длинные и тонкие, словно у паука. Как мог он отплясывать вчерашние пляски на этих мертвых, бескостных ногах? Новый образ требовал громадного труда и мастерства, но, верно, он не мог удовлетвориться раз найденной маской...

Мне о многом хотелось его расспросить, но я не знал языка. Улыбаясь друг другу, мы молча выкурили по папиросе, затем он двинулся дальше. Я смотрел ему вслед, он медленно полз по пыльной площади, еще далекий от цели, но уже весь в сборе, весь в образе, как перед выходом на сцену.

В Марокко нет национального театра, долгое владычество иноземцев задавило духовную жизнь народа, не тронув лишь религии. И сейчас где-то в Рабате, быть может у ворот Шеллы, быть может на залитой солнцем дворцовой площади, быть может в проулках медины, по-прежнему трясется в корчах или стелется по земле, вымаливая скудное подаяние, великий мастер перевоплощения.

## НА ДОРОГЕ

В этот ранний утренний час шоссе, ведущее из Рабата в Мекнес, было пустынно. Мы изредка обгоняли какой-нибудь старомодный, дребезжащий автобус или маленький, задыхающийся «ситроен», уступали дорогу грузовикам, везущим на бойню печальных бычков и сбившихся в грязно-войлочную грудку овец. Но песчаная тропка, тянущаяся вдоль шоссе, жила хлопотной, напряженной жизнью. Там тряслись на крошечных осликах,

сидя по-арабски на самом крупе, седобородые шейхи, горячили поджарых коней молодые всадники; навьючив остроухих мулов тюками с мятой, инжиром, песком для чистки медной посуды, неторопливо продвигались к базару главы семей, а их жены шагали сзади, овеваемые золотистой пылью, иные босиком, иные в темных от дорожного праха бабушах. Тропинка ныряла в пади, проложенные уже высохшими ручьями, взбиралась на бугры, но равнодушные к ее выкрутасам всадники сидели каменно-недвижно, будто изваяния, обратив вперед темные, чеканные лица. И никому из них не приходило в голову оглянуться на ковыляющую позади подругу, подбодрить ее хоть кивком, хоть взглядом.

Вскоре наш автобус завяз в гурте овец, пересекавшем шоссе. Тщетно орал шофер Хуан, тщетно размахивал посохом древний, пропеченный солнцем гуртовщик, овцы продолжали катиться через шоссе нескончаемым медленным валом. Пришлось Хуану выключить мотор, а мы, довольные передышкой, опустили стекла и высунулись наружу, в припахивающую мятой утреннюю свежесть.

По запруженной конными и пешими тропке, расчищая себе путь короткими гортанными вскриками, на черном муленке ехал молодой араб в красной феске, а перед ним, в покойном углублении мульей спины, сидела боком, свесив ноги в белых чистых бабушах, его жена. Полосатая джеллаба обтягивала узкое, девичье тело, под легкой оранжевой чадрой угадывалось маленькое, тонкое лицо, и горячо, юно сверкали над краем чадры большие, темные, жадно-удивленные глаза.

Араб в красной феске улыбался радостно, застенчиво, счастливо и покаянно. И под стать улыбке празднично и виновато влажнел его молодой доверчивый взгляд. Этот взгляд и эта улыбка словно говорили: «Я знаю, что поступаю глупо, вызываяще, неприлично, и все разумные люди вправе меня осудить. Но что делать!.. Вы же видите, какая она, разве можно в чем-либо ей отказать? Да, я безумен, но если бы вы знали ее, как знаю я, вы бы не судили меня так строго!..»

Поравнявшись с нами, он задел нас взглядом своим и улыбкой и чуть приосанился, ибо мы все равно ничего не смыслили ни в этикете, ни в обычаях предков и пе-

ред нами ему нечего было извиняться в своей пусть стыдной, но такой понятной слабости.

Автобус взревел, тронулся, и облако пыли, взметнувшееся из-под колес, поглотило влюбленного всадника и его жену.

## РЕМЕСЛО

Квартал ремесленников начинался сразу за старинным зданием медресе. Там работали медники, жестянщики, чеканщики, ткачи, столяры, гончары.

Внутренний дворик медресе был загромажден строительными лесами. На лесах трудились каменщики и штукатуры. А в углу дворика, сидя на земле, пожилой мастер в пропыленном халате заготавливал ромбовидные пластины для восстановления мозаики, местами осыпавшейся со стен. Он вырубал их из керамической плиты бледно-зеленого цвета. Он клал на плиту шаблон и обводил его заостренной щепочкой, которую предварительно обмакивал в чернила. Я никогда не видел таких странных чернил: на газетном листе лежала горкой какая-то фиолетовая кашка. Затем маленьким плоско заостренным обушком он тюкал по чернильному контуру и за десяток ударов отделял от плиты очередной ромбик.

Я стоял близ него очень долго, но вначале не отдавал себе отчета, чем так завораживает его простая работа. А потом меня пронизало ощущение чуда: каким острейшим, наметанным глазом, какой твердой рукой, какой устремленностью надо обладать, чтобы так вот, точно, попадать с замаха обушком по линии рисунка. Ошибись он хоть на полмиллиметра — и пластина не ляжет в мозаичный узор на плоскости стены. Но мастер не знал ошибок: в мгновенном, неощутимом со стороны прицеле острое лезвие обушка всегда находило линию. И я подумал о своем ремесле. До чего же часто бьешь не в линию и до чего легко прощаешь себе неточность, в ложной уверенности, что достоинство узора в целом испкупит мелкие промахи.

...Чеканщику не было двадцати, на нежно-юношеских щеках его курчавилась редкая мягкая борода. С помощью зубила и молотка он наносил узор на боль-

шой плоский медный круг. Чеканщик лишь начинал путешествие по золотисто-сверкающей глади, и путь ему предстоял немалый, судя по лежащему у его ног уже готовому блюду. Как замысловат, как щедр был украшающий его рельефный узор! Трудно было поверить, что это сказочное плетение складывается из тех простеньких линий, которые сейчас возникают под зубилом. Я обратил внимание на своеобразный ритм работы молодого чеканщика. Два сильных, резких удара молотком по зубилу чередовались с двумя слабыми, холостыми ударами по верстаку. Я спросил, зачем нужны чеканщику эти пустые удары? Чтобы оставаться хозяином своей руки, сказали мне. Иначе рука выходит из повиновения и сама ведет мастера, а она слепа.

«Запомни,— сказал я себе.— Не доверяйся скользющему бегу пера по бумаге, принимая обманчивую легкость за вдохновение. Сомневайся в каждом третьем слове, ведь рука слепа...»

...Маленький толстенький гончар, заметив, что за ним наблюдают, стал играть с комком мокрой глины, который он только что шмякнул на гончарный круг.

Под его широкими ладонями мгновенно строились и разрушались, чтобы тут же зажить в новом образе, самые различные изделия: от простого горшка до изысканной вазы. Вот он в несколько легких касаний вытянул узкий, высокий кувшин. Вдавил кулак в его горло и медленно утопил руку в кувшине, наделив его полостью. Вдруг он резко, грубо смял ладонью его стройное тело и мгновенно, одним касанием, превратил глиняную лепешку в тарелку, просуществовавшую не больше времени, чем нужно, чтобы узнать ее. Ладони гончара чуть поласкали бока тарелки, и она стала чашей, из чаши родился пузатый, с узким горлышком сосуд для хранения воды, вмиг ставший плоским блюдом; ладони повлекли вверх края блюда, и на гончарном круге выросла ваза. Ритмично двигалась нога в разношенном шлепанце, вращая гончарный круг, и чуткие руки без видимых усилий создавали все новые и новые предметы.

«Так владеть формой! — с завистью думал я.— Так легко и совершенно подчинять себе бесформенный, грубый материал! ...Да хватит ли всей жизни, чтобы стать настоящим ремесленником в своем литературном цехе?..»

Сад был расположен амфитеатром. Один широкий уступ отдан розам: красным, белым, чайным, другой — лилиям, третий — махровым гвоздикам, четвертый — синим неведомым мне цветам. У подножия амфитеатра росли финиковые пальмы и грейпфрутовые деревья с плодами крупными, как футбольные мячи. Сад продольно пересекали аллеи кипарисов с круглыми кронами; кверху тянулся желтый бордюр мимоз. От крепкого,пряного запаха ломило виски.

Над садом, за кустами мимоз, пестрели полосатые зонты летнего кафе. Позади кафе возвышалась стена, увитая гирляндами красных и лиловых бугенвиллей, а слева, над круглым кирпичным колодцем, возвышалось могучее деревянное сооружение, приводящее на память взлеты жюль-верновой фантазии о двигателях будущего. Человек, несведущий в технике, я не смогу точно описать это невероятное создание изощренного технического гения. Тут были деревянные зубчатки и приводные ремни, обитый медью ворот и огромное, метра три в поперечнике, колесо, костлявые плечи рычагов напоминали скелет птеродактиля. Когда я пытался представить, что за что цепляется, что чем приводится в движение, у меня начинала кружиться голова.

Длинное коромысло соединяло могучий и странный механизм с двигателем: крошкой осликом, бурым, в желтых подпалинах, с обвислыми ушами. Ослик был обряжен причудливо, под стать машине, которую он приводил в действие. Его шея несла громоздкое ярмо, сцепленное с коромыслом системой веревок и кожаных ремней, а на каждый глаз у него была надета маленькая остроконечная соломенная шляпа. Эти шляпы повторяли в миниатюре мексиканское сомбреро, только с более вытянутой, острой тульей и более узкими полями. Шляпы были прикреплены тесьмами к матерчатому затыльнику между его ушей.

Вот здорово! Вместо того чтобы завязать ему глаза или надеть шоры, придумали такое изящное, простое и удобное приспособление: соломенные шляпы для глаз.

Если ослик был двигателем, то горючее находилось в темной костлявой руке старика погонщика, облаченного в грязнейший белый халат: это была длинная лоза

с размочалившейся на конце тонкой зеленоватой корой. Древний, как доверенный ему механизм, старик в отличие от него являл совершенную простоту: кроме халата на нем были лишь шаровары да полотенце, кое-как обмотанное вокруг голого черепа.

Один из наших туристов прицелился в ослика фотокамерой. Старик погонщик злобно выругался и ударил ослика палкой,— видимо, он опасался «сглаза». Ослик перебрал тонкими ножками и дернулся вперед. Что-то грохнуло, взвизгнуло, треснуло, вздернулись к небесам костлявые рычаги и рухнули вниз, заурчал, тускло отблеснув медью, ворот, впились друг в дружку гнилыми челюстями зубчатые передачи, крутануло восьмерку огромное колесо; ослик двинулся своим круговым путем, который ему сослепу представлялся путем в неведомую даль, запрыгали на глазах соломенные шляпы. Сооружение затряслось, заскрипело, застонало, на миг почудилось, будто оно хочет взлететь ввысь во всей своей грозной неуклюжести, однако в следующий момент оно сделало попытку рухнуть в колодезь и тут же снова встопорщилось, и по желобку побежала тонкая струйка мутноватой воды.

— Перед нами,— будничным голосом сказал гид,— водокачка, уцелевшая со времен глубокой древности. С помощью этого простого, примитивного устройства осуществляется поливка сада...

Я вспомнил гигантские насосные установки, какими после освобождения осушали затопленные шахты Донбасса, подумал о кибернетических машинах и атомных двигателях и решил, что время движется в сторону простоты.

## **ПОКУПКА ВЕЛОСИПЕДА**

Эта крошечная сапожная мастерская ничем не отличалась от десятка других, разбросанных по узеньким улочкам мекнесской медины. За распахнутой на улицу дверью виднелась тесная каморка с ненужно высоким потолком, заваленная старой обувью, обрывками кож, мотками дратвы и всякой рухлядью. Хозяин ее, молодой араб, также ничем не отличался от многочисленных

своих собратьев: он сидел на деревянном возвышении, прикрытом драным ковром, скрестив ноги, и забивал гвоздики в подметку детского ботинка; с костлявых плеч ниспадала ветхая джеллаба, красная феска потемнела от пота на лбу и висках, огромные, некогда желтые, а сейчас полынного цвета бабуши свалились с ног, таких больших, расхоженных дорогами, что увидишь лишь у арабов. Из мастерской душно несло старой кожей, клеем, вековой пылью.

На стене, противоположной входу, висел профильный портрет покойного короля Мухаммеда V в белой феске. Орлиный взгляд короля был прикован к висящей под углом к нему цветной фотографии Елизабет Тейлор. Лицо актрисы с пушистыми глазами и чуть разомкнувшимся в полуулыбке алым ртом, запрокинутое, как на портретах Кранаха, было обращено к сапожнику. Король смотрел на актрису, актриса — на сапожника, сапожник глядел в какую-то далекую пустоту. Таким отрешенным, невидящим был этот взгляд, что поначалу я принял сапожника за слепца, его руки работали на ощупь, без помощи глаз. Но ткань желтоватых белков была живой, и живые светлые лучики играли в глубоких, ночных зрачках. Тонкие губы шевелились, он был весь во власти напряженной внутренней жизни.

А затем, часа через два, найдя до одури по тесно-душному, сладко-воняющему, то сумеречному, то яркому в прорывах крошечных площадей лабиринту медины, я вновь прошел по той же улочке, мимо той же мастерской, но не узнал бы ее, если б не прекрасное лицо Елизабет Тейлор, на которое медленно наплывала тень; хозяин как раз закрывал визжащую ржавыми петлями дверь мастерской.

Он запер дверь, присел на пороге и, сняв с плеча сумку, опорожнил ее в растянутый меж худых колен подол джеллабы. Из сумки высыпались бумажные деньги с тем же горбоносим профилем Мухаммеда, что украшал стены мастерской, старые монеты с набившейся в прорези чеканки черной пылью, блестящие новенькие дирхамы. Обежав монеты длинным, узким пальцем, он сгреб их назад в сумку, сложил бумажные деньги в стопку и сунул туда же. Затем поднялся и решительным шагом наискось пересек улицу к углу маленькой площади, где продавали велосипеды. Я последовал за ним.

Торговля шла под открытым небом. Привалившись друг к дружке костлявыми телами, у обшарпанной стены стояло десятка два велосипедов. Боже, что это были за драндулеты! Источенные красной ржой, проникшей сквозь свеженанесенную аляповатую голубую или желтую краску, с непарными колесами, обвисшими цепями передач, кое-как запаянными вилками, истертыми в зеркальный глянец седлами, подвязанные в суставах проволочками, веревками, ремешками, но все, как один, щедро оснащенные ручным тормозом, динамкой, фонарем, звонком, иногда двумя, насосом, сумкой для инструментов, флажком на переднем крыле, рубиновым сигнальным стеклышком на заднем, багажником тоже с рубиновым стеклышком, оклеенные по раме переводными картинками и этикетками отелей, повитые по спицам чем-то вроде серпантина,— не печальные развалины, а позорно разряженные дряхлые кокетки, пытающиеся скрыть за румянами и мишурой недостойнство своей старости! Конечно, заслуженные машины, отмахавшие по каменистым и песчаным дорогам не одну тысячу километров, были в том несколько не повинны. Так обрядили их пожилой тучный торговец в черной феске и его подручный — темнокожий мальчик в розовых штанах и соломенной шляпе.

Сапожник что-то сказал им, но торговец, созерцавший кудую перспективу площади, даже не оглянулся, а мальчишка насмешливо присвистнул толстыми, черными, с розовым подбоем губами. Верно, сапожник уже не раз прицелялся к велосипедам, и торговцы не верили в его платежеспособность. Глаза сапожника мрачно сверкнули, он резко встряхнул сумку, тяжело, тускло звякнули монеты.

Пожилой торговец чуть приметно повел головой на толстой шее. Мальчишка молниеносно выхватил из груди машин какого-то неистово разукрашенного уродца. Задняя вилка была сверху донизу унижена сигнальными стеклышками, как рукоять султанова меча — драгоценными камнями.

Сапожник даже не взглянул на машину, лишь презрительно цокнул языком. Шея хозяина набухла, и он вдруг яростно закричал на своего подручного, отдавая тем самым дань уважения покупателю.

Подручный выкатил другую машину. На ней было

вдвое меньше украшений, чем на первой, видимо, она обладала какими-то ходовыми качествами. Лицо сапожника осветилось нежностью и надеждой. Положив темные руки на руль, он чуть прокатил велосипед перед собой, тронул ногой педаль, уперся ладонью в седло и отжал свое тело от земли. Меня удивило, что велосипед был с дамской рамой, но потом я сообразил, что так удобнее ездить на нем в джеллабе.

До этого я понимал все действия араба, так бы выбирал машину и я сам, но затем началось что-то для меня странное и неясное. Араб начисто отстранился от технической проверки машины, казалось, он пытается проникнуть в ее скрытую, тайную суть. Он то резко вздымал машину на заднее колесо, как на дыбы, то заходил вперед и заглядывал с руля в ее узкое, под муфлоньими рогами, лицо, то прижимался к ее костлявому телу своим худым телом и чуть не падал вместе с нею, как бы забыв, что у велосипеда лишь две точки опоры. А потом он прислонил ее к столбу, отвернулся и вдруг щелкнул пальцами и коротко, тонко свистнул, словно призывая велосипед к себе. Я глядел на него сзади, из темноты улочки в просвет угла, который он обозначал своей длинной, тонкой, напряженной фигурой. Черная, худая и стройная тень велосипеда лежала у его ног.

И вдруг я понял: араб выбирал не велосипед, не железную бездушную машину. Он выбирал коня, товарища в беде, преданного друга в радости и горе. И невзрачный металлический ксенок прельстил его, словно он понял сердцем, что может ему довериться. Он подошел к мальчишке, разом опорожнил в его розоватые ладони свою сумку, резко, властно шагнул к велосипеду и отнял его от столба. Подобрал в шаг джеллабу тем жестом, каким наши женщины подбирают юбку, перешагивая через канаву, он сел в седло, толкнулся от земли загнутым носком бабуши и помчался, пригнувшись к рулю, как к шее коня, слившись с велосипедом, став с ним единым телом, к воротам медины, в простор мира, который теперь принадлежал ему.

**ВОЛЮБИЛИС —  
МЕРТВЫЙ  
ГОРОД**

Мы поднялись на холм, и перед нами открылся Волюбилис, уничтоженный землетрясением древнеримский город. Наивысшего расцвета Волюбилис достиг в III веке нашей эры, разбогатев на торговле оливковым маслом.

От порушенных войной деревень оставались трубы — здесь на первый взгляд уцелели лишь колонны, густой лес колонн, в большинстве оборванных по стволу то дальше, то ближе от базиса, но изредка сохранивших даже капитель коринфского ордера. Впрочем, так казалось лишь поначалу. С помощью трех гидов, трех узких специалистов: один был знатоком бань, купален, бассейнов, другой — атриума, третий — хозяйственно-административных построек (веселый дом также входил в его ведение) — мы обнаружили множество следов былой жизни.

Снесенные катастрофой дома сохранились как бы в плане: фундаменты вровень с землей и украшенные мозаикой полы. По мозаике легко было угадать назначение комнат. Мотивы Бахуса указывали на пиршественный зал, туалет Венеры — на спальню, рыбы — на ванную. Порой можно было догадаться и о характерах хозяев: один воинственный римлянин украсил все свое жилище изображениями двенадцати подвигов Геркулеса, погибал герой в пламени им самим сложенного костра на дне мраморного бассейна, в иных домах преобладал культ Бахуса, в других — Венеры.

Здесь жили разные люди: суровые и нежные, храбрые и робкие, здесь они любили, тосковали, смеялись, плакали, пели, слушали музыку, отсюда уходили по торговым делам и сюда возвращались, усталые, покрытые красноватой пылью, и омывали тела в бассейнах, и умащались маслами, и пили горьковатое вино.

Интимное ощущение этой далекой жизни пришло ко мне не сразу. Долгое время я лишь принимал к сведению то, что показывал мне глаз, и то, о чем рассказывали годы. Прибранный, будто нарочито живописный хаос разрушенного города напоминал искусственные руины в Царском Селе. Но вот в стенной выемке раз-

рушенного дома мы увидели словно бы цветочные горшки, насаженные один на другой. «Водопровод», — сказал гид. И с этой членистой, словно тело насекомого, глиняной трубы началось мое сближение с городом. Стало совсем легко представить, что в украшенных мозаикой прямоугольных углублениях когда-то плескалась вода и люди смывали с себя усталость всех дневных дел.

Пекарня с уцелевшим жерновом укрепила близость. Темное, трудовое тело жернова было источено бороздками: видно, немало ячменя и пшеницы перемолол он на своем веку, если их мягкие ядрышки оставили на нем след.

Тут мы поднялись на горбину холма и увидели другую часть города с останками базилики и хорошо сохранившейся триумфальной аркой Каракаллы. К арке по краю города тянулась выложенная каменными плитами дорога и, пройдя под аркой, терялась среди холмов.

Солнце, до того скрытое тучами, вынырнуло близко от горизонта, большое, оранжевое, перечеркнутое узким синим облаком, от него на каменные плиты дороги, на арку, на руины лег теплый, в розоватость, желтый свет, и все вокруг обманчиво ожило; но это краткое воскресенье повлекло за собой окончательную и безнадежную смерть мертвого города. И уж не сочувственное любопытство возбуждал строившийся веками и уничтоженный в несколько секунд город, а горькое, печальное чувство тщеты всех человеческих усилий.

Я с невольной симпатией, как бы в поисках внутренней опоры, стал приглядываться к семье арабов, то примыкавшей к нашей группе, когда гид давал свои пояснения, то оставлявшей нас, чтобы свободно побродить среди развалин, маленькой семье из трех человек, являвшей собой сгусток человеческой бодрости, не поддающейся расслабляющему влиянию прошлого.

Эти трое были: пожилой интеллигентный марокканец в темном европейском костюме, седой, очень высокий, с развернутыми сильными плечами, смуглым горбоносим лицом и карими глазами светлее кожи, отчего они казались золотистыми; преклонных лет женщина в национальном арабском костюме, лишь вместо бабуш на ней были лакированные туфельки, сквозь глухую черную чадру нельзя было увидеть даже смутный абрис черт, темные глаза под одряблевшими веками

смотрели строго, пристально, не в окружающий мир, а в себя; и совсем молоденькая марокканка в голубом нейлоновом костюме, на каблучках-шпильках, с модной прической, у нее было круглое, миловидное, смешливое лицо и крашенный рот сердечком. Поначалу я решил, что это мать, отец и дочь, перенявшая современный стиль отца; так нередко бывает в марокканских семьях. Но стоило мне чуть обострить внимание, как я сразу пере-решил для себя родственные отношения этой троицы: то были молодожены и мать молодой. Здесь не требовалось особой проницательности. Достаточно было видеть ту совсем не отцовскую пылкость, с какой пожилой марокканец вел себя в отношении молодой женщины; как он подавал ей руку, чтобы помочь взобраться на разрушенную ограду, и как снимал с этой ограды сильными руками.

Полная своим новым счастьем, молодая то и дело взрывалась радостью: и оттого, что муж подымал ее на воздух, и оттого, что ставил на землю, оттого, что брал под руку, и оттого, что, желая порой призвать к серьезности, делал строгое лицо. Он зажимал ей рот, чтобы заглушить ее звонкий, не совсем уместный смех, и на его ладони отпечатался сердцевидный следок ее губ. Ей не было никакого дела до этих развалин, обрывков колонн, до всего мраморного мусора, но муж выбрал сейчас такую раму для их счастья, и она радовалась Волюбилису.

Пожилая женщина не принимала участия в разговорах, шутках, ребячествах своих спутников. Строго и деловито переходила она от руины к руине, внимательно и бесстрастно выслушивала объяснения гида и шла дальше. Порой, когда приходилось подыматься в гору или переступать через обломки, зять пытался ей помочь, но она избегала его руки и сама одолевала препятствия, при этом спина ее сутулилась и сквозь тонкую ткань джеллабы проступали худые лопатки...

Когда мы спустились вниз, к стоянке машин, допотопный «фиат» пожилого марокканца забарахлил, и ему пришлось призвать на помощь нашего шофера Хуана. Тот был слишком общительным, чтобы за короткие минуты возни с машиной не вызнать всю подноготную этой семьи. Вернувшись в автобус, Хуан рассказал нам о пожилom марокканце и его странной, печальной удаче.

Еще юношей этот человек полюбил соседскую дочь, но бедной его семье не под силу было заплатить выкуп родителям невесты. Тогда он оставил родной дом, чтобы любой ценой выбиться в люди и приехать назад с выкупом. Ему понадобилось для этого тридцать пять лет. Он вернулся в родной город совладельцем маленькой конторы в Танжере и, сам почти старик, заплакал над согбенной старостью своей прежней подруги: арабские женщины рано дряхлеют. И тут он увидел девушку, будто зеркальное отражение той, которую любил. Теперь он мог заплатить выкуп, и дочь его первой любви стала его женой...

### СОКРОВИЩЕ КОРОЛЕВСКОГО ДВОРЦА

Мы осматривали королевский дворец в Фесе, целую систему дворцов, являющую единый сказочный ансамбль. Прелесть дворцов не в их строгой, несколько однообразной архитектуре, а в мозаике, украшающей стены, полы и потолки тронных залов, покоев, дворцовых мечетей. Какая изощренная фантазия породила многообразие этих сложных, никогда не повторяющихся узоров, это дивное сочетание красок, то глухих, то ярких, то кричащих, то нежных, но всегда гармоничных!..

И все же холодком веяло от мозаичного чуда королевских покоев. Я поймал себя на том, что пытаюсь высмотреть в причудливом сочетании ромбов, квадратов, прямоугольников изображение живого существа: человека, зверя, птицы, рыбы. Тщетный труд: не только образ человека, но и образ всех дышащих существ изгнан мусульманской религией из орнаментов и узоров.

Я услышал за спиной позвякивание ключей. Наша туристская группа, ведомая смотрителем королевских покоев, уже перешла в другой зал, и дворцовый сторож, кениец из племени луо, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда я выйду, чтобы запереть дверь. Его тучное, вялое тело, обернутое в какую-то грязную серую тряпку, колыхалось студнем на тонких, потрескавшихся,

как чернозем в засуху, босых ногах; огромное угольно-черное лицо под грязноватой чалмой было изрыто оспой, крупные желтые зубы торчали вперед, как у всех луо. Но сейчас, утомленный божественной геометрией, справлявшей вокруг меня свой пышный и холодный праздник, я с невольной симпатией задержался взором на нелепой фигуре дворцового сторожа.

Он радостно осклабился и протянул мне тонкую, из темного табака, сигарету. В ответ я угостил его «Казбеком», и мы вместе вышли в сад покурить.

За высокой глинобитной стеной, окружавшей сад, в пыльном небе буйствовало солнце, а здесь, в тени апельсиновых деревьев и финиковых пальм, царили свежесть и прохлада. Крупные осы, свесив тигриные зады, кружили над розарием и клумбами, журчал родник, выбрасывая тонкую серебряную струю из каменной чаши. Меня удивило множество бедно одетых арабов, неведомо как очутившихся в королевском саду. Они беседовали, сидя на корточках в тени деревьев, спали под кустами роз, пили горстью холодную воду из родника, иные молились, разостлав ветхие коврики на песчаной дорожке.

Внезапно из травы возник маленький человек в коротких желтых штанах и куцем халатике, с белой бородкой, растущей из шеи, как у норвежских шкиперов. На плече у него висела сумка, голые до колен ноги были запорошены красноватой пылью: видимо, он пришел издалека. Издав нежный птичий возглас, человек кинулся к дворцовому сторожу.

Своими маленькими ручонками он тискал огромную лапищу старика и любовно разглядывал некрасивое, изрытое оспой лицо. Затем, подтянувшись на носках, он стал целовать его в щеки, в губы, в плечо и вновь оглядывал так, будто не видел в мире ничего краше. Он призывал жестами и других арабов разделить его восторг, его радость, арабы понимающе улыбались и кивали головами.

В саду появились наши туристы во главе со зрителем королевских покоев, выполнявшим обязанности гида. Высокий, сухоощавый, исполненный чувства собственного достоинства, он был одет в национальную арабскую одежду, но при галстукке и замшевых туфлях. Строгим голосом он принялся за что-то выговарить ста-

рому кенийцу, и, пока он читал свою нотацию, все арабы, в том числе и маленький человек с козлиной бородкой, неприметно растворились в зарослях сада.

— Что он говорит? — спросил я по-английски механика нашего автобуса Браима.

— Ругается, что тот пускает в сад посторонних...

Выговор, сделанный старому кенийцу зрителем покоев, произвел на него неожиданное впечатление: он будто вспомнил о прелестях сада, наслаждаться которыми незаконно допустил малых мира сего. Дважды сорвавшись, он неловко вскарабкался на каменную ограду, отломил три апельсиновые веточки, нежно и сладко пахнущие, и вручил их трем женщинам нашей туристской группы. Гид с кислым видом отнесся к этой галантной выходке, но промолчал.

Мы двинулись дальше, с ближайшей клумбы старый кениец сорвал для наших женщин три белые, прозрачные лилии, в розарии он выбрал три самые красивые чайные розы, присоединил к ним махровые гвоздики и три ветки бугенвиллей, усыпанные ярко-красными, будто горящими, цветами, и вручил туристкам маленькие букеты.

Гид что-то прошипел сквозь сомкнутые губы.

— Он говорит, оставь хоть что-нибудь королю, — перевел мне Браим.

Но сторож решил оставить королю лишь самую малость. Выхватив короткий кривой нож, он углубился в бамбуковую заросль и преподнес нашим мужчинам по тонкой, гибкой тросточке.

Мы подошли к железным воротам, ведущим в другую часть дворца, сторож отомкнул их громадным ключом из своей связки. Посреди обширного, поросшего низкой, выжженной солнцем травой двора несколько подростков с громкими криками гоняли футбольный мяч. Лицо зрителя покоев будто обдуло пеплом, гневная бледность растеклась по его смуглой коже.

— Рабы короля! — кивнул Браим на юных футболистов.

Старый кениец с сердитой бранью накинулся на играющих, завладев их квелым, в заплатках, мячом, выхватил из прорези сосок камеры и в один могучий выдох надул до каменной твердости. Затем отличным ударом послал мяч королевским рабам...

По ту сторону двора нам повстречался небрежно одетый, как бы подержанный человек в полунациональном, полуевропейском одеянии. Он жалко улыбнулся и помахал нам рукой. Гид ответил холодным, почтительным поклоном, а сторож подошел к человеку и пожал ему руку.

— Дальний родственник короля, — каким-то сложным тоном, сочетающим церемонность с небрежением, заметил гид. — Проживает во дворце...

— А почему у него такой странный вид? — поинтересовался мы.

— Дальний родственник, — с отчетливой иронией повторил гид. — К тому же слишком увлекается шашками, а в медине есть великие мастера этой игры. Наверное, опять продулся до тла...

Воровато оглянувшись, — не видит ли кто — старый, черный, безобразный ангел что-то сунул в ладонь дальнему родственнику короля, тот улыбнулся слабой, доброй улыбкой: у него явился шанс отыгаться...

## В БЕРБЕРСКОМ ЖИЛИЩЕ

В маленьком городке по дороге из Феса в Марракеш живут берберы, коренные обитатели Марокко. Берберы — это мавры. Отелло был бербером. В моем воспитанном литературой представлении мавры воинственны, неистовы, полны темных страстей. Но, глядя на добродушные, улыбающиеся, детски беспечные лица окруживших наш автобус берберов, я никак не мог поверить, что это потомки жестоких и бесстрашных воителей, покоровших Испанию. Кожа их довольно светла, цвета кофе с молоком, — то ли со временем берберы посветлели, то ли Шекспир по неведению заставил Отелло вскричать: «Да, черен я!..»

Берберы исповедуют ислам, но в отличие от арабов лишены религиозных предрассудков. Так, они охотно давали себя фотографировать. Даже женщины с приветливой улыбкой обращали к объективу не прикрытые чадрой лица. Здесь исполнилось наше давнишнее желание: побывать в марокканском жилище. До этого лишь

наши туристки могли переступить порог арабского дома, мужчинам доступ туда закрыт.

Живут берберы в земляных пещерах. Городок устремлен частично к небу, частично в недра земли. Мы видели, как в обеденный перерыв, заперев двери галантерейного магазина с очень современной элегантной витриной, хозяин-бербер исчез в черной дыре, зиявшей в шаге от дверей. Там находился его «дом». Возле дыры стоял легкий серый «ситроен». Не только жилье, но и многие мастерские, сапожные, гончарные, ткацкие, скрыты под землей.

Прорубленная в каменистом грунте лестница привела нас в обширную круглую пещеру. По стенам развешаны циновки, пол устлан ковром. В правом углу сложены полосатые матрацы, вся мебель состоит из низенького обеденного столика да полудюжины подушек; слева, где очаг, на кирпичах лежит широкая доска, заменяющая кухонный стол.

Над обеденным столом висит электрическая лампа в бумажном колпаке, а на кухонном, среди кувшинов, тарелок, чашек, грузнеет тяжелым медным телом огромная, очень старая керосиновая лампа. Возле очага стоят медные котлы и кастрюли, вдоль стен выстроились большие, как щиты, с чеканным орнаментом, начищенные до блеска медные блюда. Здесь нет дымохода, топят по-черному.

Мы попали в бабье царство. Муж бросил хозяйку из-за того, что у них не было детей, и она живет со своей старой матерью и младшими сестрами. Едва мы расселись на подушках, как старуха принялась варить мятный чай на примусе, а девушки — мыть чашки.

Хозяйка дома, ее звали Ито, рассказывала о своей задаче с доброй, спокойной, чуть насмешливой улыбкой. Поверх голубого узорчатого халата на ней была накинута прозрачная белая туника, черные волосы убраны в желтую сетку. Она несла на себе много золота: в ушах серьги, на шее ожерелье, руки унизаны браслетами, пальцы — перстнями. Когда она улыбалась, были видны два золотых клычка. Это она для красоты надела коронки на здоровые зубы. Каждым движением рук, головы и губ Ито метала золотые стрелы.

Конечно, тяжело быть брошенной, говорила Ито, уход мужа наводит тень на ее женское достоинство; да

и вообще плохо, когда в доме нет мужчины. Но она не вешает головы. Она занимается ковроткачеством, на ее ковры большой спрос. Ито показывает нам образчики своей работы: красные и белые нити красиво сочетаются в простом, строгом узоре. Живет семья очень скромно, и почти весь свой заработок Ито тратит на золотые украшения. Это ее приданое тому, кто возьмет ее в жены.

— Значит, Ито снова собирается замуж? — спросила через переводчика одна из наших туристок.

— Да! — горячо и сильно вскричала женщина, и тихие, теплые глаза ее с желтоватыми белками и шоколадными радужками ликующе вспыхнули. Да, она выйдет замуж и будет счастлива, она родит своему мужу много прекрасных, веселых и добрых детей!

Спокойное лицо женщины, тронутое двумя тонкими, сухими морщинками в углах губ, преобразилось — исполненное страстной веры в судьбу, расплату и торжество, оно стало грозным и нежным.

Конечно, Отелло родился на этой улице...

## НА ВЕРБЛЮЖЬЕМ ТОРЖИЩЕ

Я пришел на верблюжий базар рано, солнце едва поднялось над глинобитной стеной, окружающей широкий пыльный пустырь, на котором происходил торг. Здесь продавали не только верблюдов, но и мулов, ослов, лошадей. Базар кишмя кипел нищими, слепцами и туристами. Бесстрашно расхаживали среди людей и животных белые птицы с длинными шейками — пикбеф, расклевывали дымящиеся кучи помета.

Самым ярким, красочным пятном на всем верблюжьем торжище был водонос в красном халате, красных штанах и огромной красной шляпе с висюльками и кисточками, с головы до ног увешанный блестящими медными чашками на медных цепях, с медным колокольцем на поясе, за спиной бурдюк из цельной теллячьей шкуры, сохраняющей воду холодной в любую жару. Он собирал на себе столько солнца, что любой жаждущий видел его издали, а слепцы находили по

колокольчику, рассыпающему неумолчный серебристый звон.

Неподалеку от ворот вдоль стены сидели на корточках седобородые старики в светлой одежде и белых тюрбанах. Не поворачивая головы, они обменивались короткими замечаниями, темные лица были важны и лукавы, и, думается, ничто на этом базаре не избежало их прощательной оценки.

Крикливая, расчетливая страстность барышников оттеняла надрывную тихость бедняков, пригнавших на базар единственного верблюда, единственного мула, единственного ослика. Я видел, как перешел из рук в руки старый мул с растертой в кровь спиной. Его хозяин отдал покупателю рваный поводок и, сжав побелевшие губы, спотыкаясь, понес к воротам запрокинутое, слепое от слез лицо.

Но шум, пестрота, толковая бестолочь, бурная суета базара растворяли в себе людские горести и печали, праздничное побеждало, оно было громче.

Под стать людям взволнованы животные. Я никогда не видел мулов столь злобными, ослов столь упрямыми, коней столь напряженными.

Единственно безучастны к творящейся вокруг суете — верблюды. Они или медленно бредут на поводу у хозяина, глядя поверх базара в какую-то свою даль, или, стреноженные в коленях, лежат, надменно оттопырив нижнюю губу. С тем же презрительным равнодушием относятся они к перемене хозяина. Лежащие верблюды иногда порываются встать, отталкиваясь от земли коленями и выпятив круп. Им это не удается, и они тяжело рушатся на землю. Тогда на их овечьих темной тайной мордах появляется непередаваемо злобное выражение.

Рослому, сильному верблюду удалось порвать путы на одной ноге, другая так и осталась подвязанной, он стал на три опоры и сразу унесся взглядом в загадочную верблюжью даль. К нему долго, опасно и настырно подбирался с фотоаппаратом турист в голубом пиджаке. Видно, ему хотелось взять крупно верблюжью морду. Верблюд не замечал туриста, пока тот не ступил в тень от его головы. Тогда верблюд оскалил желтые резцы, сухо фыркнул и с ног до головы обдал туриста клочкастой пеной слюны.

Турист упал, как подстреленный, и вмиг был окружен базарной толпой.

Вскоре я стал свидетелем замечательной сцены торга. Один из сидящих у стены седобородых шейхов, похожий на изваяние,— столько величавой застылости было в его облике,— прельстился дымчатым осликом, которого водил на мочальной веревке другой старец. Я не знаю, почему именно этот низкорослый, с облезлым хвостом ослик прельстил шейха, наверное, в нем были зримые опытному глазу достоинства. Во всяком случае шейх готов был дать за него какие-то гроши. Он отпахнул полу белого халата и полез в карман шаровар, повязанных широким шелковым поясом, на котором висел кинжал с серебряной рукояткой. Не зная ни слова по-арабски, я все же берусь с большой степенью достоверности передать то, что произошло между покупателем и продавцом: их жесты и мимика были выразительнее всяких слов.

Они не сошлись в цене: владелец ослика ценил его на вес золота, покупатель же считал, что мочальный поводок без осла стоит дороже. Казалось бы, при таком расхождении дальнейший торг исключен, но только не на арабском базаре. Старцы еще поторговались, затем принялись оскорблять друг друга. Они делали это громко, напористо, но без суеты, сопровождая каждое витиеватое выражение длинными, величественными жестами. Казалось, они даже забыли о причине своего раздора. Но вот после какого-то особенно забористого ругательства белоснежного шейха продавец воздел руки к небу, плюнул и, поймав ослика за поводок, потащил его прочь. Но он тут же вернулся и сказал покупателю такое, отчего тот схватился за кинжал. Казалось, засверкает сталь, и польется кровь, и покатится в пыль седобородая голова покупателя, и падет с пронзенным сердцем продавец. Но ничего этого не произошло. Кинжалы попрыгали в ножнах, старики утерли вспотевшие лбы, и осел перешел в руки седобородого шейха за ту цену, которой стоил...

Едва затихла торговая схватка двух шейхов, а уже всех празднопшатающихся, и меня в том числе, отнесло к другой стороне базара. Вдоль западной стены мчался во весь опор всадник на великолепном арабском скакуне. Он круто осадил, будто врыл коня в землю, перед

группой почтенных, нарядных стариков. До чего же хорош был гнедой арабский скакун, с лебединой шеей, короткой, прямой спиной, сухими ногами, тонкими бабками, с щучьей, чуть приплюснутой, головой и косо срезанной нижней челюстью. Хорош был и всадник: юноша лет двадцати, поджарый, с крепкими, чуть кривоватыми ногами; на смуглом лице под шапкой густо-кудрявых, жестких, как проволока, черных волос таяла нежная, отрешенная улыбка.

Вокруг коня тоже затеялась торговля, но совсем в ином духе: ничего грубого, вульгарного, крикливого. Это был лирический дуэт, старцы пели каждый свою партию, их голоса то чередовались, то согласно сливались, их лучезарные взгляды излучали поэзию и тепло. Порой казалось, что они обменялись ролями: продавец готов сбавить цену, а покупатель просит его не уступать. Затем по их знаку кривоногий парень снова вскочил на спину коня, ахнул, гикнул, простер над его шеей сухую, узкую руку, промчался к воротам и обратно, окаменил коня перед стариками и спрыгнул на землю с той же угасающей, отрешенной улыбкой. Старики погладили бороды и обменялись понимающим влажным взглядом.

Тут меня отвлекла чета верблюдов, на редкость рослых и статных, они возвышались над всем базаром, и трогательно путался у них под ногами крошечный плюшевый ослик. Я пошел за ними. Если смотреть на этих верблюдов сбоку или с морды, самец выглядит куда массивней, но, когда глядишь им вслед, впечатление разительно меняется: самец так умален могучими боками самки, что кажется не мужем, а сыном.

Зычный крик заставил меня посторониться. На рослом красивом муле, зеркально отблескивающим гладкой шерстью, прогарцевал всадник с шапкой черных кудряво-жестких волос, за ним едва попевали, переговариваясь на ходу, два пожилых араба. Мул закидывал голову, будто хотел пронзить всадника пиками длинных ушей, и пытался осадить на задние ноги. Всадник ловким и сильным движением руки наклонял ему голову и не давал сбиться с рыси. Это был тот самый парень, который только что скакал на коне.

А вот встретились две кобылицы в сопровождении крошечных сыновей. И как же презрительно фыркнула одна из них, глядя на ушастого сынишку другой! А той

и горюшка мало, что судьба наградила ее муленком, пусть ушастый, пусть головастый, все равно свой...

Когда орет осел, исчезают все остальные шумы. В этом крике — скрип колодезного ворота и безутешное рыдание, что-то таинственное и что-то от неживой матери.

Я оглянулся. Могучий крик исходил от дымчатого ослика с облезлым хвостом. Рядом в пыли простерся белоснежный шейх. Еще раз-другой икнув, ослик смолк. Шейх стал на ноги, отряхнулся и с красными от ненависти глазами приблизился к ослику. Схватив его за короткую гривку, он занес ногу, но ослик тут же шагнул в сторону, и шейх едва не растянулся снова. Он стал яростно колотить ослика по бокам палкой, а тот стоял, понутив кроткую голову, и только поводил ушами да изредка дергал кожей.

— Мухаммед!.. — кричал шейх, избивая ослика. — Мухаммед!..

Я думал, он призывает на помощь пророка, но вскоре весь базар подхватил:

— Мухаммед!.. Мухаммед!..

И тут, покачиваясь на своих кривых ногах, подошел объездчик арабского коня и мула — парень с курчавожесткими волосами. Он взял из рук шейха палку и, зайдя сзади, вскочил на круп ослика. Бедный ушастый дурачок напрасно думал продолжить свою упрямую игру. Первый же меткий удар между ног бросил его вперед, он закинул морду, как всегда делают ослы, не желающие слушаться повода, но щелчок палкой по ноздре напомнил ему о покорности, а другой — между ушей — наладил на прямой путь. Кривоногий всадник заставил осла трусить то прямо, то по кругу, быстрее и медленнее, круто поворачивать, останавливаться и сразу бежать вперед. Теперь он ударял его довольно редко, лишь размахивал палочкой, приводя в гармоничное сочетание все части непокорного ослиного тела, управляя ими, как дирижер оркестром. Затем подвел к шейху укрощенного ослика...

Как только солнце набрало силу, базар стал быстро пустеть. Почувяв распад торжища, нищие гуртом устремились к воротам: калеки — энергично работая костылями, слепцы — цепляясь за плечи друг друга, ползуньи — извиваясь на земле с проворством ящериц. Следом

затрусили всадники на мулах и осликах, по-арабски сидя на самом крупе, конные статно держались в расшитых седлах, владельцы верблюдов плыли в выси, на острие верблюжьего горба, и валом валила пешая толпа. Все так же щедро одаряя утро блеском, звоном и красками, прошел водонос с пустым плоским бурдюком за спиной.

И тоже пешком шел курчавый парень, Мухаммед, так лихо скакавший на коне, так властно побеждавший упрямяство ослов и мулов. Лучший всадник торжища оказался пешеходом. Ему было недалеко. Шагах в пятидесяти от базара с края дороги стояла жаровня, на которой жарят каштаны. У жаровни вертелся мальчишка лет десяти, тоже очень черный и кудрявый. При виде Мухаммеда он немедленно покинул свой пост, а Мухаммед обвязался серой мешковиной и стал у жаровни. Минуту час, когда он был талантлив, удачлив, нужен, когда жил во всю полноту души. Теперь до следующего базара его странный дар подчинять себе живые существа, извлекать из их тел скрытый запас быстроты никому не понадобится. Праздник кончился, начались будни.

## ДВЕ ВСТРЕЧИ

Священный город Мулай-Идрис напоминает верблюда: он так же горбат и в нем так же не отыщешь ни одной прямой линии. Прогулка по его узким, кривым улицам состоит сплошь из подъемов и спусков. Только что карабкался ты по булыжной мостовой вверх и вот уже с опасностью для жизни спускаешься, вернее, катишься по крутой, с каменными обшарпанными ступеньками лестнице вниз. Ослы тут тоже обучены ходить по лестницам, и вызывает удивление ловкость, с какой длинноухие верхолазы штурмуют ступенчатые подъемы.

Священный город обязан своим именем и своей судьбой Шерифу Мулай-Идрису, праправнуку Али, зятя пророка. Это он в восьмом веке основал первое мусульманское королевство на земле нынешнего Марокко со столицей, которой дал свое имя. Из Мулай-Идриса ислам распространился по всей стране. Святилище, в кото-

ром покоится прах Шерифа, служит местом ежегодного паломничества. Тогда Мулай-Идрис становится ареной религиозных празднеств. Это единственное развлечение для жителей города: святость места обязывает их жить аскетично и нудно, в предельной верности всем обременительным законам и предрассудкам мусульманской религии. В будний день Мулай-Идрис самый тихий и неяркий из всех марокканских городов, в каких мне довелось побывать. Даже мертвый Волюбилис кажется живее этого города-мечети. Закон запрещает неверным находиться в городе после захода солнца, но мне думается, что и без этого закона редкий приезжий захочет пробыть здесь лишний час.

При всем том город очень живописен, когда глядишь на него со стороны, со склона ближайшего холма: его белые здания заполняют скалистую чашу, образуемую двумя горами.

Святость, разлитая над городом, не мешает его жителям широко и прибыльно торговать оливковым маслом. Склоны окрестных холмов покрыты оливковыми деревьями. Когда идешь городом, в нос тебе поминутно ударяет приторно-душный запах свежееотжатого масла, а возле темных подвалов, где грохочут прессы старинных давилен, высятся горы жмыха.

Однажды в Марокко произошло массовое отравление оливковым маслом, народная молва дружно указывает на священный город как на источник бедствия. Но жители Мулай-Идриса яростно отрицают, что именно им пришлось на ум удешевить производство оливкового масла за счет некоторых промышленных отходов. Дело темное...

И вот, когда мы шли пустынной и мрачной, с облупившимися домами улицей, из какого-то проулка навстречу нам вынырнул молодой араб, одетый так роскошно, словно он собирался на светский раут. Темный, ультрамодный вечерний костюм красиво облегал его высокую стройную фигуру, белый крахмальный воротничок, такой тугой, что мог бы служить метательным оружием, сжимал смуглое горло, перерезанное узкой бабочкой одной расцветки с платочком в кармане пиджака, на ногах у него были остроносые мокасины из юфти, короткие узкие брюки без манжет высоко открывали черно-серебристые носки со стрелкой.

Где-нибудь в Касабланке или в Рабате его вид не вызвал бы удивления, но здесь он был странен и неуместен, как жираф на скотном дворе. Тут и вообще-то никто не носит европейского платья, горожане одеваются во что-то серое, тусклое; лица женщин тут не просто прикрыты чадрой, а похоронены в глухих покрывах, и черные глаза кажутся продолжением черной ткани. Он был вызывающ и, конечно, сознавал это. Поравнявшись с нами, он, видимо, уловил произведенное им на нас впечатление и улыбнулся одними глазами, блестящей голубизной белков.

Он встретился нам еще дважды. Раз он широко, размашисто сбегал с лестницы, другой — шагал серединой улицы под хмурыми взглядами владельцев маленьких лавок, под боязливыми взглядами женщин и восторженными — подростков. И глаза его улыбались дерзко и чуть напряженно.

...На огромной площади перед марракешским базаром ежевечерне происходят народные игрища и гулянья. Здесь показывают свои однообразные чудеса заклинатели змей, гадалщики с дрессированными варанами. Из окрестных деревень, с гор Атласа, спускаются сюда артисты-любители: плясуны, музыканты, чтецы и рассказчики старинных легенд, доморощенные клоуны и акробаты.

Здесь сквозь стекла стереоскопов можно увидеть памятники архитектуры и непристойные картинки. Бойко идет торговля леденцами, жареными каштанами, лепешками с патокой, мороженым, а водоносы едва успевают наполнять свои бурдюки у ближайшей колонки.

Вокруг каждого артиста толпа образует круг, и вся площадь поделена на большие и малые круги. Особенно интересно наблюдать площадь из летнего кафе, расположенного на плоской крыше отеля. Тут всегда полно туристов. Сидя за оранжадом и кока-колой, они часами любуются яркой, суматошной жизнью площади. Отсюда видно и двужильных танцоров, работающих без антрактов, и неутомимых музыкантов и акробатов, и двух клоунов, что без устали награждают друг друга пинками, колотушками, зуботычинами. Они так оборваны, измождены и жалки, эти два паренька с размалеван-

ными лицами, так унижают друг друга, что, глядя на них, самый последний нищий испытывает прилив чувства собственного достоинства.

А вот акробаты, танцоры и музыканты показывают подлинное народное искусство, тут все без обмана. Стройны и мускулисты полуобнаженные бронзовые тела силачей-акробатов, легки, воздушны танцоры, в совершенстве владеют своими примитивными инструментами музыканты...

На террасе появляется заклинатель змей: пожилой человек в пропыленной белой одежде, с умным усталым лицом и длинными седыми косицами. Он достает из деревянного ящика кобру, дразнит ее, заставляя выпускать тонкий, трепещущий язычок и раздувать ромбом горло. Он подносит ее близко к своему лицу, закинув голову, кладет на лоб и терпеливо ждет, пока туристы щелкают затворами кинокамер. После этого он водворяет кобру обратно, а из другого ящика, побольше, достает толстую, довольно короткую серую змею. Змея кажется дохлой, и заклинатель с покорно-усталым видом пытается пробудить в ней искру жизни. Наконец змея делает несколько вялых движений коротким толстым телом и раскрывает пустую пасть. Тогда он обвиняет ею свою жилистую шею и опять ждет, пока его снимут. Затем опускает змею в ящик и собирает со зрителей деньги. Спустя несколько минут заклинатель, задвинув ящики со змеями под столик, освежается кока-колой.

И тут возникла на террасе кафе молоденькая арабка в белой льняной одежде, в туфлях на высоком каблучке, с лакированной сумочкой под мышкой. На крыше было ветрено, и легкая темная чадра колыхалась, порой так плотно обтягивала лицо, что можно было прочесть нежные, точеные черты. Молодая женщина заняла крайнее место у барьера, что-то коротко сказала официанту и вдруг быстрым, хищным движением сорвала с лица чадру, скомкала черный шелковый лоскуток и спрятала в сумочку. Она склонилась над перилами и будто метнула в площадь, в толпу свое нагое маленькое фарфоровое лицо, затаенно торжествующее, раздумывавшее под смуглотой.

Официант поставил перед ней стакан с оранжадом. Она взяла его в руку, прильнула розовыми губами к

пластмассовой соломинке и стала тянуть золотистую жидкость, не отрывая жадных и счастливых глаз от веселого сумбура площади.

## СОДОМ И ГОМОРРА

Сегодняшняя прогулка обещает нам много интересного. Мы перевалим через горы высокого Атласа, прибудем в городок Уарзаат, где ощущается дыхание Сахары, осмотрим музей ремесел, побываем на съемках фильма «Содом и Гоморра» и познакомимся с итальянской актрисой Пьеранджелли и знаменитым голливудским актером Стюартом Грейнджером, которого мне довелось видеть в двух его лучших ролях: Байрона и лорда Брёммеля.

Путь на перевал помнится мне единым, долгим и упорным стремлением нашего автобуса угодить в яркосиний, между двумя белыми снежными вершинами, треугольник неба. Какие бы выкрутасы ни учиняла дорога, автобус снова и снова брал курс на синий разрыв в горной тверди. Путешествие приобрело приятный оттенок риска, потому что шофер Хуан то и дело бросал баранку, чтобы помочь жестикуляцией своему плохому французскому языку. Хуан, баск, участник войны в Испании, за что в свое время поплатился тюремным заключением, мог часами говорить о политике. На его красноречие несколько не влияли такие мелочи, как узкая, повисшая над пропастью дорога, встречные машины, вылетающие из-за поворота. В последнем случае Хуан клал правую руку на баранку, а левой приветствовал коллегу жестом, сопровождавшим республиканское «Но пассаран!», и впритирку проводил автобус мимо встречной машины.

С приближением к перевалу точно и резко очерченный синий треугольник стал терять строгость контуров, расплываться. Склоны образующих его вершин раздвинулись, из-за них выглянули склоны и отроги других гор, и, когда мы достигли перевала, казалось, что мы сбились с дороги и проскочили мимо синей воронки.

Затем началось долгое, по спирали, падение вниз, оно кончилось возле харчевни, посреди пыльного, зной-

ного, почти лишённого растительности Уарзазата. Сухой, горячий воздух садняще ожег кожу: мы ощутили дыхание Сахары. Это было первое из обещанных нам впечатлений, остальные не заставили себя ждать.

Харчевня была битком набита. Толпа мужчин осаждала стойку, громко требуя пива, виски, вина. Остальные посетители, теснясь за длинными столами, жадно поглощали свинину с фасолью. Одеты все были очень пестро и как-то странно: преобладали шейные платки, брюки из холстины, повязанные толстым ремнем много ниже талии. Можно было и не знать, что тут снимается фильм, и все же сразу определить, что за народ набился в харчевню. Это угадывалось по ярко-цветной и нелепой одежде, по вызывающей шумливости и по тому, что каждый слушал только самого себя, по нарочитой свободе жестов и поз и по той незаземленной, на грани парения, легкости, которая отличает участников всех киноэкспедиций мира.

Пока искали администратора, к нам привязался подвыпивший итальянский актер в обвислых джинсах, сомбреро и красной рубашке. На скверном французском языке он втолковывал нам, что он маленький актер, не Стюарт Грейнджер, видит бог, не Стюарт Грейнджер, не Стюарт Грейнджер, да и все тут! Мы успокоили актера, сказав, что поняли это сразу.

Наконец появился администратор в том же ковбойском костюме, но без шляпы. Его черные, набриолиненные, разделенные пробором волосы сверкали, посреди квадратного подбородка темнела волевая ямка.

Съемку сегодня отменили, сказал он хриплым, прокуреным голосом, режиссер повздорил с героиней... Пьеранджелли, да... и они заперлись по своим номерам в гостинице... Едва ли их удастся увидеть... Стюарт Грейнджер тоже в отеле... Нет, он ни с кем не ссорился... Фильм совместного итало-американского производства. Продюсер американец, а режиссер и сценаристы итальянцы...

Мы спросили, является ли этот фильм художественным или коммерческим.

Администратор усмехнулся, провел ладонью по своей гладкой голове.

— Художественным... И, конечно, коммерческим...

— Сколько он стоит?

— Шестьсот миллионов лир.

— Ну, так это коммерческий фильм.

— Почему? Искусство требует жертв! — он засмеялся и закашлялся.

— Настоящее искусство в кино не стоит так дорого.

— Это верно! — прохрипел он. — Но будем надеяться на лучшее.

Мы поблагодарили администратора и после обеда, состоявшего тоже из свинины с фасолью, отправились в отель.

Когда наш автобус разворачивался на асфальтированной площадке перед отелем, из дверей вышел высокий, широкоплечий человек с медно-загорелым, чеканным лицом и седыми висками, сел в низкую, словно расплюснутую машину, хлопнул дверцей и уехал. Машина скрылась за углом, и тут я сообразил, что это и был Стюарт Грейнджер. Он сильно изменился с поры «Байрона» и «Лорда Брёммеля». Не то чтобы постарел, седые виски его не старили, скорее подчеркивали молодость его статного облика и чистого, четкого, нигде не одряхлевшего лица. Но прежде его мужественность была одухотворена каким-то мягким светом, сейчас этот свет погас, красивое лицо стало жестким до грубости.

Наверное, такой его образ кажется режиссерам очень подходящим для библейских сюжетов. В подобных фильмах герой всегда осенен мрачной загадочностью, скрывающей пустоту. Но ведь Стюарт Грейнджер — не типаж, он актер милостью божьей, его лицо умеет жить на экране, передавать все богатство человеческих страстей...

Огромный холл отеля был набит звездами всех величин почти так же плотно, как харчевня — киношниками низшего ранга. И здесь попадались клетчатые рубашки, яркие шейные платки и джинсы, но куда больше было модных узких брюк, белых рубашек с крахмальными воротничками. Группа актеров резалась в карты за круглым стеклянным столом; судя по горе нарядных марокканских денег, игра шла не по маленькой. Другие пили коктейли в баре. За столиком, уставленным бутылками и бокалами, тоненький бледный молодой человек в испарине вяло, но настойчиво тискал голые плечи белокурой актрисы с подсиненными веками.

— Эх, огненного дождя на них нет!..— сказал Хуан. И мы поехали в музей ремесел.

Этот небольшой музей, где собраны ковры, медная утварь, керамика, золотые и серебряные украшения, холодное оружие, всевозможные изделия из железа, дерева, камня, представляет интерес для тех, кто хочет единым взглядом охватить все, что умеют делать искусные руки марокканских ремесленников. Но мы исходили не один десяток километров по меккам Касабланки, Рабата, Мекнеса, Феса, Марракеша и других городов, совали нос всюду, где ткуют, чеканят, лепят, обжигают глину, столярят, слесарят, куют и плавят, и этот музей не мог поразить нас: тут не было той роскоши зрительных впечатлений, какой одаряла нас иная медина.

Мы сели в автобус и отправились на место съемок, решив посмотреть хотя бы декорации будущего фильма. Километров через двадцать мы увидели обычную дорожную стрелу с надписью по-французски: «До Содомы и Гоморры 4 км».

Двинулись по грунтовой дороге и вскоре увидели в красноватых лучах закатного солнца за каменистым ложем ручья высокие глинобитные стены с воротами и башнями, дальше, на холме, нечто вроде крепости и часть города. Оказывается, все, кроме заброшенной старинной крепости, построено киногруппой, притом так добротнo, что после съемок тут свободно могли бы поселиться люди, если б только в соответствии с библейской легендой Содом и Гоморра не подлежали уничтожению.

Хуан нажал кнопку сигнала. Навстречу нам медленно ползла низкая, расплюснутая машина. За лобовым стеклом я увидел красивое, смуглое, мрачно застывшее лицо Стюарта Грейнджера. В то время как героиня в канун съемок ссорилась с режиссером, а другие актеры играли в карты и предавались разгулу, он один, самый опытный и признанный, счел нужным ознакомиться со съемочной площадкой. Печально углубленный в себя, он даже глазом не повел в сторону нашего автобуса. Быть может, сейчас, посреди этой тяжеловесной библейской бутафории, в нем окончательно угасла надежда воплотить хоть частицу своего таланта в новом фильме.

Мы не долго пробыли в Содоме и Гоморре: вечерело, а нам предстоял долгий и трудный обратный путь.

Едва наш автобус выехал на шоссе, как раздался оглушительный грохот и вслед за тем лязг, похожий на стон. Я и раньше замечал: когда в машине ломается что-то основное, когда происходит не порча, а безнадежная авария, возникает звук, сопутствующий гибели живого существа. Машина стала, и в нехорошей тишине пронеслось: полетел кардан.

Мы высыпали наружу. Впереди были Атласские горы, позади Сахара, вокруг голая равнина, над головой небо, стеклянно, остро-зеленое, пробитое одной крупной, яркой звездой.

— Венера! — радостно сказал кто-то, словно сейчас это имело какое-нибудь значение.

С зажженной сигаретой в зубах подошел Хуан, а через заднюю дверь на дорогу прыгнул Браим и стал натягивать на себя замасленный комбинезон.

— Что будем делать, Хуан? Заночуем здесь?

— Не думаю, — отозвался Хуан. — Браим что-нибудь изобретет.

Мы засмеялись. Браим в самом деле считался механиком при Хуане, но его обязанности в пути сводились к тому, что он подставлял скамеечку под высокую ступеньку автобуса, когда мы входили и выходили. Еще он открывал бутылки с апельсиновым соком, хранившиеся на льду в металлическом ящике, да изредка, если барахлил мотор, подавал Хуану гаечный ключ или плоскогубцы. Браим постоянно улыбался доброй, белозубой, застенчивой улыбкой и очень любил здороваться за руку. Каждое утро он старательно выполнял этот обряд, не пропуская ни одного туриста. Мы привязались к Браиму, но все же его участие в нашем путешествии казалось нам необъяснимым расточительством туристской фирмы.

— Нечего смеяться! — запальчиво сказал Хуан. — Браим обязательно найдет выход, это гениальный механик!

— Эдиссон! — заметил кто-то.

— Да, Эдиссон! Если б он мог учиться, то стал бы Эдиссоном!

Хуан был красноречив и прирожденный спорщик, но впервые он говорил с такой страстью о чем-то, не связанном с политикой.

Браим не слышал этих восхвалений, он доставал из

багажника переноску и инструмент. Но вот он прошел мимо нас и юркнул под машину.

— Этот парень, — продолжал Хуан, с наслаждением затягиваясь сигаретой, — может прочесть вывеску, только если на ней что-нибудь нарисовано, но в технике настоящий черт! И знаете, откуда пошло? Мальчишкой крутился возле гаража, бегал за пивом для механиков, иногда подносил им инструмент или концы. Он знает машину лучше, чем я свою жену. Вы заметили, какие у него пальцы? Как у скрипача. Он может достать любую гайку в моторе...

Признаюсь, я подумал: Хуан потому так необыкновенно щедр к своему помощнику, что ему не хочется самому лезть под машину, дело все равно безнадежное, а он устал, стер руки о баранку и радовался аварии, избавляющей его на сегодня от трудного пути назад.

Словно подтверждая мою догадку, Хуан каким-то сытым голосом продолжал:

— Вот я — классный шофер, но в технике перед Браимом — пас! А представляете, сколько таких вот Браимов шляется по базарам и мечетям, торгует жареными каштанами или просит милостыню. Механики, техники, физики, химики, электрики, понятия не имеющие о своем настоящем призвании. Конечно, когда девяносто пять процентов промышленности находится в руках иностранного капитала... — Хуан сел на своего любимого конька, но пришпорить его не успел.

— Хуан!.. — глухо донеслось из-под автобуса.

— Чего тебе? — присел на корточки Хуан.

— Дай разводной ключ...

Хуан швырнул сигарету и кинулся выполнять поручение.

Я ошибся: Хуан говорил от чистого сердца, а вовсе не для того, чтобы оправдать свое безделье. Едва он успевал растянуться под автобусом рядом с Браимом, как тот снова гнал его то за мотком проволоки, то за паяльной лампой, то еще за чем-то.

Сопровождающая нашу группу представительница марокканской туристской фирмы мадам Эллен несколько раз выходила из автобуса и жалобно кричала световому пятну под автобусом:

— Ну как там, Браим?

— Работаем, мадам, — глухо отзывалось пятно света.

Механик Браим



Марракешская медина



Она всегда называла его Мухаммедом: самое распространенное мужское имя у арабов, которым европейцы пользуются как кличкой. К чести мадам Эллен, во всем остальном она относилась к Браиму с присущими ей вежливостью и деликатностью. «Вспомнила наконец, как его зовут!» — злоратно подумал я.

Меж тем сгустилась тьма, вызвездилось небо, Венера, пригаснув, закатилась к горизонту. Теперь над головой, ручкой книзу, повис ковш Большой Медведицы и четко, как никогда в наших широтах, обрисовалась ее младшая сестра. Резко похолодало, лишь изредка со стороны Сахары, с неостывших песков, набегала теплая волна, затем становилось еще холоднее. А небо опускалось все ниже со своей тьмой и серебром, и по нему простерлась широкая сияющая дорога Млечного Пути.

Порой со стороны Атласа вдруг вспыхивал огромный свет, озарявший не только шоссе вплоть до нашего заглохшего автобуса, но и пространства равнины и неба, и трудно было поверить, что это свет автомобильных фар. С приближением свет, хоть и набирал яркость, скромнел в размахе, сужался в голубой луч, и, видимый лишь в последнюю минуту, на нас надвигался и пронесся мимо грузвик.

Я знал, что когда-нибудь буду вспоминать обо всем этом как о счастье, но сейчас было холодно, хотелось пить и спать, и я не поверил ушам своим от радости, когда из-под автобуса вылез Хуан с перепачканным лицом и устало сказал:

— Садитесь!..

Браим замешкался, и мы в первый раз обошлись без скамеечки. Конечно, не было и речи о том, чтобы продолжать путь, но мы могли теперь вернуться в Уарзат, поужинать и переночевать в отеле. А наутро Хуан и Браим заменят кардан на станции обслуживания.

Автобус развернулся и тихо, на второй скорости, скрипя, лязгая, ёкая подбрюшьем, как лошадь селезенкой, двинулся в обратный путь. Что там ни говори, а Браим сотворил-таки чудо.

— Мухаммед! — крикнула мадам Эллен. — Будьте любезны, разнесите воду!..

Браим — он уже снял комбинезон и был в обычных холщовых брюках и дерюжной курточке — со своей всегдашней, словно извиняющейся улыбкой подал мне бу-

тылку с соком. Я по-новому прочел его улыбку. Как все подлинно одаренные люди, Браим в глубине души знал себе цену, своей улыбкой он извинялся за нас, вынужденных принимать от него услуги, не соответствующие его достоинству.

На въезде в Уарзазат фары автобуса выхватили из темноты высокую фигуру стоящего с края шоссе человека в плаще с поднятым воротником и фетровой шляпе. Человек стоял спиной к дороге и глядел в темноту. Это был Стюарт Грейнджер.

Меня поразило неожиданно открывшееся сходство в судьбе двух столь разных людей: красивого, избалованного вниманием, прославленного артиста и нашего жалкого Браима в дерюжном обдергайчике.

Странно сказать, но мне в этот миг показалось, что перед Браимом, сыном молодого государства, распахнуты более широкие дали...

## ШОФЕР ХУАН

Это был нелегкий для Хуана день. Лишь к обеду мы вернулись из Уарзазата в Марракеш и сразу после обеда должны были выехать в Тарудант. Нам предстояло снова перевалить через Атлас, но на гораздо большей высоте, прибавив к уже проделанным двумстам километрам трудной горной дороги еще триста.

Перед выездом мадам Эллен приняла меры, чтобы обеспечить нам безопасность пути. Обычно передние места в автобусе занимали туристы, владеющие французским языком: неутомимый говорун, Хуан постоянно нуждался в собеседниках. На этот раз, чтобы Хуан не отвлекался, мадам Эллен усадила рядом с ним глуховатого инженера и одного сильно пожилого человека, на которого дорожная тряска действовала усыпляюще.

Хуан не сразу заметил подвох и еще на марракешской улице, сняв с баранки руку, обратился к своим соседям с длинной тирадой. Удивленный их молчанием, он повернулся к ним всем корпусом и с еще большим напором повторил свою речь, умудрившись при этом избежать неминуемого, казалось, столкновения с встречным грузовиком и скользнуть в щель между гигантским

рефрижератором, отхватившим пол-улицы, и вереницей легковых машин. Мы выскочили наконец за городскую черту, Хуан переключил скорость и снова обернулся к туристам. Но один сладко спал, а другой показал на свое ухо и сделал отсутствующее лицо. Хуан цокнул языком и подавленно замолк.

В предгорье Атласа мы въехали на скорости сто тридцать километров. Дорога шла прямо, лишь изредка делая плавные, почти неощутимые повороты. Мы неприметно набирали высоту, и казалось странным, что зеленая долина, прорезанная ручьем, вдруг очутилась под нами.

— Отсюда вышли мавры, завоевавшие Испанию! — закричал Хуан; жилы на его шее натянулись, как струны, лицо побагровело.

— Спокойно, — зашептала мадам Эллен. — Не обращайтесь внимания!

— Они завоевали мою родину! — орал Хуан. — Но фашист Франко хуже мавров!..

Долгий сигнал впереди призвал Хуана к вниманию. Он едва успел вывернуть руль вправо и поднять для приветствия левую руку, как нас обдало едкой вонью солярки и мимо пронесся десятитонный грузовик.

Шоссе, вблизи серое, а вдалеке густо-синее, как река, еще некоторое время шло над долиной, затем, резко забирая вверх, стало огибать гору. На крутых поворотах его ограждали редко поставленные каменные столбики, а на остальном протяжении его край, обращенный к пади, не был ничем защищен. Вчера на наш вопрос, случаются ли в горах катастрофы, Хуан насмешливо ответил: «Дня не бывает, чтобы какой-нибудь грузовик не загремел к черту в лапы. А ночью или в дождь машины падают, как груши!». Браим с улыбкой подтвердил, что это святая правда...

Поворот следовал за поворотом, нас то прижимало к стенке автобуса, то валило к проходу. Мы взяли курс на перевал. Сперва казалось, что не мы движемся вверх, а углубляется поросшая кустарником падь за краем шоссе. Я занимал место у окна, глядевшего на внешнюю сторону шоссе, и мог наблюдать волнуемое превращение долины в лощину, лощины — в пропасть.

Среди кустов в лощине замелькало какое-то желтое тело. Мы приблизились, это был шакал. Он стоял не-

движно — мелькание ветвей наделяло его обманчивым движением — и брезгливо смотрел на нас через плечо. Ростом с собаку, он рисовался отчетливо, вплоть до клычков под вздернутой губой. Поворот скрыл от нас шакала, а когда мы снова увидели его, он умалился в крысу; после следующего поворота лишь ярко-желтая точка скользила по зеленому вниз.

Затрудненность дыхания и легкое покалывание в заушинах неопровержимо доказывали, что не глубина наращивается под нами, а мы набираем высоту. Могучие кедры на склонах гор сменились низкорослым ладановым можжевельником, горы не терпели рядом с собой другой высоты.

Но как ни вилась дорога, перевал, смутно угадываемый за громадами двух соседних гор, покрытых кое-где снегом, с вершинами, тонувшими в облаках, не давал к себе приблизиться. Под колесами серая осыпь камней обрывалась в бездну, дно которой не удавалось проглянуть из окошка — так крут был обрыв. С моего края было легко представить, что автобус, словно воздушный корабль, плывет в синеве небес, но стоило бросить взгляд налево, где автобус лепился к серому, в ржавых пятнах склону, как ощущение враз пропадало.

Один из двух сумрачных гигантов, неожиданно приблизившись за поворотом, распался вдруг на множество отрогов, а снежная его вершина отвалилась вглубь, увенчав другую гору. Зато второй гигант ничего не утратил в своем величии, лишь снеговые полосы на нем оказались облаками, а облако на вершине — шапкой снега. Будто деля его на ярусы, по его громаде тянулись ровные линии уступов. Лишь увидев ползущего по нижнему уступу серого жучка — старенький «ситроен», я догадался, что это дорога трижды опоясывает тело горы. А нам-то казалось, что мы достигли самой выси небес!..

Перед подъемом на эту гору дорога вдруг пошла под уклон, пропасть выпятила дно, подвела его к нашим глазам, и мы увидели глинобитный загон для овец и сбившуюся в войлочную грудку отару. Но вот Хуан переключил скорость, дал сильный газ, и мы начали движение по первому ярусу огромной горы. «Ситроена» уже не было видно, он достиг противоположного склона. Меня занимал вопрос, что станет делать Хуан, нагнав

«ситроен». А в том, что мы нагоним его, сомневаться не приходилось: Хуан держал скорость семьдесят километров в час, уступая поворотам не более двадцати.

И вот мы на полной скорости приблизились к «ситроену», — теперь мое окошко было обращено к склону, — Хуан посигналил, бедная жестяная коробочка испуганно вжалась в гранитную стену, и мы обошли ее с таким щедрым запасом, что левые колеса, надо полагать, прокатились по воздуху...

С верхнего яруса мы незаметно перенеслись на другую гору, не столь высокую, но виток дороги шел здесь ближе к вершине, и мы, пожалуй, еще нарастили высоту. Я убедился в этом, когда после крутого виража вновь оказался лицом к обрыву. Отсюда широко открывался гористый простор, и в нем с удивительной быстротой происходила смена красок. Только что горы были серыми вблизи, розовыми в отдалении и голубыми вдали, и вот уже ближайšie склоны пожелтели, дальние налились темно-красным, гряды, замыкающие простор, набрали чернильную густоту. Приближался закатный час, и горы отзывались на него еще более чутко, чем море. Уже знакомо по прошлой поездке стеклянно позеленело небо, и в нем заблестала серебряной точкой Венера, вскоре она станет шестигранником, полным яркого, холодного света.

Дорога перестала набирать высоту, мы проходили перевал. Шатаясь, как в корабельной качке, к свободному переднему месту, справа от Хуана, прошел художник К. и направил свою кинокамеру в простор, еще светлый последним светом.

Я подумал о том, что вечером мы будем в Таруданте, и понял, в каком напряжении находился все это время. До перевала мне ни разу не вспало на ум, что наше путешествие имеет конечную цель, что дорога куда-нибудь нас приведет. Я жил только высотой, пропастью, коварством поворотов, движением по краю гибели, словно оно было самоцелью и не имело конца. Перевал вернул мне будущее. Жизнь вновь обрела перспективу: будут и Тарудант, и Агадир, и возвращение домой, и весенняя подмосковная рыбалка, и осенняя охота...

По проходу, возвращаясь на свое место, проковылял художник, он был бледен и странно растерян.

— Что с вами?

— А вот попробуйте...— он с неловкой улыбкой кивнул на кресло, которое только что покинул.

Я уселся в правом переднем углу автобуса у самого лобового стекла, даже Хуан оказался позади меня на длину руля. Прежнее мое ощущение бездны было надуманным и жалким. На поворотах угол автобуса, где я находился, в буквальном смысле провисал над пропастью: под ним не было земли. Да и скорость нашего движения переживалась тут совсем иначе. Перед поворотом казалось, что мы несемся прямо в пустоту, а на самом повороте автобус бросал меня в пропасть, затем с яростным рычанием — Хуан прибавлял газу — обтекал поворот и в последнюю секунду выхватывал меня из пропасти. Опять не стало Таруданта, Агадира, возвращения домой, не стало будущего — ничего, кроме чередующихся гибелей и спасений...

Теперь мы спускались, но ощущение опасности ничуть не уменьшилось: мы как бы низвергались в сумрак, в ночь. Вверху еще светлело небо, а здесь будто из всех щелей, провалов, глубин и трещин наплывал густеющий с каждой секундой мрак. Где-то далеко внизу высвеченная Венерой дорога серебряным колечком огибала темную скалу, и, будто ее зеркальное отражение, в небе над ней висело светлое колечко облака.

Но вот Хуан включил фары, отсекая ставший ночью простор, потускнело небо, грубее, резче стал свет прежде тихо мерцавших звезд, осталась лишь узкая дорога с обрезом края, за который оскальзывал луч правой фары. Хуан не снизил скорости, и в темноте казалось, что мы мчимся все быстрее. Я поглядел на Хуана, на его незагорающее лицо с розовой кожей, водянистые, выпуклые глаза и нос, похожий на клюв хищной птицы, на большие руки, лежащие на баранке, а не сжимающие ее, и почувствовал, что начинаю его ненавидеть.

Стремительно приближался поворот, Хуан включил дальний свет, лучи фар простерлись в за клубившуюся голубизной даль, и тут из-за поворота по ним стегнул другой свет. Пересечение лучей ярко вспыхнуло. Хуан дал ближний свет, еще раз дальний, затем прибавил газу. Мы круто обошли выступ скалы и вышли лоб в лоб с грузовиком, он стоял метрах в десяти от поворота, занимая чуть не всю ширину шоссе. Я не успел подумать, как поступит Хуан, а он уже с силой, но совершенно

спокойно крутил баранку в сторону обрыва. Когда правые колеса пошли по самой закраине шоссе, он мгновенно крутанул баранку влево и провел автобус на ширину ладони от грузовика, успев еще поднять для приветствия руку.

«Черт бы побрал его вежливость!.. Нужны эти церемонии в нескольких сантиметрах от гибели!..»

А вскоре мы на прямой съехали с другим грузовиком, и казалось, сейчас произойдет взаимопроникновение двух громадных машин. Но Хуан хладнокровно забрал вправо, дал газ, поднял руку, и мы опять вприпрыжку скользнули мимо смерти.

И вдруг на меня снизошло полное спокойствие: я всеми нервами ощутил, что у Хуана всегда найдутся в запасе несколько спасительных сантиметров. В том и заключалось его высокое, совершенное мастерство: безошибочный расчет и чутье зверя. Весь его мышечный аппарат был свободен, лишен напряжения и оттого полностью ему подвластен. Видимая небрежность Хуана была лишь глянцем на его мастерстве.

Я преисполнился такого доверия к Хуану, что даже задремал, и мне приснился сон из моего будущего, где счастливо сочетались Марокко и Подмосковье. Когда я проснулся, спуск остался позади и, отмахивая пальмы, мы мчались по широкому прямому шоссе к Таруданту.

Вскоре мы остановились у ярко освещенного подъезда султанского дворца, превращенного в отель. Не стовариваясь, мы стали аплодировать Хуану.

— Ну, какая это езда! — без всякой рисовки сказал Хуан, не сразу понявший, за что его чествуют. — Поглядели бы вы, как мы ездили под Теруэлем, когда наши отступили в горы. Мы возили туда боеприпасы, а обратно — раненых. Дорога вдвое уже этой, вся изрыта воронками, на счету каждая минута, а тут еще эти мерзавцы бомбят и обстреливают из пулеметов. — Хуан цокнул языком. — Вот там мы держали скорость!..

Мне подумалось, что почти машинальный жест, каким Хуан приветствует встречные машины, верно, очень много значил на той дороге, о которой он сейчас рассказывал.

Первая маленькая выставка молодых марокканских художников встревожила и огорчила Пьера Аржантейля. Он пошел взглянуть на нее как на курьез. Откуда взялись марокканские художники? В Марокко был и есть один художник, Пьер Аржантейль, запечатлевший всю красоту и печаль этой многоликой страны. От Танжера до Таскалы, от Касабланки до Мериджи он в тысячах холстов воплотил ее закаты и восходы, свежесть зеленых долин и тоску пустыни, ее холмы и горы, ее мутные, пересыхающие летом реки, пальмовые и оливковые рощи, цветущие сады и тесные улочки медин, ее роскошь и нищету, ее океан и ее небо. И нет другого Марокко, кроме того, что создал он, лишь его Марокко знают люди, никогда не ступавшие на марокканскую землю.

Правда, у марокканцев есть еще Мухаммед Идриси, бербер, почтенный и жалкий старец, пытающийся сочетать свою доморощенную философию с достижениями европейских абстракционистов. Бедняга уверен, что творит для народа, будто обитатели медины способны понять что-нибудь в его отвлеченных скульптурных «симфониях» или абстрактных акварельных композициях. А вот картины Пьера Аржантейля, хотя он и француз, понятны самому захудалому продавцу каштанов или берберу, обитателю земляной пещеры, потому что Аржантейль — твердый и последовательный реалист, за всю свою долгую жизнь ни разу не давший сбить себя с толку разным модным течениям. Быть может, по этой причине он и не приобрел всесветной известности мятущегося Пикассо или скандальной славы Сальвадора Дали, но с него хватит и того, что он лучший художник Африки, что картины его находятся в крупнейших музеях Европы и Америки. Словом, старец Идриси не в счет. Но вот молодые, откуда они взялись? Еще вчера их попросту не было. Но вчера не было еще и государства Марокко... Т-с-с! — остановил себя Аржантейль со странной улыбкой. — Ты теперь гражданин этого государства и его национальная гордость, два миллиона франков, только что уплаченные тебе за выставку

в Рабате,— неопровержимое тому свидетельство, так что оставь иронию неудачникам...

Поначалу выставка молодых наградила Аржантейля лишь приятным сознанием своей прозорливости. Как он и ожидал, все натюрморты рабски копировали Сезанна, пейзажи с детской старательностью повторяли Писсаро, а портреты — Ренуара. Иногда попадался Брак помароккански, и это казалось даже оригинальным. На выставке преобладал городской пейзаж, почти не было девственной земли, но красные скалы и бурые утесы одного художника вяло и старательно воспроизводили ранние полотна Аржантейля. Конечно, думал Аржантейль, легко сменить надписи на правительственных учреждениях и куда труднее вытравить многолетнее влияние великой культуры!

А потом Аржантейль увидел маленькую женскую головку из красного дерева. Несколько традиционный, скорбно-изящный наклон ее головы над незримым младенцем подсказал Аржантейлю, что это святая дева Мария. У Марии не было черт лица, их заменял косо насеченный на глади дерева крест: он-то и создал тонкую линию бровей, нежную и горькую складку на лбу, красивую, легкую линию носа. Аржантейля поразила почти наглая смелость и прямизна замысла и то свободное, уверенное мастерство, с каким этот замысел обращен в поэзию.

Чуть подальше, в темноватом углу зала, висел пейзаж маслом: «Пустыня». Вся плоскость холста была залита желтым, тускло- и душно-желтым, в застывших складках; художник не оставил на холсте даже узкой полоски для синего неба пустыни, для тонкой синевы, дающей хоть какой-то выход. Невозможно сильнее передать безнадежность покрытых песком громадных и вместе душно-тесных пространств. Это больше чем образ пустыни, это образ чувства, рождаемого пустыней. Создать такое не дано пришельцу, лишь родной сын страны может обладать подобной чистотой горечи.

Его, Аржантейля, марокканские пейзажи всегда красивы, порой грустны, но не трагичны. А как иначе мог он писать чужую страну, давшую ему славу, богатство, здоровье, да что там — самую жизнь!

Полвека назад двадцатитрехлетний художник Пьер Аржантейль прибыл сюда из Парижа, приговоренный

врачами к смерти. Он приехал без всякой надежды на выздоровление, с единственным желанием провести оставшиеся ему полгода под неувядающе синим небом, под горячим солнцем. В окрестностях Марракеша он писал финиковые пальмы, бурные закаты, тающую в мареве полудня цепочку верблюдов на фоне красноватой земли; он кашлял и плевал кровью на землю, которая все же была не так красна, как кровь. Все, кроме пейзажей, которые он писал, было подернуто для него словно туманом. Из тумана пришла девушка, взявшая на себя заботу о больном художнике, из тумана возник небольшой домик, куда девушка заставила его перебраться из дешевого отеля. В туман уходили от него и полотна, он нисколько о них не жалел, ибо не мог позволить себе к чему-либо привязаться. Он не радовался и тем деньгам, которые приносили эти полотна, деньгам, ставшим домом и садом. Тем же странным туманом было повито и время: Пьер Аржантейль не заметил, как минул предсказанный врачами срок жизни. Туман рассеялся в ту минуту, когда врач сказал ему: вы совершенно здоровы. И тогда Пьер Аржантейль увидел очень многое. Он увидел себя: двадцатичетырехлетнего, стройного, крепкого, дочерна пропеченного солнцем, а рядом с собой молодую, красивую, энергичную женщину, увидел будто из воздуха возникший домик, просто и хорошо обставленный, сад с цветами, рослыми кактусами, с гирляндами красных, желтых и лиловых бугенвиллей.

Франция помнилась ему мучительной болезнью, омрачившей его юность, вечным нытьем отца, неспособного выбиться в люди, холодноватой отчужденностью товарищей по школе искусства, считавших его старомодным и ограниченным; сизым лицом бродяги-натурщика, служившего всем бедным художникам Монмартра. А новая его родина дала ему здоровье, любовь, первый успех, и Аржантейль решил навсегда остаться в Марокко.

Вскоре его имя, окруженное поэтической легендой, стало привлекать не только богатых туристов, наезжавших в Марракеш, но и знатоков-коллекционеров и продавцов картин. Преодолев легкую неуравновешенность юности, он писал в простой и добротной манере, рисунок его был строг, а цвет щедр и ярок, как цвета Ма-

рокко. Время работало на него. Самая молодая из колониальных стран — Марокко — была в центре мировых интересов, пейзажи Аржантейля открывали страну жадно устремленным на нее взглядам во всем многообразии ее богатств.

Аржантейль богател. В нем проснулась неумная жажда деятельности, которая уже не могла удовлетвориться творчеством, хотя работал он по-прежнему много. Он стал скупать землю, стоившую баснословно дешево. Пройдет два десятка лет, на этой земле станут дома, в иных поселятся арабы, в иных европейцы, и Пьеру Аржантейлю будет принадлежать чуть не половина всего Марракеша.

И к этому времени молодая и любимая жена станет немолодой и нелюбимой, и однажды она скажет Аржантейлю с жесткой прямоотой человека, которому нечего терять:

— Ты жалуешься, что дела тебя слишком волнуют. Занимайся живописью, милый, это тебя нисколько не волнует.

Сейчас ее слова вспомнились Аржантейлю. Была ли в них хоть доля правды? Нет, он никогда не изменял живописи, престо его щедрая натура искала применения и в деле жизни. К тому же богатство давало ему независимость как художнику. Но так ли это, был ли он независим? Уинстон Черчилль, приезжавший в Марракеш писать свои пейзажи, сказал ему однажды с двусмысленной улыбкой: «Все изменяется на этом свете, неизменен один Аржантейль». Да, он не менялся, рано пришедшее к нему мастерство избавило его от поисков. Но, быть может, тут было иное: боязнь отойти от того, что уже целых пятьдесят лет не выходит из моды, не теряет спроса, имеет неизменную, гарантированную ценность, подобно государственным бумагам?..

Телефонный звонок. Он снял трубку, звонила жена.

— Пьер, к нам приехала мадам Эллен с русскими туристами. Я распорядилась пропустить их бесплатно...

На ограде прославленного на весь континент сада Пьера Аржантейля висела большая надпись: «За вход один новый франк». Аржантейль не выносил, когда в доме что-либо делалось без его разрешения, но сейчас он был благодарен жене, отвлекшей его от тревожных

мыслей, к тому же он знал сына мадам Эллен, молодого архитектора.

— Прекрасно, дорогая,— сказал он добрым голосом,— это любезно в отношении мадам Эллен...

— И русских,— робко добавила жена.— У нас никогда еще не бывали русские...

— Да, конечно...— пробормотал Пьер Аржантейль. Слова жены показались ему странными, она словно стыдилась, что за посещение сада взимается плата.

— Не примешь ли ты их, Пьер, после того как они осмотрят сад и дом?

— Я приму их здесь, в мастерской,— ответил Аржантейль и положил трубку.

Все приезжавшие в Марракеш считали своим долгом явиться на поклон к Аржантейлю. Но уже с давних пор он принимал лишь избранных, другим же открывались только ворота его сада да изредка двери дома, ставшего не столько жильем, сколько музеем Аржантейля. Мысленно он сопровождал сейчас русских туристов по своему саду. Этим садом он гордился едва ли не больше, чем своей живописью. Сад также был созданием его гения, в чем-то он даже полнее отражал личность Аржантейля, чем его картины. Пожалуй, ни один, даже самый пытливый взгляд не мог усмотреть строгого расчета искусства за буйством красок и подавляющим избытком цветущей, благоухающей, тянущейся вверх и вширь зеленой жизни. Казалось, лишь одна природа способна так рассыпать золото и кровь бугенвиллей в прорывах меж гигантскими эвкалиптами, так картинно и четко отразить в озере миртовые и дроковые заросли, так причудливо перемешать сосны и ели с апельсиновыми и банановыми деревьями, ненароком кинуть розы на согретые солнцем крошечные поляны, сгустить всю африканскую флору на пространстве в несколько гектаров.

А среди зелени голубеют стены маленького дворца, напоминающего пагоду (этот дворец остался за его первой женой, но старуха круглый год живет в Европе), сверкают окна нового дома, две островерхие башенки смягчают его суховатую современность, приобщают к сказке сада.

Интересно, какую из обычных восторженных пошлостей услышит он сегодня: «Эдем!», «Райские кущи!»,

«Тысяча вторая сказка Шахразады!»? Но Аржантейля не шокируют эти банальности, они словно отражают немоту, поражающую всех, кто впервые посещает его сад...

А затем русские войдут в дом и увидят смуглую кожу и алый рот его молодой жены: чистокровная француженка, она кажется таитянкой, сошедшей с полотен Гогена; увидят глиняные кувшины, вазы, чаши, сосуды, изделия из камня, дерева, бронзы, коллекции минералов, гербарии, собранные Аржантейлем в пору его странствий по Марокко; увидят его молодой автопортрет, немного наивный, но свежий и дерзкий по краскам, увидят несколько пейзажей — всё, что сохранил он для себя, не лучшие из его работ, но вполне достойные...

А затем они снова пройдут садом, мимо фонтанов, бьющих прямо из земли, вдоль узкого, зеленоватого от водорослей канала, и вступят в мастерскую, и увидят стройного, худощавого, с голубой короткой сединой над смуглым лбом человека в элегантном костюме из тонкой серой фланели; ему уже за семьдесят, но не дашь и пятидесяти, этому человеку, сделавшему свою жизнь легендой...

«Но ведь они же не знают меня,— резко оборвал себя Аржантейль.— Мое творчество неизвестно в России».

На этот счет у него не было сомнений. Один итальянский искусствовед, совершивший поездку по России, говорил ему зимой в Риме: «Там знают о Западе гораздо больше, чем мы думаем. Ругают Сальвадора Дали, то бранят, то восхищаются Пикассо, смеются над Поляковым, любят Марке и Матисса, иные из молодых тяготеют к Леже и Браку...— и, словно угадав невысказанный вопрос Аржантейля, задумчиво добавил: — К моему удивлению, дорогой, вас там совсем не знают, хотя вы такой последовательный реалист...»

Конечно, мадам Эллен уже поведала русским то, что о нем обычно болтают: о его смертельной болезни и выздоровлении, о его жизненных успехах и, конечно, о том, что «Аржантейлю принадлежит половина Марракеша». Но ведь до приезда в Марракеш и многие другие визитеры не имели понятия о его творчестве, и это несколько его не трогало. На коротком пути из отеля до мастерской все эти люди преисполнялись такого благоговения к «владельцу половины Марракеша», к его богатст-

ву, к его саду и дворцам, что входили сюда, как в храм,— храм бога Удачи.

Но на русских все это может и не подействовать, говорят, они вообще против накопления богатства в руках одного человека. Я для них преуспевающий делец, нажившийся на земельных махинациях и отчасти на живописи. А мой сад? Причуда богача, не гнушающегося брать плату за вход? Чепуха! Каждому понятно, что этим я лишь ограждаю мой сад от нищих, бродяг и уличных мальчишек. К тому же я расходую эти деньги на оплату сторожа и садовника. Да что я, в самом деле, будто оправдываюсь перед людьми, до которых мне нет никакого дела?..

Аржантейль почувствовал внезапную усталость: он смутно сознавал, что мысли о русских туристах как-то связаны с тем, о чем он думал еще утром, после посещения выставки молодых. Нет, нет, он больше не хочет возвращаться к этому!..

«Не им судить меня,— твердо сказал себе Аржантейль.— Пусть тот, кто из смерти, нищеты и неизвестности прорвется в жизнь, в счастье, в славу, в богатство, кто в течение полувека устоит перед изменчивостью современных вкусов, кто в семьдесят лет сохранит жажду жизни и работоспособность юноши,— пусть тот и судит меня».

Он решительно снял трубку и вызвал жену.

— Извинись перед мадам Эллен, я не могу принять русских. Мне надо отобрать картины для ярмарки в Касабланке.

Это была правда, но картинами он собирался заняться вечером.

Ему сразу стало легче, но еще с чем-то он внутренне не рассчитался. А, этот молодой художник, написавший «Пустыню»! Одно полотно ничего не значит, случайные удачи бывают и у бездарностей. К тому же путь художника к большому успеху обычно долг и сложен, а у молодого марокканского государства есть более насущные заботы, чем нянчиться с подающими надежду юными дарованиями. И два миллиона франков, уплаченных новоиспеченному марокканскому гражданину Пьеру Аржантейлю — он вполне своевременно сменил подданство,— также охладят на время щедрость рабских меценатов...

Он снова снял трубку и вызвал караулку садового сторожа.

— Мухаммед, кто позволил вам пропустить бесплатно группу туристов? Мадам хозяйка распорядилась?.. Вы находитесь на службе у меня, а не у мадам. Если это еще раз повторится, я вычту из вашего жалованья...

## В ПАЛЬМОВОЙ РОЩЕ

Его ладони загубели, затвердели, обмозолились от мотыги; глядя по головкам детей, он не чувствовал своего прикосновения. Раскуривая трубку, он держал в ладонях уголек и не ощущал ожога. Но когда под его ладонями оказалась эта коричневая волосатая шкура, он так остро и трепетно ощутил ее шершавость, сухость, ее живую теплоту, словно с ладоней содрали кожу.

Он медленно отнял руки и поднял с земли мешок, набитый деньгами. Очень мелкими деньгами, там не было монеты достоинством больше одного дирхама. И все же этих маленьких монет достанет на сегодняшнюю покупку.

— Так сколько она дает? — проговорил он хрипло и потупил свои воспаленные глаза. В который раз задавал он этот вопрос, и ему было стыдно, что он опять спрашивает.

— Четыреста килограммов, — покорно ответил продавец и вздохнул.

Это был статный, полный человек в белой джеллабе, белой чалме и розовых бабушах. Его тяжелый, толстый подбородок покоился на груди. Богач, — в пальмовой роще, где шел торг, ему принадлежало около полусотни плодоносных деревьев, — он никогда бы не ввязался в эту утомительную историю, если бы деньги не понадобились так срочно. Сын до последнего дня скрывал от него, что женится, сейчас надо платить выкуп, а он всю наличность недавно пустил в оборот. Ему-то хорошо известно, что араб не купит самой малости, пока не вымогает из тебя душу.

Но и волнение старого крестьянина легко понять. Сколько лет копил он эти деньги! Сколько мешков с

песком для чистки медной посуды перетаскал он на марракешский базар, сколько ковров соткали его жена и дочери, сколько труда вложила вся семья в красноватую, скупую на благодарность землю, чтобы монетку за монеткой собрать эту сумму. Рис, лепешка и тминный чай в будни и праздники, рис, лепешка и тминный чай в тревожные ночи рамадана, когда истомленному дневным постом человеку кусок мяса, что в жажду глоток воды; рис, лепешка и тминный чай — ничего иного не знали и его дети, лишь только иссякало молоко в материнской груди. Но теперь пойдет иная жизнь: детям будет молоко, взрослым мясо. Продавец умилился. В эту минуту он не помнил, что взял с крестьянина хорошую цену, он чувствовал себя благодетелем.

— Четыреста килограммов в год дает она сейчас, — проговорил он растроганным голосом. — А подрастет, будет давать еще больше.

— Я, кажется, не спрашивал об этом! — огрызнулся крестьянин.

Продавец достал шелковый платок и вытер лицо. Солнце палило нещадно, а зеленые зонты высоких пальм почти не давали тени. И тут крестьянин, внезапно решившись, с такой силой ткнул в грудь продавцу мешок с монетами, что тот пошатнулся. Обхватив тяжельный мешок руками, продавец укоризненно посмотрел на крестьянина и пошел к своему мулу. Он хорошо разбирался в людях и знал, что не надо пересчитывать эти считанные-пересчитанные деньги.

Крестьянин нетерпеливо и злобно смотрел ему вслед, переминаясь босыми, в коросте, ногами. Продавец приторочил мешок к седлу, упал толстым животом на спину невысокого крепкого мула с черной, зеркально блестящей шерстью, закинул ноги на его круп, с трудом выпрямился и затрусил к шоссе, ведущему в город.

Как только он скрылся из виду, выражение лица крестьянина переменилось: оно стало нежным и детски радостным. Он снова обнял то теплое, шершавое, волосяное, что теперь безраздельно принадлежало ему, и с его тонких, сухих губ слетели слова, которые крестьяне всего мира обращают обычно к корове: «Кормилица!.. Поилица!..»

Он обнимал, гладил и целовал шерстистый ствол молодой финиковой пальмы.

После купания Хуан, Браим и я сидели на горячих каменных ступеньках маленького приморского ресторана и поджидали наших спутников, которые разбрелись по берегу. Кабины для раздевания, расположенные вдоль пляжа, скрывали от нас перспективу разрушенного землетрясением города, но все время чувствовалось, что он рядом, со своими белыми, пустыми внутри, как обобранные соты, домами, прямыми, чисто прибранными улицами, на которых умерла жизнь. Год назад землетрясение разрушило Агадир, город сметало целыми кварталами, многоэтажные дома исчезали в разверзшейся земле.

Сейчас в Агадире жила лишь узкая прибрежная полоска. Пляж был пустынен, и все же кое-где мелькали загорелые тела купальщиков, бродили наши туристы, разглядывая высокие, как скалы, намывы океанской грязи, три молодые женщины в ярких костюмах со смехом барахтались в воде, подростки гоняли футбольный мяч, на террасах кафе официанты разносили прохладительное питье, но большое безмолвие развалин подавляло робкий шум этой малой жизни.

Внезапно неуместная и все же радостная послышалась музыка: арабская мелодия в ритме джаза. По берегу в нашу сторону шел легкой, пританцовывающей походкой молодой марокканский солдат, держа в руке транзистор величиной с табакерку.

Если мягкие косточки марокканского малыша не скривятся за спиной матери в тесном прижиме походной колыбели, если его минуют черная оспа, туберкулез, трахома, если он не охромеет и не окривеет в опасную пору отрочества, то почти наверняка вырастет красавцем. Судьба сохранила этого юношу от напастей и болезней, по золотому песку шагал в такт музыке стройный смуглый бог. Его длинные ноги обладали той едва приметной кривизной, вернее, выгнутостью, которая придает походке особую упругую твердость, его талия была тонка, а плечи широки и чуть покаты. На смуглом узком лице с четко очерченным ртом влажно сверкали прекрасные оленьи глаза, но не робко-сторожкие, а смелые и доверчивые. Его сукопная форма цвета хаки казалась празднично-нарядной, так ладно облегалась она

его тело, лихо сидел берет на черных блестящих волосах. На рукаве у него были полосы, означающие, что он командует отделением.

Солдат держал путь к ресторану, и мы подвинулись, чтобы дать ему пройти, но он остановился в двух шагах от нас возле невысокого каменного сооружения, похожего на сундук. Он выключил приемник, достал из кармана белый носовой платок, постлал его на землю и, опустившись на колени, стал молиться. Каменная облупившаяся кладка оказалась очередной могилой марабу — святого.

У Хуана побелел его крючковатый нос. Близко принимая к сердцу судьбу народа, среди которого ему довелось жить, Хуан всегда с яростью обрушивался на религиозные предрассудки, особенно на культ марабу, цепко владеющий душами марокканцев. «Колопизаторам это было на руку, — говорил Хуан. — Зачем людям бороться, добиваться, когда все можно попросить у марабу, от счета в банке до виллы на берегу моря?»

Солдат, вначале молвившийся молча, увлекся и теперь вслух шептал слова своей молитвы.

— Чего он там бормочет? — раздраженно спросил Хуан Браима. — Просит у марабу реактивный самолет?

— Нет, благодарит за то, что его отделение было первым на учебных стрельбах... А сейчас... что-то насчет завтрашних маневров...

В оленьих глазах солдата не было смирения перед властью марабу: требовательная вера и некоторая, что ли, жесткость — мол, попробуй, не выполни!..

— Аллах с ним! — заключил Хуан. — Похоже, что этот парень больше полагается все-таки на себя.

В последний раз склонившись в поклоне и коснувшись губами песка у основания надгробья, солдат подобрал платок и встал с колен. Он бережно отряхнул платок, сложил и сунул в карман. Затем включил приемник и, даже не взглянув в нашу сторону, пошел прочь. От него ложилась на песок в сторону моря длинная стройная тень, которую то и дело слизывала набегающая на пляж волна. Уверенный в себе, сделавший все, чтобы не ударить в грязь лицом на предстоящих боевых учениях, шел юный защитник отечества, и не было над ним иной власти, кроме его сердца, неба да взводного командира.

Маленький приморский ресторан, носящий имя своего владельца Антуана, известен не только в Могadore, но и по всему Атлантическому побережью Марокко. Он расположен ближе к воде, чем пляжные кабины для раздевания. Прибой швыряет брызги в распахнутые окна, в ресторане крепко пахнет морем. Перед входом стоит искусно вырезанная из фанеры и раскрашенная масляными красками фигура очень толстого человека в поварском колпаке, в руке он держит блюдо с румяно поджаренной курицей.

На колпаке написано «Антуан», и каждому ясно, что это карикатурное изображение владельца ресторана. Впрочем, достаточно ступить под низкий уютный свод ресторана и увидеть его хозяина, чтобы убедиться, насколько жизнь щедрее и причудливее искусства. Живой Антуан кажется карикатурой на свою фанерную карикатуру. Там фигура его квадратна, на деле же — правильный куб.

Тучное тело Антуана твердо как железо, он легко несет его на прямых крепких ногах, закованных в кожаные краги. Его заголенные выше локтей, смуглые, волосатые руки округлы и мускулисты, и великолепна большая серебристо-голубая голова. Смуглое, чуть приплюснутое, с небольшим орлиным носом и глубокими светло-кариими глазами лицо Антуана полно ума, доброты и энергии.

Антуан знает, что его необычайная внешность способствует популярности ресторана, и охотно показывает в окошке кухни свою голову под белым поварским колпаком. Время от времени, оставив плиту на печение поварят, Антуан появляется в зале и обходит гостей. Тогда отовсюду слышится: «Антуан!.. Антуан!» — всем хочется пожать ему руку, выпить с ним рюмку вина, поболтать. Старожилы гордятся близостью с прославленным человеком, новичкам не терпится завести с ним знакомство. Антуан равно внимателен и к тем и к другим. «Ну, как жратва?» — спрашивает он с грубоватым добродушием. Он подсаживается за столик, шутит, смеется, отпускает дамам не лишние изящества комплименты. С его появлением воцаряется атмосфера дру-

жеского тепла, доверия, чего-то семейного, кажется, что мир стал добрее и проще.

Антуан не играет в доброго дядюшку, он на деле добрый человек. Неимущих посетителей он кормит в кредит и нередко ссужает деньгами «до лучших времен».

Новичкам Антуан обычно показывает свою юношескую фотографию: он снят на пляже, в плавках, невысокий, коренастый, ладно сбитый парень. Антуан не родился на свет шоколадной бомбой, вон каким орлом был в молодости Антуан, когда, еще не помышляя о славе, торговал устрицами в Танжерском порту!..

Я был наслышан об Антуане и по приезде в Могадор, сразу после осмотра старинной крепости «Скала» с бронзовыми пушками, зашел к нему выпить кофе.

— В Могадоре есть две достопримечательности: «Скала» и ресторан Антуана,— с гордой простотой говорил мне Антуан.— Крепость вы осмотрели, теперь вам остается поужинать у меня...

В тот же вечер вместе с моим новым приятелем, местным художником, я отправился к Антуану. Мы пришли в час заката, солнце опускалось в океан, вода у прибрежных рифов стала вишневой, а песок розовым.

Обращенный окнами к солнцу, ресторан тоже участвовал в закате: на светлых стенах перемещались огненные стрелы, бар полыхал многоцветьем бутылок, пятна солнца на скатертях были краснее пятен красного вина, а вокруг седой головы Антуана, подошедшего к нам, чтобы лично принять заказ, творилось нежное сияние.

— Здесь готовят по-домашнему,— сказал мне приятель,— всего одно-два блюда на день... Что вы нам предложите, Антуан?

— Сегодня у нас ростбиф,— Антуан цокнул языком,— а вино я подберу сам.

Антуан отошел, и внезапно все померкло вокруг: улетели со стен красные стрелы, погасли бутылки в баре, на скатертях остались лишь винные пятна, побурел песок за окном, тускло, оловянно обесцветилась вода,— солнце ушло за горизонт. И вот, как-будто из глубины, на воду стал наползать глухой сумрак. В ресторане зажгли свет и, казалось, тем же поворотом рубильника включили за окнами ночь: блеск первых звезд, свечение пенной каемки волн.

Официант поставил перед нами бутылку розового фезского вина, корзину с маленькими хлебцами, затем, словно священнодействуя, поднял серебряную крышку над жарким.

Мне попался тупой пож, тщетно пытался я отпилить хоть маленький кусочек ростбифа. Когда же я преуспел в этом, то понял, что дело в ростбифе, а не в поже. Я окликнул официанта, чтобы он переменял мне порцию.

— Вы обидите Антуана,— остановил меня художник.

— Но я не могу прожевать эту подметку!

— Вы думаете, другой ростбиф окажется лучше? — странным голосом, не вязавшимся с обыденностью предмета, сказал художник.

Я проследил за его насмешливо-грустным взглядом: через столик от нас официант убирал тарелки с почти нетронутым ростбифом...

А в ресторане искрилось вино в бокалах, золотились в вазах апельсины, звучали радостно-возбужденные голоса, шутки, смех. Посетители вели себя свободно, по-домашнему, но без неприятной развязности. Я видел головы, нежно приближенные одна к другой, видел нацеленные, бычьи лбы игроков в кости, видел головы, запрокинутые в смехе, поникшие в печали. Лишь одного я не увидел: склоненных над тарелками голов.

— Вот так,— тихо сказал художник,— знаменитый Антуан, славный Антуан, великий Антуан не умеет готовить! Не дал господь бог...

— Пусть наймет повара.

— А что останется ему? Смысл всей его жизни — самому кормить людей, обильно, вкусно, сытно, дешево...

— Ну, как жратва? — пророкотало над самым моим ухом.

Я поднял голову. Антуан улыбался, широко, белозубо, но в дрожащих уголках губ проглядывала другая улыбка, жалкая, неуверенная, а в больших красивых глазах угасала робкая, до униженности, надежда.

Я поспешно пригнулся к тарелке.

— Спасибо, Антуан, все в порядке.

Мы вышли из ресторана. При свете месяца розовое лицо фанерного Антуана казалось мертвенно-бледным, и зловеще застыла на нем улыбка черных губ. Чем-то

жутковатым и двусмысленным веяло от толстого призрака, выбежавшего навстречу океану с блюдом жареной курицы в руке.

## КОЗЫ

В ветвях арганских деревьев паслись козы. Издали казалось, будто деревья усыпаны галками, но, когда автобус подошел ближе, туристы убедились, что это козы, маленькие, квадратные, черные как сажа.

Вечнозеленые арганские деревья невысоки, у них раскидистые кроны и толстые, узловатые стволы. Роща арганских деревьев напоминает хороший яблоневый сад, деревья стоят на почтительном расстоянии одно от другого. Под ними голая, серая, потрескавшаяся от зноя земля, на которой не сыщешь и травинки.

Козы ловко карабкаются по кривоватым, наклоненным к земле стволам, цепляясь маленькими копытцами за извивы каменно-твердой коры, перескакивают с ветви на ветвь, затем, став на задние ножки, а передними опираясь в ствол, начинают пастись.

Они разгуливают по широко простершимся сучьям, выискивая, где зелень погуще, порой застывают на тонком окопчании сука, где едва уместаются их копытца, и, кажется, им нет пути назад. Но козы поворачиваются уверенно и ловко, как будто их копытца снабжены присосками, и спокойно, грациозно возвращаются к стволу.

Пасут стадо трое: дряхлый старик в халате из плотной, грубой, как мешковина, ткани, его шестилетний внук и желтая собачонка, похожая на шакала. Когда туристы с шумом и смехом, вскидывая на ходу аппараты, бросились снимать коз, собачонка перепугалась и, поджав тощий задик, с визгом пустилась наутек. Старик, мальчик и козы отнеслись к появлению незнакомцев куда спокойнее. Сидя на корточках в тощей тени арганского дерева, старик вырезал узор на палке острым ножом без черенка. Он вскинул на туристов слезящиеся глаза в красноватом обводе голых век и, дождавшись приветствия, чуть наклонил голову, обмотанную белой тряпкой. Малыш, прижавшись к деду, с любопытством вращал яркими белками; на его черной

бритой макушке вился кудерек, похожий на поросячий хвостик.

Козы вели себя по-разному. Страха в них не чувствовалось, но те, что были застигнуты в нижнем ярусе деревьев, неторопливо спускались по стволу и отходили прочь; те, что находились повыше, перескакивали на ближайший к земле сук, а с него прямо на землю. Козы, добравшиеся до крон, косили на пришельцев красноватым глазком, но продолжали кормиться.

Все же туристы так галдят, так хохочут, так угрожающе целят аппаратами, что в конце концов распуговируют всех коз. Ближайшие деревья пустеют, козы уходят в глубь рощи. С шумом и смехом возвращаются туристы в свой нарядный автобус и уезжают.

— Почему эти люди так смеялись? — спрашивает мальчик деда, когда автобус скрывается вдаль. — Они никогда не видели коз?

— Они видели коз, — тихо отвечает старик, — но никогда не видели, чтобы козы паслись на деревьях.

— Что же, их козы ничего не едят? — в голосе мальчика звучит обида, он не любит, когда над ним подшучивают.

— Они едят траву.

— Травой сыт не будешь, — все так же недовольно говорит мальчик.

— Там не такая трава, как у нас. Там трава густая, высокая, сочная. И козы пасутся прямо на земле. Мне кажется, — с сомнением говорит старик, — они даже не умеют лазать по деревьям.

Мальчик радостно смеется. Теперь он понял: дед просто рассказывает сказку. Он притуливается к теплому боку старика, — от ветхого халата остро и приятно пахнет козой, — закрывает глаза. Сквозь плетение ветвей солнце прожигает сомкнутые веки двумя огненными точками. Звонко стучат маленькие копытца по стволам и сучьям арганских деревьев, горячим прахом тянет от пересохшей земли. Хорошо лежать возле родного тела, в милом привычье родного края и слушать смешные или страшные небылицы.

— Ну же, дедушка!.. — понукает он старика.

Наше путешествие подходило к концу. Сегодня вечером мы будем в Касабланке, а завтра рано утром «Каравелла» за два часа перенесет нас в Париж, откуда прямой путь в Москву. Дорога, идущая берегом Атлантического океана, уже стала дорогой домой. Все же мы сделали еще одну остановку перед Касабланкой, в городке Мазаган, которому недавно было возвращено его исконное имя Эль-Джадида.

Автобус остановился на центральной городской площади у высокой каменной стены, за которой находились останки крепостных португальских сооружений, церкви святого Себастьяна и святого Антония и знаменитое водохранилище. Когда-то на месте водохранилища была кордегардия португальских солдат. После многомесячной осады города войсками султана все неверные были истреблены, а помещение кордегардии оказалось затопленным водой. Подземная казарма сама определила себе новую должность: стала городским резервуаром для хранения воды на случай осады. Вверху был люк, через который доставали воду. Минуло время битв и осад, город получил новое водоснабжение, и о резервуаре забыли. Недавно один купец пожаловался городским властям, что его лавку постоянно затопляет невесть откуда берущейся водой. Стали искать, наткнулись на подземное озеро, осушили и увидели то, что открылось и нашим глазам, когда мы спустились по ослизлым ступеням в глубокое подземелье.

В полутьме, озаряемой призрачным, льющимся откуда-то сверху светом, вздымался лес великолепных стройных колонн, поддерживающих тронутые прозеленью каменные своды. Базисы колонн купались в тонкой воде, просачивающейся в подземелье из почвы, но стволы были прямы, белы и благородны, исполнены силы и изящества, им надлежало бы украшать собор, а не солдатскую караулку. Не знаю лишь, довелось ли первооткрывателям видеть длинного толстого угря, выписывающего зигзаги меж подводных оснований колонн...

Когда мы вышли наружу, наши туристы с той ненасытной жаждой впечатлений, которая всегда отличает русских, захотели осмотреть крепостные развалины и церковь святого Себастьяна. Я не пошел с ними и вер-

нулся на площадь к автобусу. Как-то вдруг, на исходе поездки, я открыл, что простой шум и движение сегодняшней жизни мне куда милее окаменелого шума истории. И в водохранилище, если говорить начистоту, не его романтическая история и даже не прекрасные колонны привлекли меня, а живое, верткое тело угля...

Вечерело, в лучах закатного солнца подрумянились серые стволы эвкалиптов в сквере посреди площади. Вдоль ограды сквера понуро стояли благородные костлявые арабские росинанты, впряженные в громоздкие, дряхлые пролетки, с фонарем по одну сторону козел, с кнутом по другую, истертыми ковриками на сиденье, с тяжко нависшей над задком громадиной зачехленного брезента. Возницы или дремали, сидя на козлах и свесив между колен головы в красных фесках, или курили с отсутствующим видом; казалось, их никто никогда не нанимал. Справа от меня, у стены, сидели на корточках три старые женщины и судачили, как наши кумушки на завалинке.

Мальчишка-чистильщик хватал за ноги всех проходящих мимо европейцев, и порой ему удавалось пленить чью-нибудь ногу. Тогда, ловко перекидывая щетку на заднике ботинка из руки в руку, он наводил ослепительный и нестойкий глянец. Это секрет арабских чистильщиков — создавать такое вот зеркало, мутнеющее через пять минут. Если б их глянец обладал еще и стойкостью, они бы умерли с голоду.

Набрав достаточное количество мелких монет, мальчишка подошел к продавцу сладостей и купил нечто ядовито-красное, липкое, на палочке, напоминающее нашего леденцового петуха.

Мчались к морю, сверкая спицами, велосипедисты; встретились у крепостных ворот парень и девушка и побрели куда-то, взявшись за руки; женщина таскала за вихор провинившегося сына; у газетного киоска старик, только что купивший газету, никак не мог справиться с большими листами, ловившими ветер, словно паруса; и судачили у стены, перемывая косточки ближним, старые кумушки.

Прежде все мои впечатления нагнетали чувство разительной несхожести здешнего мира с привычным мне жизненным укладом. А сейчас ни белые халаты, ни фески и тюрбаны, ни зачадренные лица женщин, ни шоко-

ладная смуглота мужских лиц не могли лишить меня ощущения, что я нахожусь в вечеряющем Бердянке.

И тут словно взорвался уют моих тихих мыслей — я увидел лица кумушек. Лишь на одной из них была чадра, а над чадрой краснели и слезились изглоданные трахомой подслепые глаза. Две другие, подобно большинству арабских старух, лишь прикрывали из приличия подбородки краем джеллабы. У одной лицо напоминало терку — оспа съела губы, ноздри, выпила глаз; у другой была львиная морда — последняя степень проказы. Несчастные женщины, словно по уговору, являли собой тройственный союз самых страшных болезней, которые за полстолетия иноземного владычества обрели полную волю в Марокко, стране красивых, сильных, статных людей...

*1961 г.*

## ЛУКСОРСКИЙ ИЗВОЗЧИК

В Луксор, город, возникший на развалинах Фив, древней столицы Египта, мы приехали рано утром. Небольшая привокзальная площадь была запружена извозчиками. Старомодные пролетки полыхали черным растрескавшимся лаком, сверкали начищенным стеклом фонарей, пестрели ковровой обшивкой широких сидений; эти нищенски-роскошные, кособокие, осевшие на слабые рессоры, расшатанные в каждом сочленении пролетки нежно напомнили мне Москву двадцатых годов, детство, редкое счастье прогулки «на извозчике».

В экипажи впряжены костлявые величественные розинанты. Не кони, а разномастные силуэты коней, в лоб они почти незримы, как острие ножа. Нарядная, изобильная, обветшалая сбруя с почерневшей серебряной чеканкой покорно следовала всем голодным впадинам и костлявым буграм тощих тел. Глаза рысаков зашторены большими кожаными шорами, к нижней челюсти подвешена бородка на манер фараоновой из светлого длинного волоса.

Над тишиной, недвижностью коней и будто вросших в землю экипажей неистовствовали возницы в заношенных халатах и белых грязноватых чалмах. Вертясь на высоких козлах, они истошно орала в нашу честь: «Асуан!.. Асуан!..», прославляли своих рысаков, свои экипажи, свое умение, бранились, размахивали кнутами и на все лады выражали нетерпение и готовность мчать нас на край света.

Их одержимость была бескорыстной: для доставки нас в гостиницу туристская фирма заранее наняла всех местных извозчиков, уплатив им вперед и проездные и бакшиш.

Нам щедро полагался выезд на двоих, и мы — я и

одна из наших туристок — с комфортом уселись в лакированный, горячий, как само египетское солнце, пахнущий кожей, ковром и пылью допотопный экипаж. Возница повернул к нам маленькое кривое лицо и, глядя какой-то воспаленной краснотой из-под небрежно намотанной чалмушки, хрипло гаркнул «welcome» и схватился за вожжи.

Рядом с ним на козлах сидел мальчишка в коротких драных штанах, с такой черной, зеркально раскаленной головой, что, казалось, от нее вот-вот потянет дымком. Возница был слишком молод, чтобы этот большой мальчик мог быть его сыном.

— Брат? — спросил я по-английски.

— Брат!.. Брат!.. — закричал, засмеялся возница.

И некоторые другие возницы выехали на промысел в сопровождении таких же юных спутников.

Из крепкого запаха конского навоза, плотно набившего площадь, мы вскоре попали в благоухание черного кофе. По обеим сторонам узкой улочки тянулись крошечные кафе. Удобно расположившись в плетеных креслах или балансируя на шатких стульчиках, мужчины пили свой утренний кофе: крепчайший, чернейший, ароматнейший, запивая его ледяной водой из высоких запотелых стаканов.

Мы отражались в стеклах витрин, в зеркалах парикмахерских, в окнах домов. Наш выезд был длинен, как удав, не нашлось отражающей поверхности, способной вместить нас целиком. Выходило, к примеру, так: пролетка катила по витрине кафе, лишь чудом не давя красными колесами выставленную там фарфоровую хрупь, возница же парил среди нарядных серебристых манекенов магазина готового платья, а лошадь кивала худой головой в стеклянной двери табачной лавочки.

А потом мы очутились на обсаженной пальмами и кустами набережной. Слева открылся Нил, тускло-желтый, непрозрачный, будто взболтанный, и все равно прекрасный своей ширью, полнотой, всей благостью несомого плодородия. Среди кустов мелькали иссиня-черные удоды с массивными оранжевыми клювами, и странно было, что они не опрокидываются в перевес своих гигантских носов.

Мимо пронеслись трехколесные грузовички, реже легковые автомобили. Мы обгоняли чинно бредущих

вдоль тротуара коров нежно-лимонной расцветки, с непропорционально маленькими, изящными головами. А вот буйволы, грязно-серые, голые, лишь с груди свисают пучки черных длинных жестких волос, неизменно шествовали по осевой, оттесняя нас к краю улицы.

Привычный и ко всему равнодушный возница небрежно держал вожжи в левой руке, порой вовсе позволял им скользнуть в растянутый между худых колен подол халата, и тогда мальчик подхватывал вожжи, крепко забирал их в тонкие, усеянные пытками руки и правил с довольным и серьезным видом. Возница оглядывался, подмигивая нам щекой, его воспаленные глаза все скрылись под сползшей на нос белой тряпкой, и весело-насмешливо скалил зубы. Повторялось это довольно часто, и я подумал, что игра с вожжами затеяна неспроста: возница обучал меньшого братишку своему ремеслу. Чтобы предупредить недовольство седоков, обучение было тщательно замаскировано. Возница делал вид, будто дразнит мальчишку, выпуская на миг вожжи. Стоило тому войти во вкус, как возница грубо забирал у него ременные гужи да еще награждал хриплым ругательством.

Ловко все это делалось! Когда мы ехали по прямой и дорога была свободна, мальчишка безучастно глазел по сторонам, расчесывая болячку на худой шоколадной ноге, переругивался с уличными ребятишками, показывал им язык. Но как только требовалось рабочее усилие: при повороте, обгоне или остановке по знаку регулировщика, мальчишка будто невзначай завладевал вожжами. Возница обнаруживал его самоуправство не раньше, чем необходимый маневр был выполнен. Лишь тогда он разражался бранью и смехом, а раз-другой в порыве показного гнева награждал подзатыльником черную головушку.

Порой же, чтобы отвлечь наше внимание от малолетнего практиканта, возница начинал остервенело палить кнутом. Он привставал с козел и, падая вперед, с громким щелком хлестал лошадь между ушей, затем отваливался назад и вытягивал ее по костлявому крупу. Бедный росинант высоко подпрыгивал в своих тонких, красиво изогнутых оглоблях, закидывал узкую щучью голову с фараонской бородкой, но скорости почему-то не прибавлял. Завороженная близостью Нила, моя спутница поначалу не обращала внимания на жестокие уп-

ражнения возницы. Затем, привыкнув к большой мутной воде, в которой безответно тонули солнечные лучи, очнулась от забытья и со слезами крикнула по-русски:

— Не бейте лошадку!.. Ей больно!..

Возница уловил интонацию, он обернулся к нам и прохрипел с укоризной:

— I know horses, madame,— и после короткой паузы, подчеркнувшей упрек, продолжал на ужаснейшем английском языке: — Да, я знаю лошадей, я люблю лошадей, я умею с ними обращаться!..

И в подтверждение своих слов он повернулся на козлах, чуть склонил голову к правому плечу, будто к чему-то прислушиваясь, и вдруг, не глядя, ожег плетью по морде нагонявшую нас лошадь другого извозчика. Лошадь мотнула головой, скорее весело, задиристо, чем страдальчески, и мы поняли, что сильный и ловкий удар целил мимо ее морды. И своей лошади он не касался плеткой, лишь звуком щелчка. Да, он любил лошадей и умел с ними обращаться!

Но вся необычность его умения, все печальное своеобразие его промысла открылись мне несколько позже, когда впереди забелели стены отеля.

Я сказал себе, что непременно напишу об этом луксорском извозчике, о его любви к лошадям, о его бедном, худом, будто вылущенном лице с большими глазами, о той доброй и жалкой игре, какую он принужден вести, чтобы обучить младшего братишку своему делу. Быть может, оттого и стал я зорче, пристальней, и все случайные, разрозненные впечатления осветились для меня другим, резким светом. Я как бы наново увидел наш путь от вокзала к гостинице, беззаботную рассеянность мальчонки на пустынных отрезках улиц и ту железную обязательность, превосходящую любое прилежание, с какой вожжи оказывались в маленьких руках при обгоне, объезде, повороте, остановке. Я вспомнил странный, не к собеседнику, а куда-то вкось поворот головы возницы, когда он говорил с нами, вспомнил, как он ухом нашел скакавшую рядом лошадь, чтобы показать свой фокус с хлыстом, и как на вокзальной площади мелькнули из-под грязноватой чалмы красные обводья пораженных трахомой глаз.

— Вы совсем не видите? — спросил я возницу.

Он ссутулился, сторбился, став похожим на исхуда-

лого, больного орла, и долго не отвечал. Затем сказал тихим, вдруг очистившимся от хрипоты голосом:

— Я знаю лошадей.. Я слышу лошадей.. Разве я задевал их кнутом?..

— Нет.. Но правит лошадю ваш братишка?

— Мы не братья.. У него нет разрешения на езду, он слишком мал, да и кто наймет мальчишку?

— Значит, все эти мальчишки на козлах?..

— Глаза слепых извозчиков,— просто сказал он.

*1962 г.*

## АХМАД НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ

Он стоял в дверях отеля «Скарабей», огромный, на голову выше всей уличной толпы, в темном, с металлическим отливом халате и белой чалме; его огромное брюхо торчало как-то вбок от стержня могучего тела и, существуя наособь, не лишало его статности, даже стройности; большое в черноту коричневое лицо, кареглазое, круглолобое, щекастое и седоусое, было значительным, как у вождя, мятежным, как у беглого монаха, добрым, как у эльфа. Шалапинским басом он воскликнул по-английски:

— Добро пожаловать в «Скарабей»!.. Меня зовут Ахмад!..

Он был агентом туристской фирмы и переводчиком, гидом и владельцем магазина сувениров, и бог весть кем он еще не был...

На выходе из пассажа неподалеку от нас какой-то поджарый человек, взгромоздившись на стул и ритмично изгибаясь узким, тонким телом, плотно упакованным в модно-тесный костюм из дакрона, пронзительно и вместе мелодично выпевал что-то среднее между мусульманской молитвой и причетом балаганного зазывалы. Свои долгие возгласы он повторял через равные промежутки времени, и они перекрывали густой уличный шум: рев моторов, шорох шин, лязг тормозов, лай гудков, вопли бакшишников и бормотание снующих возле гостиницы продавцов ярких тряпок, каменных фигурок, темных очков и порнографических открыток. Уличная толпа оставалась странно равнодушной к этим волнующим зазывным крикам. Прохожие голов не поворачивали в сторону худощавого крикуна, зазывавшего, как выяснилось, жителей славного города Каира на дешвейшую распродажу трикотажных изделий.

Живой громкоговоритель привлек лишь наше внимание. И, заметив это, он заулыбался, задвигался на своем стуле еще ритмичней, с изяществом уже не мужским — арабской танцовщицы, извлек из внутреннего кармана пиджака пустую бутылку, чуть больше нашей четвертинки, и опустил туда карандаш.

Крепко держа бутылку перед своим лицом, двигая головой на неподвижной шее вправо и влево, слегка пританцовывая, как переминаясь, поигрывая белками, что-то приговаривая, он заставил карандаш вылезти торчком из горлышка бутылки. Словно это был не карандаш, а околдованная им змейка. Вот они чудеса Востока!.. Дружными аплодисментами приветствовали мы заклинателя карандаша. Большое доброе лицо Ахмада страдальчески скривилось.

— Nonsense! — крикнул он. — Чепуха!.. Это может каждый!.. Фу, фу!.. Какая чушь!.. Нашел чем поражать туристов!.. Вот когда я был факпром...

Ахмад не договорил. Восторжествовав не только над городским шумом, но и над криками трикотажного зазывалы, вернувшегося к своему прямому делу, по ущелью улицы прокатился странный мелодичный вопль и внезапно стих, словно едва родившуюся песню задушили в горле.

К отелю приблизился, опираясь на длинный посох, высоченный, выше Ахмада, старик в грязной белой одежде, окруженный мальчишками и взрослыми зеваками. Он утвердил свою величественную и жалкую фигуру против нас, закинул голову и вновь издал тот же удивительный по чистоте, силе и мелодичности долгий звук. Казалось, вот-вот — и звук распахнетя арией, божественной музыкой сфер, но старик опять, столь же внезапно, смолк. Видимо, этому уличному певцу надо было дать денег, чтобы он запел по-настоящему, но мы еще не успели получить египетские фунты и пиастры.

— Подумаешь, певец!.. — пренебрежительно сказал Ахмад, догадавшийся о нашем замешательстве. — Он ничего больше не может... Шарлатан!.. Ты уходи, уходи отсюда!.. Нечего шуметь!.. Пошел, пошел!.. — Что-то несвободное, натужное было сейчас в повадке Ахмада, похоже, он гнал старика не только из желания дать нам покой.

А старик стал по стойке «смирно», сдвинув пятки и широко разведя носки сношенных бабуш, закатил глаза, превратив их в две белые щелки, и принялся делать посохом ружейные приемы «на плечо» и «к ноге».

Зеваки покатались со смеху. Ахмад притуманился. Разломив толпу, облепившую городского сумасшедшего, он сунул ему в ладонь какую-то мелочь и велел убираться подобру-поздорову.

Старик опустил посох и с покорным достоинством повлекся прочь, затем издалека донеслась знакомая долгая тоскующая нота.

На другой день мы посетили одну из старинных и красивейших каирских мечетей. Ахмад был с нами в качестве второго гида. Едва мы ступили под своды мечети, как Ахмад поторопился сообщить, что здание обладает необыкновенным резонансом. В доказательство, подняв лицо к светлому куполу, он издал глубокий басовый рык. Как из клетки со львами, отозвалось из голубого сияния купола. Ахмад набрал воздуха и дал полную волю своему необъятному шалашинскому голосу. Заплясали пылинки в солнечных лучах, наискось пронзающих храм, очнулись от молитвенного забытья, испуганно захлопали глазами немногочисленные молящиеся, замерли посреди мечети две седые розовые американки, наши соседки по отелю. А Ахмад, ничуть не смущаясь, продолжал демонстрировать небывалые резонирующие свойства храма.

Теперь я понял, почему он так странно и напряженно держался вчера, когда мы внимали воплям безумного старика. Не мог же Ахмад среди бела дня, на людной улице, да еще при исполнении высоких административных обязанностей доказать нам, что является обладателем куда более глубокого, красивого и сокрушительного голоса! И сейчас Ахмад, ликуя, брал реванш...

Позже, когда мы стали ездить по туристским маршрутам и Ахмад сопровождал нас, большей частью добровольно, а не по долгу службы, выяснилось, что нет в Египте такого ремесла, такого занятия, которому он не отдал бы дани.

...Окрестности Каира. По узкому мутному каналу, тянущемся параллельно Нилу, идут с бреднем два голозадых рыбака. Черные крпвые шесты, к которым привязана сеть, то погружаются в воду, то высоко и безо-

бразно вскидываются над водой, и тогда видны залепленные илом и слизью ячеи лохмато порванной сети.

— Сколько рыбы выловил я на своем веку такой же вот старой сетью! — вздохнув, говорит Ахмад, с нежностью глядя на бедных рыбаков...

...Сбор фиников. Обвязавшись веревкой по талии и запетлив другой конец на буграстом стволе пальмы, сборщик с обезьяньей ловкостью карабкается на верхушку высокого дерева, под самую листву. Слегка откинувшись, — веревка натянулась струной, — сборщик обтрясает темно-розовые веники в огромную плоскую соломенную корзину, похожую снизу на медное блюдо. Несколько красноватых, в лиловость, плодов промахивают мимо корзины и дробно обстукивают землю. Ахмад подбирает финики и протягивает нам. Вонзаем зубы в сахаринную, приторную мякоть. Свежие финики ни цветом, ни вкусом не похожи на те, что продаются у нас, и успеха не имеют, но всех восхищает ловкость сборщика. Ахмад глядит на нас с сожалением и укором.

— В мое время обходились без веревки, — замечает он. — Избаловался народ...

— Без веревки?.. — с сомнением повторил кто-то.

Ахмад вздыхает могуче, полно, мягко, как океан, сбрасывает замшевые туфли и снимает носки. Он обхватывает руками ствол, ставит узкую шафранную ступню на выпуклость коры и отымает тело от земли. Мы дружно хлопаем в ладоши, чтобы скорее прекратить это испытание, равно губительное и для старого организма Ахмада, и для ствола молодой пальмы. Но, перебирая руками, он и в самом деле начинает подниматься вверх, как по шведской стенке. Пот прозрачными каплями стекает с его чела вниз, к подножию пальмы.

На высоте трех с лишним метров Ахмад наконец-то соглашается внять нашим мольбам, он соскальзывает вниз, потный, задыхающийся, счастливый...

Это научило нас доверию и осмотрительности. Вскоре мы набрали на речку, где голый шоколадный юноша купал шоколадного коня. Чуть откинувшись на красиво прогнутой спине великолепного скакуна, юноша поворачивал его к глубине. Мы залюбовались: всадник и конь казались выточенными из одного куска; они были едины не только в цвете, влажном блеске, но и в напряжении мускулов, в кентавровой цельности движения.

— Лучшая пора моей жизни — когда я объезжал ко-ней,— мечтательно произнес Ахмад и поглядел на нас.

Наши лица выражали доверчивую беспечность. Но, видимо, молчание показалось Ахмаду подозрительным.

— Что-о-о?! — проговорил он опасным голосом и скинул туфли с ног.

— Не надо, Ахмад!.. Мы верим, Ахмад!.. Мы зна-ем — вы лучший всадник Египта!..

...Железнодорожный путь в Луксор идет плодород-ной нильской долиной, изрезанной каналами и каналъ-цами. Куда ни глянешь, повсюду зеркальными плитами блещет на полях вода, а смешившаяся в грязь земля сверкает драгоценно, будто ее повили серебряной кани-телью. По колени в этой благословенной грязи возятся крестьяне. Ковыряют землю мотыгой, прокладывают желобки для водяных струй. На них нет никакой одеж-ды, кроме коротких штанов, их костяк четок и зрим, как на рентгеновском снимке.

Ахмад рассуждает, стоя у окошка в узком коридор-чике спального вагона:

— Почему люди, растящие то, что питает человече-ское тело,— пшеницу, кукурузу, рис и сорго,— сами почти лишены плоти? Почему люди, растящие хлопок, из которого делают одежду, почти голы? Сейчас трудно поверить, но, когда я был феллахом, мне приходилось в непогоду взваливать жернов на худые плечи, чтобы меня не унесло ветром. Моя одежда была дырява, как решето, и женщины при встрече со мной отводили гла-за. Египет велик, но почти вся его родящая земля нит-кой вытянулась вдоль Нила. И все же при короле Фа-руке миллионы федданов этой земли лежали невозде-ланными. Сейчас обрабатывается вся пригодная земля, но ее мало, ее дьявольски мало! И «Асуан» звучит сей-час как «надежда», «будущее», «жизнь» в одном слове. Мне хочется забыть чужой язык, на котором я так легко и свободно выражаю свои мысли, и овладеть языком строителей Асуанской плотины.— Выкатив карие с жел-товатыми белками глаза, Ахмад радостно грохочет: — Здравствуй!.. Пожалуйста!.. Спасибо!.. Спутник!.. Гага-рин!.. Пароход!.. Москва!.. Ваше здоровье!.. Доброй пот-ши!.. На посошок!..

...Поезд медленно двигался по ремонтируемому уча-стку пути. Какой-то пассажир протянул в окошко мя-

тую пачку «Честерфилда» с двумя-тремя сигаретами пожилому укладчику шпал.

— Что он делает? — вскричал Ахмад и с ужасом сжал голову руками.

Я едва успел удивиться этой трагической вспышке, порожденной столь малым поводом, как возле вагона с молниеносной быстротой разыгралась дикая и страшная сцена. Коршунами кинулись на получившего подачку его худые, голодноглазые товарищи. Десяток рук рванулся к мятой пачке. Защищая свое жалкое добро, пожилой рабочий выскользнул из клубка тощих тел, метнулся прочь и через подставленную кем-то ногу полетел прямо на полотно. Замер пронзительный крик. В последний миг человек выскочил из-под колес, оставив на рельсах полу драного халата. Он отбежал в сторону, поглядел в жерлецо пачки и детски-радостно улыбнулся: что-то там уцелело...

— Беден, беден мой народ, — с тихой печалью сказал Ахмад. — Но эти, — кивок за окно, — беднее бедного, беднее рыбаков, беднее феллахов... Видите, ему и горя мало, что едва не отправился на тот свет, главное — сигареты сохранил... И все-таки, — убежденно произнес Ахмад, — им лучше, чем было когда-то нам. Они как-никак работают на Египет, а на кого работал я, когда строил автостраду близ Порт-Саида?.. — Он усмехнулся во все лицо. — Вышло так, что тоже на Египет, но мои тогдашние работодатели в этом нисколько не повинны...

..Из Луксора наш путь лежал в знаменитую Долину царей, где находятся усыпальницы фараонов. Предстояла увлекательная переправа через Нил на паруснике, но фирма почему-то вдруг заменила парусную яхту катером — большой старой галошей. Хорошо, хоть Нил нельзя было заменить, и он добрых сорок минут плескался за бортом катера, мутный, желтый, дурно пахнущий, тревожный, волнующий, полный тайн. Каждую корягу мы с веселым содроганием принимали за крокодила, пока Ахмад не пояснил, что крокодилы сейчас водятся только под Асуаном.

Едва мы сошли на другой берег, как возле сходней печально заскрипел колодезный пест. Оборванная, грязная девчонка с янтарными глазами, светло и чисто свер-

кающими на чумазом лице, перебирая руками лохматый канат, погружала бадейку в круглую дыру колодца. Дружно взлетели фотоаппараты. Когда щелкнул последний затвор, девчонка отпустила канат и с криком «Бакшиш!» кинулась к туристам. Освобожденный колодезный шест стал торчмя, на конце каната покачивалась пустая бадейка. Облепленное глиной устье колодца не вело к воде, маленькая труженица опускала бадью в неглубокую пыльную ямку. Это был ее способ выманить бакшиш у туристов. Мы все очень смеялись, но Ахмад был безутешен. Так мерзко обмануть строителей Асуана! Вздымая руки к небу, Ахмад обрушил на черно-пыльную голову девчонки каскад каких-то древних проклятий, принятых той на удивление равнодушно.

— Я сказал этой чертовке, что она — позор Египта, — отдуваясь, сообщил нам Ахмад, потом доверительно добавил: — Но вообще бизнес не так уж плох, у девчонки есть смекалка...

На раскаленной площади, где скелетно-тощая буйволица и высокомерный, будто молю траченный верблюд презрительно глядели на пьяных от жары желтых собачонок с выпавшими до корня грязно-розовыми языками, нас поджидали два древних автобуса под брезентом и предтеча современного автомобиля — тильбюри с мотором. Я думал, буйволица и верблюд призваны страховать этот сомнительный транспорт, но они оказались праздными зеваками, и мы, поручив себя богу удачи, двинулись в полыхающие жаром песчаные просторы.

Ахмад не сопутствовал нам. Он встретил друга по былым скитаниям и скрылся с ним под драный полосатый тент кофейни...

Дышать можно было только в гробницах, упрятанных глубоко под землей. Снаружи ошалело палило солнце. Тяжкий жар подымался от светлой песчаной почвы, от растрескавшихся голых склонов холмов, от нестерпимо белых стен строящегося отеля и уже построенного ресторана. Кока-кола стояла здесь в десять раз дороже, чем в Луксоре, но все равно это было дешево. Солнце пронизало предметы и телá, ничто и никто не отбрасывал тут тени. Вот бы где нашел отдохновенне затравленный Петер Шлемиль, несчастный отщепенец, продавший свою тень нечистому, вот где он стал бы как все.

Долиной царей называлось это богом проклятое место. Само слово «долина» навеваает мысль о прохладе, о влажности, о кущах деревьев, склонившихся над ручьем, о серебряной росе, о туманах, стелющихся долу, но эта краевина взгорья копила лишь жар, сушь, пыль. Если бы тут и прошел дождь, он был бы кипятком.

Но у подножий длинных, крутых лестниц, уводивших в глубь земли, к гробницам, тело охватывала прохлада, а с приближением к погребальным покоем — блаженная стужа. Нам повезло с гидом: Абдулла был веле-речив и обстоятелен, во время каждой пояснительной речи он выкуривал не меньше пяти-шести сигарет, а мы всеми порами жадно впитывали прохладу.

Особенно утешил нас Абдулла в гробнице царя-ребенка Тутанхамона. Трудно было поверить, что сокровища, предметы домашней утвари, гробы и колесницы, наполняющие ныне целый музей, помещались в комнатах этой сравнительно с другими крохотной гробницы. По странной судьбе Тутанхамона, в одиннадцать лет ставшего мужем дочери прекрасной Нефертити, в двенадцать возведенного на престол сцеплением случайностей, а в восемнадцать сторевшего от туберкулеза, в Долине царей лишь его гробница не была разграблена еще в глухой древности.

Абдулла попросил нас сосредоточиться.

— Я покажу вам, как была открыта гробница Тутанхамона,— сказал он, бросив окурки на пол и затоптав его ногой.— Ведь это я сопровождал мистера Картера в тот памятный день...

И, сделав столь поразительное сообщение, Абдулла скрылся в лестничном проеме. Мы ждали какого-то эффекта, но он появился все такой же обыденный, не-праздничный, отягощенный повседневностью, со своим серым морщинистым личиком, редкой бородкой и, лениво-театрально воздев руки ввысь, заговорил громко, на слезе:

— Мистер Картер, это великолепно!.. Мистер Картер, это удивительно!.. Мистер Картер, это восхитительно!.. Вы чувствуете,— это относилось уже к нам,— степень моего удивления? Мистер Картер, это поистине чудо!..

Видимо, Абдулла за свою полустолетнюю деятельность гида настолько часто изображал волнуемый миг

встречи с сокровищами, что порастерял первоначальную живость интонации, однако это не уменьшило нашего восхищения человеком, открывшим сокровища Тутанхамона.

Когда мы выбрались наружу, я побежал к ресторану освежиться кока-колой, близкой по цене сокровищам разграбленных гробниц. Перелив в себя прямо из горлышка драгоценный напиток, я обнаружил, что моя группа скрылась в очередном подzemелье. Я кинулся к ближайшей дыре, сбежал по лестнице и понял, что по ошибке попал в гробницу Тутанхамона, где уже находилась другая наша группа. Но каково же было мое удивление, когда дряхлый, высохший, как мумия, гид Юсуф с непостижимым нахальством присваивал себе открытие Абдуллы.

— О мистер Картер!.. — говорил деревянным голосом бесстыжий старик, вяло подымая руки до уровня плеч. — Это великолепно!.. Это удивительно!.. Это необыкновенно!..

Потом выяснилось, что третья группа наших туристов считает первооткрывателем сокровищ Тутанхамона своего гида, Фаюми, толстенького, кругленького, с птичьим голосом.

— Ну право же! — убеждали они нас с раздражающим упорством. — Фаюми показывал нам, как это было. Он вошел в сокровищницу и, подняв руки, стал звать мистера Картера. «Это прекрасно! — кричал он. — Это изумительно! Я никогда не видел ничего подобного!»

Спор продолжался и на катере, каждая группа отстаивала приоритет своего гида.

— Напрасно спорите! — раздался громкий голос Ахмада. — Абдулла, Фаюми и Юсуф просто шарлатаны. Гробницу Тутанхамона открыл я!

— Вы?!

— Ну да. Я же был проводником у мистера Картера.

Ахмад вынул пачку сигарет, но она оказалась пустой. Он смял ее и кинул за борт. Я протянул Ахмаду «Казбек». Он взял папиросу, сунул табачным концом в рот и попытался прикурить от зажигалки. Наконец картонный мундштучок несмело загорелся, пустив едкий чад. Ахмад закашлялся и стал давить огонек пальцами.

— Никак не привыкну к русским сигаретам,— сказал он в оправдание.— Спиртное — другой разговор. Кстати, как называется тот светлый, прозрачный напиток, которым вы меня утром угощали?

— Водка.

— Нет, нет!.. На этикетке нарисованы дома...

— «Столичная»...

— Да! Это невозможно выговорить, но вкусно. Говорят, крепкая, а я ничего не почувствовал...— Ахмад отшвырнул испорченную папиросу и поднялся во весь огромный рост; брюхо косо выпячивалось под серым халатом. Он закрыл глаза, поднял лицо кверху и растопырил руки:

— Так вышел я из гробницы...

Он снова сел и зажал ладонями свои бедные глаза, ослепленные неистовым блеском сокровищ.

— Мистер Картер был смертельно напуган...— Голосом высоким, тонким, почти женским Ахмад закричал: — Ахмад!.. Ахмад!.. Что с вами, Ахмад?.. Мне страшно!..

Двигая толстыми пальцами, Ахмад воспроизвел суебливый перепляс мистера Картера вокруг себя. Мы уже не отводили стыдливо глаз, зачарованные новым проявлением неисчерпаемой природы нашего спутника. Ахмад перевернул всю историю вверх тормашками, он не пытался показать свой восторг при виде песметных сокровищ, как делали другие гиды. Это непосильная задача, к тому же чрезмерное удивление всегда несколько глуповато.

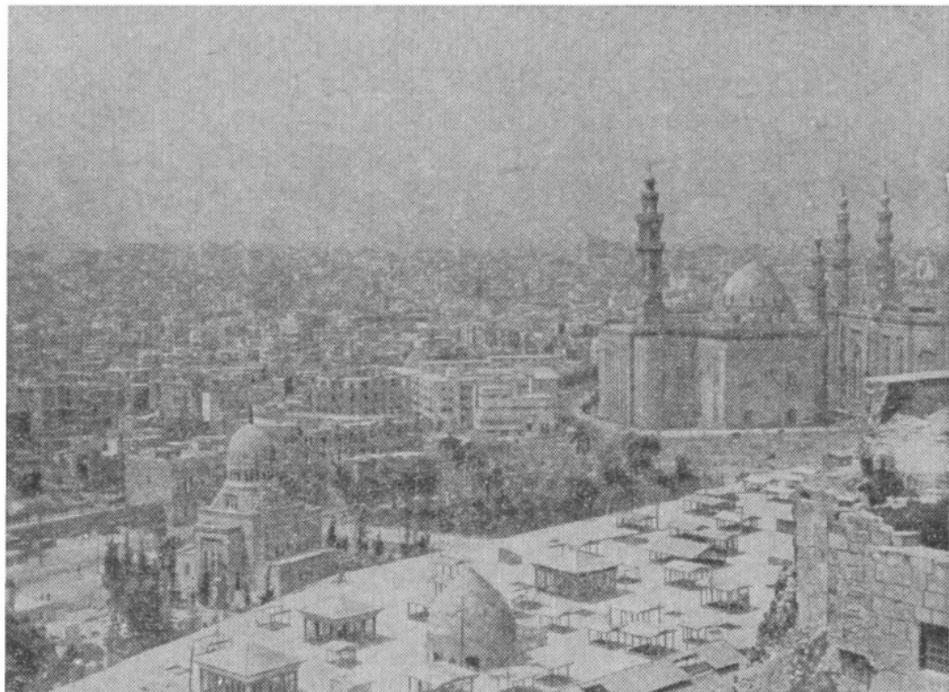
— Ахмад, не мучайте меня,— продолжал мельтешиться мистер Картер.— Скажите хоть слово!.. Неужто ваши глаза узрели чудо и свет дня навеки померк в них?..

И тут, словно из могильной глубины, из самого саркофага мальчика-фараона, долетел низкий и вместе легкий, как вздох, неповторимой интонации голос:

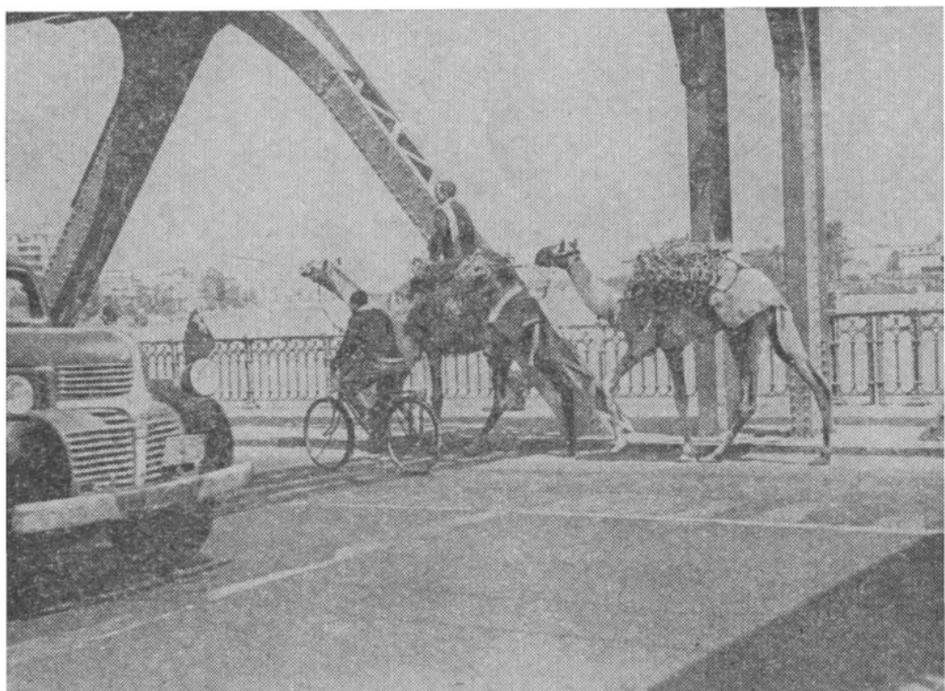
— О мистер Картер!..

Ахмад отнял руки от лица, секунду-другую молча глядел на нас и договорил уже сухо, по-деловому, словно для протокола:

— Он упал в обморок, и я с трудом привел его в чувство. Холодные компрессы на сердце поглотили весь наш запас питьевой воды...



Панорама Каира



Из пустыни в столицу

После этой подробности уже нельзя было сомневаться, что гробницу Тутанхамона открыл Ахмад.

...Мы снова в Каире. Не за горами отъезд, и нас заботит, как с наибольшей пользой потратить оставшиеся фунты и пиастры. Перед обедом мы растерянно мечемся по центральным улицам от витрины к витрине.

— Быть может, вы посетите мой магазин? — раздаётся знакомый, но умягченный, словно из промасленной глотки голос.

Магазин Ахмада оказался лавчонкой, втиснутой между роскошным фотоателье и парикмахерской с огромной витриной, уставленной среброликими женщинами с волосами из рыжей соломы или зеленых водорослей. За прилавком обольстительно улыбался юноша, с глазами, как сковороды, и тоненькими усиками, — младший из четырех сыновей Ахмада. Позади юноши до самого потолка громоздилась яркая дребедень, воняющая клеем, коленкором, химикалиями, воняющая подделкой, настолько, впрочем, откровенной, что это не вызывало досады. «Ручной вязки» фабричные коврики, «золотые» часы из меди, обувь и дамские сумочки из эрзац-кожи, древние скарабеи, рассыпающиеся под рукой, бабушки небывалых размеров, безобразные тюбетейки и фески на клею, цветные тряпицы непонятного назначения, крепчайшие и дешевлешие «турецкие» сигареты, кальяны и трубки — словом, полный ассортимент беднейших лавчонок арабского базара, такой странный и неуместный на самой богатой торговой улице города.

Но держался Ахмад среди этого жалкого барахла с достоинством и широтой короля торговли. Он усадил нас на диванчик с потертой бархатной обивкой, угостил сигаретами, куда более дорогими, чем на витрине его лавчонки, распорядился подать кофе. Его лицо сияло гордостью, впервые он предстал перед нами не как служащий, а как предприниматель у кормила собственного дела. За кофе Ахмад делился своими планами: его ближайшая цель — установить торговые отношения с Советским Союзом... Из жалости и симпатии к большому ребенку каждый из нас пожертвовал несколькими пиастрами для покупки какой-нибудь ненужности — скарабея или цветной тряпки. Но Ахмад понимал торговлю своеобразно, он придерживался разорительной системы поощрений. Купивший скарабея получал в премию тря-

лицу, а купивший тряпицу — скарабея или нежный профиль Нефертити на куске песчаника; безумец, приобретший бабуши, был награжден феской, а другой, из азартного любопытства расщедрившийся на кальян, получил полосатый халат.

— Ну что, может Ахмад торговать? — самодовольно спрашивал счастливый этими ловкими сделками великан.

— Да, — ответил кто-то из нас, — пока Ахмад имеет службу, он вполне может торговать...

...В последние дни Ахмад не отходил от нас ни на шаг. Он принимал участие во всех экскурсиях, до одури петлял с нами по городу, глотал базарную пыль, дышал сыростью на вечерних набережных Нила и, пошатываясь от усталости и «Столичной», брел пустынными замусоренными улицами домой. Это не входило в его служебные обязанности, напротив, мы слышали, как некий важный служащий фирмы выговаривал Ахмаду за его пренебрежение к другим туристам, населяющим «Скарабей». И это уже не было, как вначале, знаком его особого уважения к строителям Асуанской плотины, какими в глазах Ахмада являются все русские. Нет, просто Ахмад влюбился.

Он влюбился в молоденькую туристку, рыжеволосую, скуластую, с монгольски-узкой припухлостью глаз. Он стал дважды в день менять чалму, и дважды в день его смуглые толстые щеки становились сизыми от свежего бритья и пудры. Всюду, где бы мы ни оказались, он проверял резонирующие свойства окрестностей. Возле пирамид Хеопса и Хефрена, где туристам предоставляются все виды четвероногого транспорта — от ишачков до верблюдов, Ахмад проскакал на горячем арабском жеребце и осадил его, как врыл в землю, возле тоненькой фигурки под рыжим шлемом.

Молодого мужа туристки, кинооператора, не меньше, чем ее самое, радовало и умиляло это поклонение. По просьбе Ахмада он без конца снимал его рядом со своей женой, а без просьбы Ахмада старался запечатлеть те многочисленные знаки внимания, которые Ахмад расточал своей избраннице. Ахмад не пропускал случая грациозно подать ей руку при посадке в автобус, помочь забраться на ишачью или верблюжью спину; каждая клумба давала Ахмаду возможность преподне-

сти ей если не букет, то хотя бы цветов, каждая табачная лавочка — угостить невиданной марки сигаретами.

А в канун нашего отъезда на развалинах древней мечети Ахмад вдруг впал в глубокую, тягостную задумчивость. Он отделился от всех, сел на камень возле входа в мечеть и сидел долго-долго, облитый жарким солнцем, почти черный, недвижимый, как изваяние, но какие бури свершались в его душе, об этом можно было лишь догадываться. Позже вспомнили, что на пути к мечети Ахмад спросил мужа рыженькой туристки:

— Сколько у вас детей?

— У нас их вовсе нет! — со смехом ответил тот.

Вот тогда-то и стала наплывать на чело Ахмада темная туча...

Скорбное, одинокое сидение Ахмада на камне завершилось тем, что он громко, властно, голосом сухим, твердым и безулыбчивым позвал рыженькую туристку и ее мужа. Они подошли. Ахмад взял их за локти своими железными руками и повлек к одной из полуобвалившихся стен мечети, на которой сохранились следы каких-то писем.

— Это волшебная стена, а я немного колдун, — с легким вздохом сказал Ахмад. — Закройте глаза.

Туристы повиновались.

Ахмад что-то зашептал, потом соединил их руки и, облизав пересмякший рот, сказал с торжественной простотой:

— Когда вы снова приедете в Египет, у вас будет пятнадцать детей.

А потом Ахмад говорил мне разбитым голосом:

— Как называется та штучка... с домами на этикетке?.. У вас не найдется глоток-другой?..

И вот наш автобус в последний раз отчаливает от дверей отеля «Скарабей», мы уезжаем в Александрию, а оттуда — домой.

— До свидания, — по-русски сказал Ахмад и поцеловал маленькую руку туристки.

— До свидания, Ахмад! — сказала туристка и со ступеньки автобуса, став на носки, поцеловала его в щеку.

— Farewell! — сказал Ахмад, и заплакал, и еще раз поцеловал ей руку.

— Доброй нотши! — сказал Ахмад ее мужу, обнял

его и опять поцеловал свесившуюся из окна худенькую белую руку.

Автобус тронулся и покатил в сторону набережной. Рядом с ним по мостовой, не отставая, шагал рослый старый египтянин в сером с металлическим отливом халате и снежно-белой чалме.

— Ахмад, куда вы? — окликнули его с тротуара.

И он рассеянно отозвался:

— Не знаю... Не знаю...

*1962 г.*

## МУЗЫКАЛЬНАЯ КОРОБКА

Началось с сигарет. Заехавший ко мне по киношным делам режиссер спросил, не найдется ли покурить. Он знал, что я давно уже не курю и никто в моей семье не курит, но твердо придерживался мнения, что сигареты, как и деньги, есть в каждом доме, только надо уметь их найти. Видимо, поэтому он никогда не имел при себе курева. Он сам с гордостью говорил, что курит всю жизнь, почти с младенчества, и всегда чужие. Начались нудные поиски. Впрочем, как обычно и бывает, когда что-то ищешь в собственном доме, скучное поначалу занятие приобретает неожиданный интерес. Ты вдруг обнаруживаешь множество считавшихся пропавшими вещей: карманный томик лирики Гёте в старинном переплете из свиной кожи; бронзовый брелок с гербом Померании — крылатый дракон, присевший на задние лапы, словно пудель, выпрашивающий подачку, — ты был уверен, что этот брелок «взял на память» твой режиссер, заядлый автомобилист, чтобы украсить им связку ключей от зажигания, дверей, багажника, рулевого замка и нескольких «секреток». А то вдруг под руку попадет карточка давно забытой возлюбленной; это крошечное моментальное фото ты сперва таскал в паспорте, чтобы никогда не расставаться, потом трепетно хранил в каких-то тайниках от бдительного ока жены, а затем равнодушно потерял и сейчас обнаружил в щели стола — пыльное, измятое и ненужное. И ты уже не думаешь о предмете твоих забот, поиски становятся самоцелью, — в различных малостях они возвращают тебе твое прошлое, и ты с печалью, нежностью и удивлением обнаруживаешь, как много былой жизни может хранить огрызок цветного карандаша, старая монета, открытка, пуго-

вица, перочинный ножичек, записная книжка с номерами телефонов, по которым давно уже никто не отвечает.

И тут я услышал колокольчик, но не успел предаться валдайским видениям, как колокольчик уступил старинному клавесину, чрезмерно отчетливо, как-то назидательно вызвонившему первые такты. Но, словно поверив в прочность своего голоса, клавесин обрел обычную хрупкую нежность, и тут я сообразил, что в поисках сигарет режиссер открыл музыкальную папиросницу — деревянную инкрустированную шкатулку, столько лет молчавшую, но сохранившую свою певучую душу. На радость курильщику, шкатулка приютила и однуединственную сигарету. Потянуло горьким дымком, и запах черного табака и тонкая музыка привлекли мою память в Египет, к моему другу Юсефу Идрису. Это он подарил мне музыкальную коробку, набитую темными тонкими сигаретами, — тогда я был еще здоров и делал все от меня зависящее, чтобы избавиться от здоровья, в том числе курил.

Юсефа Идриса по справедливости называют египетским Чеховым. Он не подражает Чехову, а совпадает с ним. Точно так же как и автор «Мужиков», «В враге», «Ваньки Жукова», он населил свои рассказы простыми, незнатными людьми, деревенской и городской беднотой, открыл поэзию в обыденном, повседневном, доказал, что любая жизненная история, пусть самая сложная, протяженная по времени, может разместиться на малой площади рассказа. Феллахи, мелкие чиновники, полицейские, карманники, уличные ребяташки, лекари, торговцы, столь щедро обретшие у Юсефа существование в слове, расширили привычный обиход арабской литературы. Они вошли в нее со своими словечками, со своим несколько вульгарным шумом, крепкими запахами лука и прогорклого оливкового масла, со своими горестями, жалкими радостями, чадолюбием, наивностью, верой и добротой. Они поколебали до основ условно-поэтический мир традиционной арабской прозы. Освежающая работа, проделанная Юсефом, очень похожа на работу нашего Чехова. Кстати, подобно Чехову, Юсеф по образованию врач.

Мы познакомились много лет назад в Каире, на митинге в защиту мира. Юсеф стоял на трибуне — бледное, красивое, чеканное лицо, крепкая мужская стать, не-

громкая, застенчивая, но сильная своей верой и убежденностью речь. Поистине Юсеф являл собой того гармоничного человека, о котором мечтал Чехов: в нем все было прекрасно — мысли, речь, внешность, манеры, одежда.

Вскоре мы увиделись в Москве, у меня дома (тогда Юсеф и подарил мне музыкальную папиросницу), много, жадно и сумбурно говорили, крепко выпили, и помню, как меня обрадовало и очаровало, что этот сдержанный, корректный до замкнутости, тщательно оберегающий свой внутренний мир человек может быть таким горячим, открытым, как говорится — нараспашку.

И вот мы снова встретились в Каире, в трудную для египетского народа пору. По вечерам столица погружается в полумрак частичного затемнения, в небе барражируют самолеты, но уже гремят над Газой вечерние голоса пирамид, вещающих в перехвате разноцветных огней о древних временах, позвякивает нарядная сбруя верблюдов, подвозящих туристов к Великому сфинксу, и вращает смугло-золотистым животом несравненная Фатима в ночном кабаре, вновь полны и шумны кафе, ибо столица должна оставаться столицей, ведь траур «идет Электре», а не великому, с громадным запасом сил народу, сознательно творящему свою историческую судьбу.

Прошло немало времени, прежде чем я почувствовал, что Юсеф выпадает из настроения окружающего, хотя вначале он показался мне прежним, крепко собранным, даже более уверенным, зрелым, приведшим в мудрое равновесие всю свою душевную жизнь.

Я впервые попал в гости к Юсефу, в его красивую, какую-то праздничную семью, в нарядный дом, где, казалось, всегда новоселье. Юсеф прежде ни словом не упоминал о своей домашней жизни, и, признаюсь, с ним у меня связывалось представление о бездомности, бытовом одиночестве. В этом проявлялась еще одна черта, роднившая Юсефа с Чеховым, — стыдливое нежелание обременять людей личными делами и обстоятельствами, выносить на всеобщее обозрение свое интимное, тонкое, душевное. И вдруг — эта густая, пастозная живопись налаженного, круто заваренного быта, очаровательная, молодая, яркая, как карнавал, жена, ясноглазые, красивые сыновья, просторная, комфортабельная квартира с

мебелью и всем убранством самого высшего качества! В кабинете — стол, громадный, как саркофаг, кресло, массивное, как трон, и никаких следов работы. Юсеф не последовал за нами в кабинет. «Я не люблю туда заходить, когда мне не пишется», — заметил он с бледной улыбкой.

И был обед: обильный, вкусный, не по-арабски долгий, и милые шалости детей, и безгневное возмущение прекрасной матери, и вежливая принужденность Юсефа, обретавшего прежнюю естественность и расторможенность лишь в выпадении из происходящего. Вначале эти его периодические исчезновения едва ощущались, а к концу обеда стали давить, и я поймал себя на том, что мучительно жалею Юсефа, такого, казалось бы, счастливого, признанного, удачливого по всем статьям. Да ведь настоящего человека не насытишь незамысловатым благополучием семейной жизни и внешним успехом.

Еще только начинало смеркаться, в комнате не зажигали электричества, и грозно, кровавой раной алея великолепный арбуз посреди стола, когда Юсеф резко поднялся и с каким-то мучительным выражением сказал:

— Ну, поехали к пирамидам!..

Могучая душа Наполеона поникла в тени пирамид; его, завоевателя, впервые постигло ощущение своей малости и краткости в мире перед воплощенной в камне вечностью. Нам, детям современных городов с их небоскребами и телебашнями, пирамиды кажутся высокими лишь в одном случае — когда пробуешь взобраться на вершину. Карабкаясь с камня на камень, с яруса на ярус, обдирая в кровь пальцы и слыша громкий стук своего уставшего сердца, начинаешь сознавать, что пирамиды — это все-таки нечто. А так ни пирамиды, ни Великий сфинкс отнюдь не кажутся бог весть какими громадами. Но музыкально-речевое и световое действие, разыгрываемое ежевечерне, возвращает пирамидам утраченную грандиозность.

Позакатное, иссиня-изумрудное небо быстро налива-ется чернильной тьмой, и конуса пирамид сливаются с тьмой, исчезают, чтобы вновь обрести существование в

звездном решете. И тут в них ударяет багряный свет, густым малиновым паром начинают клубиться грани, и утробный голос вещает — не из глубины пирамид, а из глубины земли, на которой они стоят, — древнюю повесть земли египетской.

Конечно, это всего лишь аттракцион — великолепно поставленный и рассчитанный на доверчивые души туристов, но не на аборигенов. И меня поразило выражение бледного, словно бы светящегося этой бледностью лица Юсефа. Он находился в той степени душевной обостренности, когда ранить может даже картонный меч. Любое, пусть самое поверхностное явление жизни, если оно хоть как-то соприкасалось с его болью, обретало для него роковую значительность.

На другой день Юсеф исчез. Ну, «исчез» слишком сильно сказать, ибо его местопребывание недолго оставалось в тайне: он уехал в деревню, где жили его родственники и где он недавно приобрел несколько федданов земли. Юсеф — землевладелец!? И все же не представляло большого труда понять причины, побудившие его обратиться к земле. Ему необходимо было почувствовать незыблемую твердь под ногами, ему претило сейчас все зыбкое, многосмысленное, хотелось простоты и надежности во всем — и прежде всего в окружающих людях. Хотелось земли и неба, солнца и дождя, вола и ягненка, рассвета и заката, запаха молока и трудового пота...

Вскоре представилась возможность проведать Юсефа. Мне дали пропуск для поездки на фронт, иными словами — в Исмаилию и Порт-Саид. И не нужно было делать большого крюка, чтобы заглянуть к Юсефу. Он жил в прифронтной полосе. По пути к фронту, в комендатуре маленького городка, меня настигло сообщение, что в связи с изменившимися обстоятельствами пропуск аннулируется. Видимо, противник готовил нападение, быть может, уже начались военные действия, и командование не хотело подвергать опасности гостя. Было чертовски досадно и обидно, но что поделаешь?..

Впрочем, Юсеф, которого я отыскивал за деревней, в поле, — он бесцельно брел по пыльной дороге, прочь от своей маленькой машины в пустоту догорающего заката, — был на этот счет другого мнения.

— Вы хотите в Исмаилию? — сказал он тусклым го-

лосом.— Думаю, это можно устроить. Там у меня полно знакомых.

— Спасибо, Юсеф, но приказ есть приказ.

— Ах да!.. Я совсем забыл...

Все остальное время, что мы провели в деревне, Юсефа не покидала молчаливая задумчивость. Мы пили мятный чай у многосемейного феллаха из пиалушек с щербатыми краями и ели пахнущую дымом лепешку. Хозяин, немолодой, источенный работой человек с умными, притерпевшимися ко всему спокойно-насмешливыми и добрыми глазами, сказал мне, когда установилось взаимное доверие:

— Забирайте-ка отсюда Юсефа.

— Я вам мешаю? — обиженно спросил тот.

— Нет, мы тебе мешаем.

— Чем же?

— Отрываем от дела.

— Он изучает жизнь, — пришел я на помощь Юсефу.

— Нет. Он томится. А изучать жизнь — пустое, надо жить свою жизнь, и все. Он так раньше и делал.

— Занятно, когда о тебе говорят, как о мертвом, — заметил Юсеф.

— А ты мертвый и есть, — спокойно произнес феллах. — Если человек опускает руки, как еще о нем сказать?

— Ох, какой умный!..

— Ты писатель, — продолжал феллах, — тебе это выпало на долю. И нечего заноситься. Это труд, такой же труд, как всякий другой. Ты бросил писать, я не выйду в поле, что тогда будет?

— Ух ты! — сказал Юсеф. — Вот не думал, что я вам мешаю!

Хозяин усмехнулся и погрузил в пиалу свое маленькое морщинистое лицо...

Внезапно Юсеф надумал ехать со мной в Каир. Решение это явилось полной неожиданностью и для его величавой матери, и для младшего брата, и для сестры с мужем, живущих в большом доме с позолоченной мебелью и пышными картинами в багетных рамах, но сейчас каждое его решение оказывалось неожиданностью для близких.

Весь наш обратный путь шел сквозь ночную пасмурную непроглядь. Казалось, фары машины сами наво-

дили дорогу впереди, словно переправу через тьму. И странно в черной пустоте возник сторожевой пост — деревянный гриб, а возле него расхаживал рослый часовой. К своему глубочайшему изумлению, я узнал в нем... Ахмада. Да, того самого Ахмада Неисчерпаемого. Тут не могло быть сомнений, хотя он сильно изменился за минувшие годы, не постарел, нет, напротив — скинул груз лет и жирка, создал себе сухое, статное тело воина.

— Ахмад! — сказал я. — Вот где привелось встретиться!.. Вы не помните меня, Ахмад?

Часовой не ответил. В темноте ярко блестели белки его напрягшихся глаз.

— «Скарабей»... Поездка в Луксор... Сокровища Тутанхамона... — пытался я оживить его память.

— Это было так давно! — слышался глубокий голос Ахмада. — Все переменялось. Сейчас другой век.

— Да, — сказал я с грустью. — Конечно, мне было легче запомнить вас.

— А как та... рыженькая? — тихо спросил часовой.

— Вы помните ее?.. Даже в другом веке!.. Не знаю, Ахмад, мы больше не видимся... А что вы сторожите здесь?..

— Свою душу, — ответил Ахмад медленным голосом, — эти звезды и всех живущих на земле...

— Он прав, — задумчиво произнес Юсеф, когда мы тронулись дальше. — Звезды, которые он сторожит, светят над всем миром...

В Каире нам вдруг понадобилось идти смотреть несравненную Фатиму. Она выступала в одном из вновь открывшихся кабаре в районе Газы.

Круглый, нежный и мускулистый живот Фатимы был столь же красноречив, как и годы назад, когда я впервые увидел несравненную. Публика жарко приветствовала свою любимицу.

— Молодец Фатима! — Юсеф вздохнул. — Она может...

— Конечно, молодец. Фатима — стойкий солдатик!

— Ах, господи! — его покорибил мой назидательный тон. — Когда говорят пушки, молчат музы.

— А как же в Отечественную?.. — начал я, но Юсеф не дал мне договорить.

— Не надо аналогий! Все происходит впервые. Но мне... мне совестно сейчас писать!..

— Если я правильно понял того крестьянина, то сейчас совестно не писать.

Юсеф посмотрел на меня желтыми, как Нил, глазами и замолчал на весь вечер, на весь оставшийся мне в Каире срок...

...Слушая тонкий, нежно спотыкающийся голосок шкатулки, я вспоминал о наших встречах с Юсефом, о последнем, неловком и трудном, разговоре, за которым наступило безмолвие, и о телефонном звонке одного арабиста, недавно вернувшегося из Каира: Юсеф снова пишет, один за другим выходят его рассказы, и так он никогда еще не писал.

*1967 г.*

## ОНИ ЛЮБИЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ

Когда незнакомые люди из года в год встречаются на пляже, они начинают улыбаться друг другу, затем здороваться, порой даже обмениваться короткими репликами: «Как вода?», «Ну и жарница сегодня!», «Слышали, акула покусала мальчику?», «Боже мой, только этого нам еще не хватало!». Их взаимному расположению способствовало то, что все они приводили на пляж своих детей, мальчишек и девчонок, от двух до двенадцати лет, и каждый угадывал в другом фанатичного отца. Все же они не были официально знакомы и, встретившись случайно в городе или на базаре, в кафе или казино, не раскланивались, не замечали друг друга, а порой — вполне искренне — даже не узнавали. Им нужен был пляж, шум моря, крики чаек, голоса детей, чтобы мгновенно возникло узнавание — улыбка, кивок, несколько ничего не значащих приветливых слов.

Все эти люди были жителями Суса, но лишь двое принадлежали к коренному населению страны. Остальные же были пришельцами: грек-киприот, черногорец и турок. Разные пути привели их сюда. Грек-киприот из семьи потомственных, хотя и некрупных, судовладельцев, разбогатев в пору послевоенного оживления средиземноморской торговли, перевел свое дело из заштатной Ларнаки в процветающий Сус, турок-капитан оказался здесь по сходной причине — отважные и решительные капитаны ценились тут много выше, нежели у него на родине. Горестно-романтический поворот судьбы навсегда разлучил с берегами Торачи Марко Костица. С отроческих лет крестьянский сын Марко любил соседскую дочь. И когда была створена свадьба, девушку отдали за богатого трактирщика. У Марко Костица было доброе

сердце, он не хотел убивать ни бывшую свою невесту, ни счастливого соперника. Он бежал — от черных неотвязных мыслей, от самого себя — сперва в Египет, затем дальше, в Сирию, наконец осел в Сусе. В Египте он бродяжил и батрачил, в Сирии, женившись на дочери казачьего подъесаула, бежавшего от Красной Армии, пристал к делу, кое-чему научился, нажил денежки. Переехавшись в Сус, пустил в оборот свой капитал, да так удачно, что вскоре заделался одним из заправил в торговом мире.

Из коренных жителей один был владельцем страховой конторы, едва ли не солиднейшей в стране. Свою карьеру аль-Бустани сделал в начале пятидесятых годов, застраховав девственность дочери одного из новоявленных магнатов германской промышленности. Девочка отправлялась на учение в Оксфорд. Еще до окончания учебного семестра аль-Бустани безропотно выплатил огорченному отцу громадную сумму страховки. Это поставило его на край разорения и одновременно одарило мировой славой. Блестящий рекламный трюк аль-Бустани оценили сильные мира сего, с тех пор началось его стремительное возвышение. Начав столь рискованно, в дальнейшем он действовал с предельной осмотрительностью, подвергая сомнению и проверке куда более прочные ценности, нежели невинность великовозрастных дочерей промышленных заправил. В деловом мире аль-Бустани называли Королем перестраховки, его девиз был: лучше меньше, но наверняка. И этот девиз полностью себя оправдал.

Другой абориген находился у подножия той лестницы, на вершине которой блаженствовал Марко Костич. Четверть века торговал он с лотка жареными на оливковом масле лепешками, пока не накопил малую толику денег и не завел собственного чахлого дельца по торговле цитрусовыми.

Как уже говорилось выше, дети способствовали тому, что эти столь разные люди заметили друг дружку в громадной разношерстой пляжной толпе.

Судьба была неодинаково щедра к этим отцам в их ведущей страсти. Судовладельца Каливаса она наградила близнецами обморочного сходства. Казалось, и сам отец не всегда уверен, что на его зов откликнется тот, кто ему в данный момент нужен. Крикнув Никоса,

он подозрительно вглядывался в подбежавшего стройного шоколадного мальчика, будто пытаюсь — в который раз! — обнаружить на нем неприметный знак, то тщательно упрятанное тавро, что позволяет матери никогда не ошибаться. Затем, вздохнув и как бы признав свое поражение, он тихим, неубедительным голосом делал настоящему или мнимому Никосу замечание, предупреждение, внушение. Впрочем, большой ошибки он совершить не мог: мальчики являли во всем зеркальное отражение друг друга. Если кричал один, то кричал и другой, плакал один — плакал другой, смеялся один — смеялся другой, можно без конца перечислять все виды совпадений эмоций, поступков, намерений, заболеваний у двух братьев, вылупившихся из одного яйца. Они были одним существом, искусственно расщепленным на две особи. Но вообще близнецы не доставляли много хлопот своему отцу: воспитанные, сдержанные, ровнoprиветливые, физически сильные и потому уступчивые, снисходительные к более слабым сверстникам, они жили в мире с самими собой и с окружающими.

Аль-Бустани имел трех дочерей-погодков, старшей стукнуло одиннадцать, и, к зависти сестер, она носила лифчик. Когда дул ветер, шелковая ткань сминалась, плоско прилегала к телу, и становилось очевидно, что лифчик вовсе ни к чему, но сестры все равно завидовали ее несозревшей плоти.

У богатого торговца Кости́ча было четверо, поровну мальчиков и девочек. Природа поступила справедливо, подарив двум детям жгучие краски юга, а двум — северную светлую акварель. Материнский лен и незабудки достались старшему мальчику и младшей девочке, а отцовская смола и огонь — младшему мальчику и старшей девочке. Маленькие горцы были нежного, мечтательного склада, маленькие славяне отличались резким, взрывчатым темпераментом. Темные глаза первых скрывали в густоте ресниц задумчивую тишину, светлые глаза других горели льдыстым пламенем. Столь различные, они ревниво и пристально любили друг друга и все время держали круговую оборону.

Турецкий капитан Балас, с лицом, острым как бритва, тонким, косым носом, смугло-бледный, жесткоглазый и усатый, не был взыскан в потомстве. Он приходил на пляж в сопровождении единственного сына, как две

капли воды похожего на него. Было странно, что детская размытость черт может таить в себе столько остроты и выразительности. Причем это сходство вовсе не бросалось в глаза, но потом, вспоминая об отце и сыне, ты с удивлением обнаруживал, что они кажутся на одно косоносое усатое лицо. Капитан был человеком желчным, обиженным, и с лица сына не сходило угрюмое выражение даже во время самых веселых игр. Но товарищи прощали ему мрачный вид и косою опасный нос за бесстрашие, моторность и неистощимую изобретательность.

Торговец Сахель, напротив, мог сетовать, что всемогущий проявил в отношении него чрезмерную щедрость. Жена что ни год дарила ему по ребенку, аккуратно чередуя мальчиков и девочек. Хотя смерть унесла многих в младенчестве, за Сахелем тянулся целый выводок — восемь черных головенок. Старшему шел тринадцатый год, он носил расклешенные брюки, облегающие зад и ляжки, словно вторая кожа, и душные нейлоновые рубашки, меньшей же обходился без всякой одежды — бронзовый голопузый двухлеток, испытывающий непреодолимую тягу к передвижению окарач. Многодетный Сахель пользовался у остальных отцов известным уважением, хотя был им вовсе неровня.

Существует неверное представление, что платье делает людей, а коли человек наг, подобно прародителю нашему Адаму, то нипочем не угадаешь его положение в мире. Вовсе не нужно было видеть, как дородный аль-Бустани в белой фланели выходил у ворот пляжа из своего роскошного, цвета стоялой воды «ягуара», чтобы определить его принадлежность городской элите. То же относится к изысканному Костичу, приехавшему на море в вороном снаружи и вишневом внутри «мерседесе», и к судовладельцу Каливасу, приверженцу чуть старомодной элегантности, распространившейся и на одежду и на марку машины — он признавал лишь ручной сборки «роллс-ройсы». Гладкие, холеные тела этих хозяев жизни, их неторопливая поступь, именно поступь, а не походка, лишенные мускулов руки (впрочем, у Костича под слоем жирка еще ощущались крепкие мышцы), рассеянный прищур, позволяющий не замечать окружающую мелкоту, говорили сами за себя. Достаточно было взглянуть на сухопарого, прокопчен-

ного, в белых шрамах капитана Баласа, не входившего, а вбегавшего в море, или на сторбленного, костлявого Сахеля с узловатыми руками и кривыми пальцами перетруженных ног, чтобы без ошибки поместить их в должные ячейки социальной структуры.

Имущественное неравенство отцов никак не отражалось на дружбе детей. Они весело играли в разные пляжные игры: в мяч, бадминтон, «пираты-солдаты», чехарду, пятнашки, стрсили и штурмовали песчаные крепости, рыли каналы, плавали на надувных матрацах, лягушках, крокодилах, искали ракушки и разноцветные камешки. И все папины деньги не давали ни малейшего преимущества чинным Каливасам перед косоносым Кемалем Баласом или старшим отпрыском Сахеля. К чести родителей, они никогда не вмешивались в ребячьи дела. Впрочем, не пляжная идиллия является предметом моего рассказа, а тот роковой случай, когда сплелись деловые интересы отцов.

Начало этому сплетению было положено в старом, обветшалом, но благородном доме, где располагалось пароходство Каливаса. Преуспевающей компании, казалось бы, не пристало ютиться в подобной дыре, но Каливас и помыслить не хотел о переезде в современное здание. Он повидал свет и убедился, что старые респектабельные фирмы никогда не гонятся за внешним лоском, ютятся в дряхлых, прокопченных домах и не меняют ни швейцаров, ни мебели, ни проржавевшей, но известной всему деловому миру вывески. Легкий обман состоял в том, что дом вовсе не был наследственным владением Каливаса. Здесь и раньше помещалась небольшая, давно разорившаяся судоходная компания. Но это помнилось как-то смутно, даже вообще не помнилось, и в рассеянном сознании горожан оба дела слились в одно — стародавнее, потомственное, в высшей степени почтенное.

Так вот, в этом доме, в душном кабинете Каливаса, лишенном не только кондиционированного воздуха, но и сносной вентиляции, заставленном тяжелой пыльной мебелью, увешанном темными картинами в золоченых багетных рамах, старший инженер компании докладывал Каливасу об аварийном состоянии грузового парохода «Хаммамет».

Как и всегда, доклад главного инженера был ясен,

прост и неумолимо убедителен. Сомнений не оставалось — пароход надо списывать.

— Все ясно, благодарю вас, — сказал Каливас и, приподнявшись, осторожно пожал потную руку главного инженера.

Тот опрометью кинулся из раскаленного, воняющего мышами сарая в чистый жар улицы, пронизываемый свежим током с моря.

Господин Каливас вызвал своего юриста и имел с ним пятнадцатиминутный разговор, после чего отправился на пляж, по дороге заехав за своими близнецами.

Вечером, когда спадает нестерпимый зной и вновь пробуждается деловая жизнь города, юрист пароходной компании Каливаса поднялся на двенадцатый этаж громадного дома, недавно выросшего напротив рынка. В этом ультрасовременном доме размещалось великое множество всевозможных оффисов. Здание обслуживалось бесшумными скоростными лифтами-автоматами и кондиционными установками, не работавшими в силу своей дороговизны, усугубляемой некоторым застоєм в делах.

Юрист был сразу принят главой страхового общества аль-Бустани. Речь шла о страховании парохода «Хаммамет», отправляющегося с грузом в Стамбул.

— Насколько нам известно, «Хаммамет» находится в довольно скверном состоянии? — с вежливой улыбкой сказал аль-Бустани.

— Хуже некуда! — буркнул юрист.

— Виски?.. Джин?.. — спросил аль-Бустани, направляясь к холодильнику в углу просторного кабинета.

— Какой вы молодец, что держите здесь холодильник! — восхитился юрист. — Мы обречены хлестать теплое пойло. Немножко скотча и, ради бога, побольше содовой. Замучила изжога.

— Мне, например, помогает лимон, — заметил аль-Бустани.

— У вас пониженная кислотность, а у меня повышенная. Мне грозит язва, а вам рачок, — любезно пояснил юрист.

— Сумма страховки? — сухо спросил аль-Бустани, наполняя стакан.

Юрист назвал.

Большая пухлая рука аль-Бустани дрогнула, кусочек льда плюхнулся в стакан, кинув брызги.

— С вами мы идем в открытую,— сказал юрист, принимая питье.— Мы не хотим обращаться к другим, это произвело бы дурное впечатление. Как-никак мы больше двадцати лет ведем дела только с вами. И надо полагать, к обоюдной выгоде.

Да, подумал аль-Бустани, вы играете в открытую, даже чересчур. Вы нисколько не стесняетесь меня, ибо слишком хорошо знаете, что я не посмею отказаться. А почему, собственно, не посмею? Возьму и откажусь!.. Да, на ваших клиентов произведет крайне дурное впечатление, когда они узнают подоплеку моего отказа. А в глазах моих клиентов я только выиграю. Но не будет ли выигрыш мнимым? Я двадцать лет сотрудничаю с Каливасом и заработал немало денег. Пусть у него сейчас дела дали трещину, коль он пошел на такую авантюру, все же Каливас остается самым главным морским извозчиком в стране, и потерять его слишком убыточно. Я не имею на это права. Никакая моральная выгода не возместит мне утрату такого клиента. Да и моральная выгода тоже весьма сомнительна. Рано или поздно любое пароходство прибегает к подобному трюку, и, если обнаружится мое чистоплюйство, едва ли оно придется по душе судоходным боссам. Кто из них не знает, что я никогда не остаюсь в накладе, ибо при малейшем сомнении перестраховываюсь у мелюзги. Если говорить серьезно, то у меня есть лишь один истинный моральный долг — перед моими девочками, милыми голубками, такими славными и незащищенными в этом волчьем мире. Единственная их защита — деньги, которые я им оставляю, а чистоплюйство пусть украшает тех, у кого сердце не обременено любовью и смертным страхом за любимых.

Тут он вспомнил о Каливасе. Конечно, можно списать корабль, но ведь это убыточно, а Каливас — сумасшедший отец. Почему он должен ущемлять интересы своих чудесных близнецов? Кто из судовладельцев поступает иначе? Удивительно, что Каливас держался так долго.

— Хорошо,— медленно проговорил аль-Бустани,— приступим к делу...

...Капитан Балас впервые в жизни переступил по-

рог судоходства Каливаса. Почтенная, уважаемая компания еще ни разу не прибегала к его услугам. Конечно, он не был баловнем судьбы. Ему дьявольски не повезло с самого появления в Сусе: в первом же рейсе он посадил на камни и пустил ко дну грузо-пассажирский пароход «Акбар». Он и сам не мог взять в толк, как это случилось. Виноват был лоцман. Необъяснимым казался грубый просчет старого, опытного моряка. Быть может, лоцман действовал по уговору?.. После этого капитан Балас долго не мог найти работу и совсем обнищал, а когда его вновь пригласили, разговор пошел впрямую: надо ликвидировать старую, отслужившую свой век калошу. Он блестяще справился с заданием, следственная комиссия целый год билась, пытаясь доказать преднамеренность катастрофы, и отступила ни с чем. Компания положила в карман громадную страховку, и ему отвалился немалый куш. С тех пор его ампула было раз и навсегда установлено. Его вызывали в Грецию, на Кипр и даже в родную Турцию, не оценив шую прежде способностей молодого, исполненного отваги и рвения капитана. Но с некоторых пор дела Баласа пошли под гору. Возрастающая из года в год аморальность его коллег сбивала пены. Инфляция совести грозила поставить под угрозу весь бизнес. Было время, когда на него пальцем показывали как на некое чудовище, а ныне он стал вполне банальной фигурой — один из многих, и судоходные компании беспардонно пользовались конкуренцией на морском разбойничьем рынке. И потому, выйдя после короткого делового разговора из дверей судоходства Каливаса и с шумом выдувая из легких затхлый воздух, капитан Балас отправился прямым рейсом в «Лотос», портовый кабачок, и спросил себе двойную порцию яблочной водки.

В обычные дни он не позволял себе ни капли спиртного. Пить могли сколько влезет те благополучные, заплывшие жиром самодовольные капитаны, что бороздили моря ради простого и незамысловатого дела доставить груз к месту назначения. Этим чего не пить! У них отличные, вышколенные помощники, проверенная, трезвая команда, к их услугам лучшие лоцманы. А попробуй во главе деклассированной банды списанных с других кораблей за пьянство, драки, воровство и неподчинение подонков, со старпомом-наркоманом, вторым помощни-

ком — головорезом и третьим — уголовником произвести сложный и тонкий маневр потопления парохода, да так, чтобы комар носа не подточил, чтобы ищейки и законники-крючковторы не могли обнаружить никакой слабину! Для этого нужны ясное сознание, твердая рука, решительное сердце, способность к молниеносному расчету и железная выдержка. Словом, нужны качества космонавта, и тут нельзя позволять себе никаких излишеств. Но сегодня он дьявольски раздражен. Пять тысяч долларов дали ему эти подлецы. Пять жалких тысяч за такой корабль! Акулы! Правы красные — это истинно акулы капитализма!

Капитану Баласу хотелось на баррикады, в бой, в последний смертный бой с беспощадными, циничными, не ведающими ни стыда, ни совести хозяевами мира! Ах, как хорошо, как сладко было бы плюнуть в холодную, с приоткрытым от затрудненного дыхания ртом постную рожу директора судоходства! За кого ты меня принимаешь, падаль? Честному, просоленному морем капитану ты, гадина, предлагаешь такую гнусную сделку? И в морду, в дряблый подбородок, в слабую челюсть, в вонючий рот, по зубам, по зубам!.. Но нельзя, ах, господи, нельзя!.. Дома ждет сынишка, бедный росточек, который так легко затоптать, если ослабнет бдительность отца. Сыночек, сиротинка, так и не узнавший тепла материнских рук, не попивший молока из груди матери, оплатившей жизнью его рождение. За этого мальчика капитан Балас готов был потопить не только грязную посудину «Хаммамет», но и все корабли мира.

— Еще двойной кальвадос! — отрывисто бросил он бармену...

...Аль-Бустани садился в машину, когда к дверям подъехал черный «мерседес» с вишневым нутром, из него выскочил изысканный Костич с цветком в петлице. Красивое, гладкое лицо хранило обычное ласковое, будто внимающее каким-то райским звукам выражение, но смуглоту щек словно пеплом пробило бледностью.

— Господин аль-Бустани? — сильным гортанным голосом произнес Костич. — Прошу извинить, что явился в неурочное время. Лишь крайняя необходимость...

— Мое время принадлежит вам, — с любезной поспешностью перебил аль-Бустани, сопровождая свои слова приглашающим жестом.

Как уже говорилось, связанные деловыми отношениями много лет, они не были знакомы и никогда не встречались в рабочей обстановке. Костич был слишком крупным торговцем, чтобы самому заниматься страховкой. Этим ведал его племянник, курчавый красавец с большими воловьими глазами. Но сегодня, видимо, был особенный случай.

— Как ваша очаровательная четверка? — с милой улыбкой спросил аль-Бустани, провожая гостя в кабинет.

— Хвала богу, все здоровы, все веселы! И надеюсь, всегда будут веселы! — На миг из бархатистых глаз Костица глянул тот молодой горец, что бежал из дома, дабы не зарезать обидчиков.

Подвигая клиенту пепельницу, усаживаясь в кресло, аль-Бустани с удивлением думал, как поразительно поставлена в верхах делового мира служба информации. С какой быстротой успели предупредить Костица о нечистых замыслах Каливаса! За исключением какой-то мелочишки, корабль был зафрахтован торговым домом «Костич и К<sup>о</sup>». И как странно, что эта информация не просачивается в нижние слои делового мира. Видимо, тут действует инстинкт самосохранения, какая-то бессознательная взаимная порука. И мелкая сошка, у которой он уже перестраховал обреченный пароход «Хаммамет», а завтра перестрахует грузы Костица, ни сном ни духом не будет знать об аванюре Каливаса вплоть до самой катастрофы. И он пожалел этих бедных людей, страхующих подержанные машины, набитые рухлядью квартирнки и ничего не стоящие жизни обывателей, но упорно пытающихся «перейти в другой вес», присосаться крошечными жадными ротиками к крупному бизнесу, как уклейка к днищу корабля. Ну и пусть несут последствия своих претензий не по чину. Видно, они для того и существуют, чтобы настоящие люди дела стояли несокрушимо у руля жизни...

...Что-то произошло в таинственной пучине — мелкая прибрежная вода кишела медузами. Никогда еще дети не видели возле пляжа столько медуз. Море было щедрым лишь на лепешки мазута, намертво приклеивающегося к пяткам. Радужные зонты, извлеченные из воды, становились некрасивыми мутными комочками студня, но дети не могли поверить, что это неизбежно.

Им казалось, будь они осторожнее, бережнее, и медузы сохранят переливы своих нежных красок. И они все нежнее подводили ладони под переливчатое чудо и вынимали бесцветную слизь.

— Если б Кемаль был здесь! — со вздохом произнес один из близнецов.

— Если б был!.. — как эхо, отозвался другой. — Он бы что-нибудь изобрел!..

И все дети с грустью подумали о своем косоносом, угрюмом приятеле, вот уже четвертый день не появлявшемся на пляже.

Маленький Кемаль сидел дома под надзором соседки. Ему даже за ворота не разрешалось выходить, не то что на море. Отец люто боялся за него и, отлучаясь из дому, подвергал домашнему аресту. Сейчас капитан находился в плавании, и до его возвращения Кемалю придется довольствоваться обществом кривой сварливой соседки и ее, тоже кривого, злобного петуха и больших прилипчивых летних мух. Он каждый день молил бога, чтобы отец скорее вернулся.

И когда ждать уже не стало сил, отец вернулся, злой как черт. Он клюнул Кемалья в черную теплую голову, совсем как кривой петух, переделся в легкую чесучу и сразу ушел в город. Вернулся поздно и вопреки обыкновению не пощекотал усами притворяющегося спящим сына. Так было всегда, когда от него пахло яблочной водкой.

Вечером в приморском казино, у синего сукна рулетки, случайно сошлись Каливас, аль-Бустани и Костич. Страховщик и торговец обменялись понимающим рукопожатием, затем легким поклоном и смещением зрачков выразили свое сочувствие судовладельцу, потерпевшему у берегов Греции один из самых больших своих пароходов. Предварительное следствие приписывало катастрофу несчастному случаю. Каливас на миг прикрыл глаза коричневыми веками. Выразив столь сдержанно, мужественно свою скорбь и покорность судьбе, он поставил горку фишек на zero. Он играл крайне редко, лишь когда его резко выбивало из колеи, и всегда ставил только на zero — четыре, пять раз подряд. Он ни разу не выиграл, но не слишком огорчился, и вовсе не потому, что верил в свой час. Он не брал в рот спиртного, не прикасался даже к слабеньким нарко-

тикам, лишь рулетка давала ему некоторую разрядку, — когда ставишь на zero, позволительно слегка поволноваться. Не выиграл он и на этот раз. Проследив за лопаточкой крупье, сгребавшей фишки, он улыбнулся, вздохнул с просветленным видом верующего, чье жертвоприношение принято всевышним, и направился к выходу.

Внизу тихо плескалось и фосфоресцировало море. Завтра опять начнется спокойная, размеренная и чистая жизнь с привычной, радостной работой, пляжем, отдыхом в кругу семьи. «Хаммамет» был обречен, но хорошо, что это уже осталось позади...

Аль-Бустани и Костич, сделав несколько ставок и обменяв фишки, — Костич немного выиграл, аль-Бустани проиграл несколько фунтов, — прошли в бар и заказали зауэр-виски. Моду на этот напиток завезли американцы. Виски разбавляют лимонным соком с сахаром, а сверху бросают дольку апельсина, чем напрочь отбивают сивушный запах, присущий и самому лучшему виски. И аль-Бустани, и Костичу не в чем было себя упрекнуть, каждый вовремя отвел удар. Но все же гораздо лучше зарабатывать на пароходе, благополучно прибывающем в порт со всем грузом, нежели отправляющемся на дно морское. Аль-Бустани нет-нет да и вспоминал о тех жалких людишках, у которых он так своевременно перестраховал пароход и товары Костича. Он мысленно произнес тост за их здоровье и успех в будущем и отхлебнул виски...

На следующий день турецкий капитан Балас появился на пляже со своим косоносым сыном. Им все были рады. Но пропал многодетный Сахель. Отцы волновались: что случилось с маленьким торговцем?.. Им невдомек было, что он тоже причастен к судьбе ушедшего на дно парохода.

Судоходство Каливаса пользовалось столь безупречной репутацией, что Сахель решил сэкономить на страховке. Он должен был хоть раз взять весь куш и наконец-то выбиться из нужды. Иначе ему не поставить на ноги ни уже имеющихся детей, ни тех, что еще появятся на свет. Он потерял все и знал, что ему больше не подняться. У него не было на это сил. И не было сил смотреть на голодные рты своих птенцов...

Днем, в разгар жары, на пляж прибежал старший из сахелевых отпрысков — Марун. Дети встретили его

восторженно, хотя сразу почувствовали, что он стал какой-то другой: взрослый, чужой. Марун сказал, что его братья и сестры больше не придут на пляж, они помогают матери торговать на базаре целебными травами. А он вырвался на минутку — окунется и сразу назад к хозяину. Он теперь работает подручным у чистильщика сапог.

Гордясь своей взрослостью и жадным любопытством приятелей к перемснам, случившимся в его семье, Марун, небрежно перекатывая во рту жвачку, рассказал, что его отец повесился во дворе на суку акации.

— Оригинально повесился! Сук-то низко торчал, так он ноги подогнул, чтобы земли не достать. Полицейский говорит, такого сроду не бывало. Надо жуткую волю иметь, чтобы ноги не разогнуть!..

...Я видел этих детей на пляже. Я говорю о богатых детях и о косоносом Кемале. Они плавали, ныряли, гонялись друг за дружкой, зарывались по горло в песок, неумело, но азартно играли в бадминтон, милые, веселые, приветливые, ни в чем не виноватые дети. И я думал: неужели порча неизбежна, неужели их также ждет в будущем участь благопристойных, не подлежащих суду убийц?

*1968 г.*

## СТРАНА РОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Когда самолетное радио объявило, что наш рейс закончен и мы прибываем в аэропорт суданской столицы Хартум, мною овладело состояние какой-то расслабленной нереальности. Еще несколько минут тому назад я не верил, что будет посадка, вообще не верил, что слово «будет» существует для пассажиров и экипажа нашего самолета. Чуть не от самого Каира мы тщетно пытались вырваться из грозового окружения, грозы были вокруг нас и под нами; когда же мы пошли на посадку, они оказались сверху и, похоже, в нас самих. Самолетные плоскости не просто отражали взблески молний, но сами творили небесный огонь и слали его в неистовствующее пространство. Я глядел на красивый, озаряемый вспышками княжеский профиль моего спутника профессора Мачавариани. Характерная грузинская натяженность лба, носа и подбородка толкала мою память к другому тонкому, гордому профилю — грузинской актрисы Наты Вачнадзе, погибшей в пораженном молнией самолете. Сгореть факелом в небе — это шло такому необыкновенному, романтическому существу, как Ната Вачнадзе, трудно было бы вообразить для нее другую смерть, но это вовсе не шло таким тяжелым, заземленным людям, как мы с профессором, это не шло и нашей переводчице, стройной, сухопарой, резко-деловитой Елене Стефановой.

Но я не верил, что попаду в Хартум, и в другом, более широком смысле. Слишком уж не по жизни гладко и кругло все получалось. И месяца не прошло, когда, вынырнув из волглого октябрьского сумрака, окутавшего Подмосковьё, у дачного крыльца возникли три темнокожих человека, съезжившихся от холода, и голос

еще невидимой за пеленой измороси Стефановой произнес:

— Эй, в доме, встречайте гостей!..

Это были председатель Союза суданских писателей, поэт Мухаммед Махджуб, новеллист и переводчик Абдуллахи Ибрагим и суданец, так сказать здешний, молодой, очень передовой поэт Тили Абдул Рахман — он окончил Литературный институт имени Горького и сейчас учится в аспирантуре.

Я и не заметил, как сдружился с ними, особенно с близким мне по возрасту Мухаммедом Махджубом. У меня было ощущение, будто я спокон века знаю этого курчавого темнолицего человека с белыми неровными зубами, обнажающимися в широченной, безмерно доброй и милой улыбке. Его доверчивая открытость не имела ничего общего с пустой сентиментальностью, человек он деловой, пронизательный, умеющий четко выдерживать расстояние. Он любит поэзию, живопись и доброе в людях, и, когда сталкивается с этим, его прохладное достоинство пронизывается ярким накалом глубокой, чистой растроганности.

Вторую рюмку Мухаммед Махджуб поднял за мой приезд в Судан.

— Учти, это приглашение, — шепнула мне Стефанова, — они не бросают слов на ветер.

— Я охотно съездил бы...

— Тогда можешь принять тост.

Я так и сделал. И вот — вспышка молний, слепой охлест ливня по иллюминаторам, внезапный и безмерный блеск солнца, глухота, боль в черепной коробке, короткое обалдение и широченная, во весь оскал, улыбка Мухаммеда, застенчивая улыбка Абдуллахи и еще много, много прекрасных больших улыбок, — Союз писателей чуть ли не в полном составе явился нас встретить. Сердечность первых минут стала атмосферой всего нашего пребывания в Судане. И хотя цветы были только на аэродроме, а там — серьезные разговоры, споры, порой весьма жаркие, сейчас мне кажется, что нам, словно тенорам, то и дело дарили цветы, — так обставили нашу поездку эти изящные и добрые люди.

Мы прибыли в тот дневной час, когда жизнь замирает, склонившись перед всевластьем зноя. Сейчас, в начале ноября, температура воздуха достигала к полудню

тридцати восьми градусов. Суданцев этим, конечно, не удивишь, но даже для южана Мачавариани было чересчур. Мы расселись по горячим машинам и помчались мимо закрытых магазинов и парикмахерских, бездействующих оффисов и министерств к нашему отелю на берегу Голубого Нила. Часа через три, когда в преддверии быстрой южной ночи зажгутся на закате фонари, все лавки вновь откроются, все учреждения продолжат свою работу, каждый завершит оборванное дневным зноем дело, движение, жест, фразу, и все это произойдет с той безмятежной простотой, как в спящем королевстве, пробужденном целительным поцелуем принца.

К отелю мы подъехали, развернувшись у соседствующего с ним зоопарка. Там за низенькой оградой спали в вольерах и клетках хищники, бегемоты, слоны, носороги и жирафы, обезьяны, считавшие, что они на свободе, а мы, их безволосые братья, — в клетке, нежные антилопы с глазами Софи Лорен, зебры в арестантских халатах и то необыкновенное, в неволе рожденное существо, о котором мы наслышались еще в дороге, — лигр — дитя львицы и тигра. Набрав в машину славного зверьевого запаха, мы лихо остановились у стеклянных дверей Судан-отеля.

Обычная вестибюльная суматоха, неотделимая от вселения в гостиницу, даже если номера забронированы загодя, затем — по стакану ледяного оранжада на посошок, — и толпа встречающих удаляется до вечера, а с нами остается один Махджуб. Он хочет лично убедиться, что все в порядке: номера удобны и глядят на Нил, айркондишен бесшумен, термос заправлен, все лампы горят, все звонки звонят...

И вот я один в номере с широкой низкой кроватью и удобной красивой мебелью. Хочется спать, но все же я выхожу на балкон. В лицо ударяет жаром паровозной топки. Конечно, эту сухую накаленность нельзя сравнить с влажной, душащей жарой приморского юга, например Рангуна, где мне недавно пришлось побывать, но все же я поспешил захлопнуть дверь и включить на всю мощность айркондишен.

Проснулся я в тот странный час, что соответствует нашим северным вечерним сумеркам, а здесь налит блеском солнца и небесной синевой, лишь под деревьями сгустились лиловые тени. Вышел на балкон. Жара

спала. Прямо передо мной за рослыми, толстоствольными акациями — каждая с наш матерый дуб — медленно нес свои воды Голубой Нил. Шесть лет назад в Луксоре я так же смотрел с гостиничного балкона на величавое течение Нила, а внизу кричали и нахлестывали костистых одров полуслепые извозчики. Как похоже сегодняшнее на давно прошедшее: набережная, высокие деревья, желтая, мутная, медленная вода. Конечно, кое-что изменилось. Был я тогда моложе, здоровее да и поудачливее — возле находился любимый человек, а в остальном сравнение в пользу нынешнего времени: и номер у меня классом выше, и не сидят на потолке плоские, серые, будто из газеты вырезанные ящерицы, и не трепещет во мне неуголенное, завистливое туристское любопытство...

На деревья опускаются большие темные птицы с хищными клювами из рода коршуновых — за все пребывание в Судане мне так и не удалось узнать их европейского имени. Они распластывали крылья и, казалось, недвижно висели в воздухе на манер геликоптера, затем плавно приветвлялись и застывали гигантскими шипами акаций, а вскоре поглощались тьмой, источаемой стволом и листвой дерева.

А на соседнюю акацию прилетели всей семьей аисты; они выбрасывали перед посадкой длинные ноги, устремленные вперед, будто шасси самолета, тормозили выкруженными крыльями и садились на ветви далеко не столь плавно, как их хищные соседи. Уже окогтив сук, они долго трепыхались, пока не обретали равновесие и покой.

Мне показалось, что во главе семьи я узнал святогорского аиста, каждый год прилетающего на берег Сороти, чтобы построить гнездо на тележном колесе в расщепе старой обезглавленной сосны. У святогорского аиста точно такое же умное, сосредоточенное, задумчивое лицо. И тут к речной заводи прошли косяком кряквы, а сторонкой прошелестел, прозвенел стрелой чирок-трескунок, и это было уже чересчур, ибо я их всех тоже узнал — мы встречались на осенней охоте в Мещере. Так вот куда они направляются, когда ледяная корка задерживает озеро Великое и замолкают на нем выстрелы и голоса, а мой приятель егерь-инвалид Анатолий Иванович печально несет домой через хрустящие

болота свое скупое, легкое тело, опираясь о землю одной ногой и резиновыми насадками костылей.

Судан нежно и странно соединился с моим при-  
вычем, с родной и милой Мещерской землей, с тем  
многим и разным, что она мне дала в жизни, и я сходу,  
прямо в день приезда, смертельно затосковал о доме,  
обо всем оставленном позади...

По счастью, раздался стук в дверь, и появились мои  
спутники, а за ними улыбающийся Махджуб, и застен-  
чивый Абдуллахи, и поджарый элегантный прозаик  
Абу-Бекр Халед. Надо было начинать знакомство с го-  
родом, в первую очередь с президентским дворцом, а  
затем ехать на встречу в университет, а еще позже на  
свадьбу в Омдурман, прежде же всего полагалось вы-  
пить кофе или чаю и непременно ледяного лимонного  
сока, или оранжада, или хотя бы содовой воды. Ни одно  
дело не начинается в Судане без того, чтобы чего-ни-  
будь не выпить. Куда бы вы ни пришли, вам прежде  
всего предлагают какое-нибудь питье, деловую, солид-  
ную порцию жидкости: горячего чая с мятой или кар-  
каде, по вкусу и цвету напоминающего клюквенный  
морс, ледяного оранжада, лимонного сока, содовой или  
пива. Обычай этот порожден не отвлеченной вежливо-  
стью и гостеприимством, а самозащитой: надо постоянно  
сохранять необходимое количество влаги в организме,  
иссушаемом жарой. Но, как и всегда бывает у людей,  
обычай оторвался от своей физиологической основы, и  
вас накачивают напитками с утра до ночи в количестве  
едва ли полезном.

Столица Судана Хартум, давшая свое имя знамени-  
той конференции арабских стран, состоит из трех ча-  
стей: собственно Хартума, Хартума-норд и Омдурмана.  
Хартум — это административный центр страны, здесь  
находятся президентский дворец и все правительствен-  
ные учреждения, посольства и банки, а также универси-  
тет, всевозможные училища, музеи, превосходные со-  
временные отели. Архитектура города в эклектическом  
английском колониальном стиле — викторианская бур-  
жуазность сочетается с элементами национального свое-  
образия. В миниатюре то же явление повторяется в  
районе новостроек близ аэропорта. Зажиточные люди  
столицы — купцы, землевладельцы, крупные чиновники  
застраивают недавний пустырь нарядными коттеджами.

Обычно владельцы сами живут в этих коттеджах со своими семьями, но иногда и сдают поэтажно. Домики очень живописны и своеобразны, не найдешь двух схожих — типовое строительство тут не в моде, но стиль не поддается расшнуровке: смесь дворца с бунгалом, Шахразеды с модерном, но зато красиво, ярко, многоцветно, комфортабельно, и даже худшие здания остаются в пределах вкуса.

В Хартуме есть заводское, фабричное и ремесленное производство. Здесь выделывают кожи, производят пищевые продукты, различные строительные материалы, кирпич; здесь шьют, тачают, столярят, плотничают, режут по кости, камню и меди. Лежащий на другом берегу Голубого Нила Хартум-норд располагает верфью для речных судов, предприятиями по первичной обработке пищевых продуктов, железнодорожными мастерскими.

Чтобы попасть в Омдурман, надо перейти мост через Белый Нил, находящийся неподалеку от слияния двух Ниллов. Одноэтажный, слепой Омдурман — дома по-южному глядят внутрь дворики — с его огромным, шумным, вонючим рынком, осликами, верблюдами и допотопными желтыми автобусами, разбегающимися от рыночной площади по сельским местностям, с крошечными кофейнями, пряно-пахучими обжорками, кричащими рекламами кино, с его аукционами, балаганами, свадьбами и футбольными воротами без сетки на каждом пустыре — типично арабское поселение.

Суданцы любят свой Омдурман, полный громкой и яркой жизни. Во время национально-освободительного восстания в прошлом веке махдисты, разбив турок и заняв Хартум, перенесли столицу в Омдурман. И сейчас еще говорят иные суданцы: Хартум — административный центр, Омдурман — народная столица. Но мне думается, правы те, кто считает: Хартум, Хартум-норд и Омдурман — три лица одной суданской столицы.

Прием в нашу честь в университете состоялся под открытым небом. Посреди лужайки, подстриженной на мапер травяного теннисного корта, стояли сдвинутые торцами длинные столы, а на них — вазы с фруктами, торты, печенье, конфеты и различные приторные даже на вид южные сладости. Вокруг — прекрасный, задумчивый сад. Сквозь сумрак — солнце, разбросав жарптичье оперение, уже потонуло в Ниле, — грозно атели

канны, нежно и маняще розовел тоб — легкое, газовое покрывало молодой жены декана, хозяина вечера. Покрывало изящно окутывало ее стройную фигуру, облачком вздымалось над маленькой, модно причесанной головой, но, как и всем суданкам, оно постоянно чем-то мешало жене декана, и она то собирала его складками, то нетерпеливо запахивала вокруг тонкого тела, то зарывалась в него всем милым лицом, сама себе мешая протестующим движением плеч.

Разговор, естественно для места встречи, коснулся образования, а тут все карты в руки Владимиру Мачавариани, профессору Тбилисского университета. Я же, словно предвидя, как редко доведется нам видеть женщин на приемах, углубился в тихий разговор с алым газовым облачком. Наш спотыкающийся английский тоже свернул на вопросы образования: алое облачко — учительница.

Ликвидация неграмотности — одна из главных проблем Судана. Стране необходимы образованные, хотя бы просто грамотные люди. В сельских местностях ничтожно малая часть детей ходит в школу, в городах дело обстоит несколько лучше, но даже в столице посещаемость школ явно недостаточна. Основная беда не в отсутствии школьных помещений или преподавателей — родители неохотно отдают детей в школу. Нужны рабочие руки в семье, а ребенок семи-восемью лет уже может помогать отцу в поле. Таким образом, проблема образования напрямую связана с экономикой, с материальными условиями жизни народа и не может решаться сама по себе.

Из алого трепещущего облачка ко мне поступило много любопытных сведений. Оказывается, многоженство в деревне выгодно, потому что жены и дети — рабочие руки. Многодетная семья скорее себя прокормит, чем бездетная. Интересно, что самый громкий протест против уничтожения многоженства исходит от... женщин. Ход рассуждений прост: что я одна буду на семью ишачить и в поле, и дома, и на базаре, пусть и другие горбину гнут. Сторонники женской эмансипации имеют главных противников в лице самих женщин...

На приеме мы познакомились с видным литературным деятелем, председателем иностранной комиссии Союза писателей Судана Абдаллой Хамед аль-Амином.

Тяжелая, неизлечимая болезнь навечно приковала его к креслу на колесиках, оставила его узким, изящным рукам подвижность лишь от пальцев до локтя. Но болезнь не лишила его дух бодрости, ум — силы и работоспособности. Абдалла пишет критические статьи, регулярно выступает по телевидению, ведет большую работу в Союзе писателей, участвует в мероприятиях Общества судано-советской дружбы и ко всему еще изучает русский язык. Абдалла любезно пригласил нас на свадьбу близкой родственницы, вышедшей замуж за молодого художника...

В десятом часу вечера мы прикатили в Омдурман и долго кружили по каким-то кривым немощным улицам, освещенным лишь идущим на ущерб месяцем. Фары «мерседеса» выхватывали из темноты длинные, тонкие фигуры в белых джеллабах, похожие на привидения. Порой казалось, что под белой тканью скрываются ходули. До чего рослый и красивый народ! Впечатление такое, что находишься в сказочной стране Баскетболии. Ночной порой эти длинные белые, с лунным отблеском фигуры казались баскетболистами не земных, а небесных пределов из сборной команды ангелов.

Когда мы наконец прибыли к месту назначения, свадьба была в самом разгаре. Гости заполняли обширный двор невестиного дома — мужчины по одну сторону, женщины по другую — и слушали джаз-оркестр; четверо невероятно худых, шарнирных и пестро одетых юношей извлекали максимум ритмов и шума из пианино, электрогитары, барабана и саксофона.

Что сказать о женихе? Молодой славный парень из той же баскетбольной рати, одаренный, как говорят, художник, с покоряющей суданской улыбкой. Невеста же в белом покрывале, оставляющем открытой голову с драгоценной прической, фарфоровое, важно-печальное лицо и стройную шею, украшенную ожерельем, принадлежала, несомненно, к редкостным удачам творца. Создавая ее, вседержитель чувствовал себя одновременно Роденом и Боттичелли: совершенство сильной формы он населил тонкой, зыбкой, словно пульсирующей прелестью духовности. Казалось, красота не дана ей раз и навсегда, а непрерывно творится заново в ее чертах и персиковых красках. Она все хорошела, меняя оттенок красоты, то чуть увядая в усталости, но обретая

новое очарование, то наливаясь жизнью, словно соком, и хотелось крикнуть: «Остановись! Не все так счастливы, как твой жених!..»

Но все эти перемены в ее облике носили подспудный характер. Внешне она оставалась невозмутимой, безучастной к происходящему. Это требование этикета: невеста должна вести себя так, будто все вокруг ничуть ее не касается. В строгой, отвлеченной сосредоточенности прощается она со своей девичьей долей, вступает в новую, взрослую жизнь. Говорят, в конце свадьбы невеста выходит из летаргии, исполняет танец, воплощающий ту же идею, но мы не дождались этого танца, сломленные усталостью.

От жениха, напротив, требовалась непосредственность. К нему то и дело подбегали друзья его холостых дней и справляли некий своеобразный обряд: они щелкали пальцами, как в испанской пляске, полуобнимали жениха левой рукой, а правой, болтая кистью возле его затылка, воспроизводили постук кастаньет. Для этого большой, средний и указательный пальцы складываются щепотью, затем указательный расслабляется и при встряхивании кисти производит резкий, сухой звук. Неисповедимы пути судьбы: в четвертом классе школы я и мои одноклассники были помешаны на этих пальцевых кастаньетах. Кто занес заразу — ведать не ведаю, но все мальчишки класса с утра до ночи упражнялись в нелегком искусстве. Я довел до отчаяния мою бедную мать, она не расставалась с мокрой тряпкой на голове. Не столько бесконечный потреск ее угнетал, сколь горестное открытие, что она дала жизнь полуидиоту. И вот спустя столько лет мое детское упорство было вознаграждено. Осушив стакан скотча с содовой, я подскочил к жениху и на высшем уровне исполнил обряд пожелания добра и удачи. «Будь счастлив, друг, мир и радость твоему дому!» — протрещали мои неотвыкшие пальцы у его затылка. Успех превзошел ожидание, суданцы никак не ожидали подобной прыти от европейца.

Подбежал фотограф и снял нас с нескольких точек. Фотографирование на свадьбе тоже возведено в ранг ритуала: нас еще около десятка раз вызывали фотографироваться с молодыми при участии то подружек невесты, то друзей жениха, то почетного гостя и родича Абдаллы аль-Амина, то в окружении детей — их было тут

едва ли не больше, чем взрослых. Дело считалось настолько серьезным, что даже невеста, изменяя своей каменной неподвижности, прихорашивалась медленными, плавными, как под водой, движениями.

На утопанной земле посреди двора не прекращались танцы. Оркестр играл твисты, мамбо, шейки, и под будоражащую эту музыку на кругу трудились девочки от восьми до двенадцати лет: в белых платьицах, модно причесанные, при сережках, в туфлях на высоком каблуке. Одна из них, некрасивая, сутулая, большеротая, но с яркими, огненными глазами, танцевала мастерски. Она словно предчувствовала, что в жизни ей придется брать не внешностью, а чем-то другим, и поражала присутствующих недетской ловкостью вызывающих, ломаных движений. Остальные были завидно старательны и по-щенячьи неуклюжи. Я впервые заметил, что у девочек ступни непомерно велики. Когда на них сандалеты или тапочки, это не бросается в глаза, но модные туфли на шпильках подчеркивают смешное и трогательное большестопие маленьких дам.

На площадку вышел еще один танцор: черный, курчавый, очень модный кавалер лет четырех — и принялся ввинчиваться в землю — оркестр играл твист. Потом он так же истово трясся в шейке, корчился в мамбо. Видит бог, он не был маленьким Лифарем, Нижинским или Вахтангом Чабукиани, но его трудолюбие и самоотдача вызывали уважение.

Традиционный национальный женский танец — позже, в одной из деревень, мне назвали его «танцем верблюда» — исполнили три самые красивые подружки невесты.

Этот танец содержит минимум движений: под еле приметный переступ все сильнее прогибается позвоночник, вытягивается шея, закидывается голова, и необъяснимо грозно и мощно вздымается, как опара, грудь. В танце сочетается нечто маняще-женское с целомудренно-материнским. Грудь — животворный источник, дарящий желание любимому, а равно и пищу рожденному любовью. Опаляющую силу этого танца невозможно передать словами, его надо видеть. Несколько девочек, в том числе большеротая дурнушка, старались подражать движениям взрослых женщин и что было мочи таращили свои плоские, цыплячьи грудки.



«Танец верблюда»



Свадьба

Впрочем, у дурнушки и тут что-то получалось, талант заменял ей плоть.

А на женской половине не прекращалось волнующее брожение: одни уходили, другие приходили, третьи перемещались с заднего плана на передний, все в нарядных, чудесных оттенков тобах, в бусах, ожерельях, браслетах, шоколадные, и почти черные, и слабой желтизны слоновой кости, и орехово-смуглые, и совсем светлые, даже бледные, с подрумяненными щеками. Судан — страна переходная от арабской к Черной Африке. Арабский и негроидный типы дают здесь бесконечную гамму сочетаний, я никогда не видел столь дивного калейдоскопа. Но вот появилась громадная, как башня, женщина в фисташковой тобе поверх бледно-розового платья, на плоскостях ее лица цвета эбенового дерева электрический свет мерцал, словно лунное отражение на воде, в ноздре сверкало серебряное кольцо, в ушах — обручи сережек, на крутом всхолмье груди покоилось тяжелое золотое ожерелье. Прекрасная великанша разломилась тесный круг женщин, заняла свое место, повернулась лицом к танцевальному кругу, улыбнулась, показав кипень зубов и малиновую пещеру зева.

Я все ждал, когда же появится хоть один пьяный, и наконец он возник на круге — шутейный человек в желтом, расстегнутом до пупа халате и полуразвившейся чалмушке. А лицо доброе, растроганное, без всякого хмельного нахальства. Он стал дирижировать оркестром, не обратившим на него никакого внимания, прищелкивать танцующим, потом и сам немного покружился. К нему подбежал дружка жениха и со смехом увлек за собой, будто желая показать что-то занятное. Все чинно, мягко, благородно, пьяный не испортил свадьбу, напротив, придал ей недостающую краску.

Между тем усталость, острота дневных впечатлений, слабо разбавленное виски, духота ночи, набитой звездами, как решето черешнями, сытная еда — нас непрерывно потчевали, — недоступная прелесть чужого счастья, груз лет и переживаний, к ночи становящийся непосильным, окончательно доконали меня. Мачавариани уехал еще раньше, у него была назначена встреча с каким-то лингвистом. Я попросился домой. Перед тем как началась прощальная суматоха, я в последний раз с необыкновенной отчетливостью увидел всю свадьбу

с луной и звездами вверху, дувалами и деревьями округ, увидел невесту в ее печальной сосредоточенности на пороге неведомого, устало-счастливого жениха, улыбающегося Абдаллу в кресле на колесиках, симпатичного пьянчужку в желтом расстегнутом халате, неумоимо пляшущих детей, великолепных женщин во главе с доброй великаншей, увидел красоту, грацию, нежное достоинство всех этих людей и запомнил на всю жизнь...

Накануне нашего первого путешествия по стране мы побывали в одном литературном доме. Сам хозяин дома никакого отношения к литературе не имел и, похоже, не слишком жаловал это занятие, он человек деловой — специалист по обуви. Надо полагать, специалист хороший, ибо построил от трудов своих превосходный коттедж в аристократическом квартале близ аэропорта и живет на широкую ногу со своей семьей, слугами, золотыми рыбками в аквариуме, птицами в клетках, газелью на привязи посреди зеленой лужайки перед домом. Он любит свое дело, жену и детей, охоту и рыбалку, но еще он любит хорошую компанию, застольные песни, разговоры и крепких на спиртное собутыльников. Поэтому он охотно делит общество друзей и коллег своей жены, писательницы-очеркистки, очаровательной Хадиджи. Эти люди — литераторы, поэты, журналисты, редакторы журналов, а еще тут бывают парламентарии, художники, артисты — люди компанейские, острые на язык, с немалым жизненным опытом.

Наше появление в этом нарядном, щедром и гостеприимном доме началось с маленького происшествия. Я только успел поздороваться с хозяевами и немногими гостями, как маленькая газель, взяв разбег, изо всех сил боднула меня в живот. Быстрота реакции, сохранившаяся во мне с той далекой поры, когда я играл в футбол, спасла меня от участи Абеяра. Я мгновенно согнулся и принял голову газели с твердыми, острыми рожками, как мяч, самортизовав удар. А потом мы подружились с маленькой злокой, и весь остальной вечер она охотно позволяла мне трогать ее нежный нос, крепкий лобик и ребрастые теплые рожки.

Разговор носил, естественно, литературный характер. Сама Хадиджа — автор большой книги о Китае, куда она ездила более десяти лет назад, в пору больших успехов молодой Китайской республики. Она отказалась

подарить нам эту книгу. «Зачем? — сказала она печально. — Книга безнадежно устарела, сейчас надо писать совсем о другом».

Хадиджа, мать шестнадцатилетней дочери, сохранила девичью статью; английский костюм в обтяжку подчеркивает стройность ее точеной, легкой фигуры. У нее гордый постав головы, нежная шея, скульптурное лицо. Хадиджа — красавица. Она женщина завтрашнего Судана: писательница, журналистка, общественная деятельница. Хадиджа лихо водит машину, посещает клуб и собрания, участвует во всевозможных конференциях, ездит по странам мира, всем своим смелым поведением она утверждает право женщин на равенство с мужчинами.

Будьте счастливы, друг мой Хадиджа, в своем доме с рыбками, птицами и бодучей газелью, в своей хорошей, красивой семье, будьте счастливы в большом доме своей родины, в большой семье своего народа, которому вы хорошо служите каждым своим смелым жестом, гордым вскидом головы, даже тем, что, лишь выезжая в Европу, надеваете национальное платье...

...В Порт-Судан мы должны были вылететь днем, но самолет опоздал ни много ни мало на восемь часов. Нас провожала Хадиджа. Она мило рассказывала, как несколько дней назад на крышу соседнего дома рухнул пассажирский самолет. Она тут же оговорилась, что это был иностранный самолет, суданские опаздывают, но не падают.

Она стояла под фонарем дневного света, темно-бледная, с серебристо-лиловыми губами, очень красивая.

Аэродром Порт-Судана встретил нас горящими площадками с мазутом, четко отмечавшими посадочную площадку.

— Если будет воля Аллаха, — произнес голос самолетного диктора, — то через несколько минут мы приземлимся в Порт-Судане.

Аллах был милостив, и мы действительно благополучно опустились в паркую духоту красноморского городка. Огромный, как винт самолета, вентилятор в просторном номере отеля «Красное море» дал мне не только желанную прохладу, но и ощущение продолжающегося

полета, на всю ночь полета, заведомо безопасного и независимого от воли Аллаха.

Посадку я совершил в раннем утре, напоенном солнцем, запахом цветов из внутреннего сада и криками худых элегантных галок. И начался один из тех странных дней, что потом вспоминаешь как нереальность, ибо творящееся в нем не имеет отношения к твоей жизни, к твоей заботе, твоей беде, но все равно как-то вплетается в ткань души и становится ее частью. В этом дне было многое: красивый город, порт, ощерившийся жирафьими шеями кранов, корабли на рейде и у причала, на разгрузке-погрузке, корабли Англии и Голландии, Норвегии и Греции, Панама и Мартиники, и щеголеватый, с иголки, наш советский «Демьян Бедный», гигантский элеватор, построенный нами для Судана, возвышающийся над портом, над всем городом, словно замок или храм; бедуинский базар, где торгуют хворостом, сеном, просто травой, фасолью, овощами, пряной едой на прогорклom оливковом масле, где медленно жующие верблюды с подвязанной правой ногой неловко отпрыгивали с пути нашей машины, а их хозяева, откинув с коричневых глаз завитые в косицы волосы, провожали нас заинтересованным взглядом; прогулка на катере со стеклянным дном над зелеными пропастями и мерцающими коралловыми замками, над жирными водорослями и огромными ракушками, над медлительными, сонными морскими окунями и резвой мелочью — будто горсть монет бросили в воду, над плоскими камбалами, помахивающими шелковыми одеждами, над горбоносими темными уродцами и сребротелыми красавицами — увлекательное путешествие, словно подглядываешь в чужие окна, и все это под нежное воркование молодой пары, совершающей свадебное путешествие (ведь начался счастливый месяц свадеб), пары, настолько похожей на хартумских молодоженов, что, казалось, мы вновь приглашены на их нескончаемый любовный праздник. А потом настал вечер, и мы поехали в порт, и закатное небо было тускло- и грозно-оранжевым, с огненным взрывом между двух сизых туч, небо гибнущей Помпеи; мы петляли среди бесконечных хлопкохранилищ (длинноволокнистый хлопок наряду со смолой для гуммиарабика — основа суданского экспорта), и крепко, ядрено пахло то нефтью, то свежей

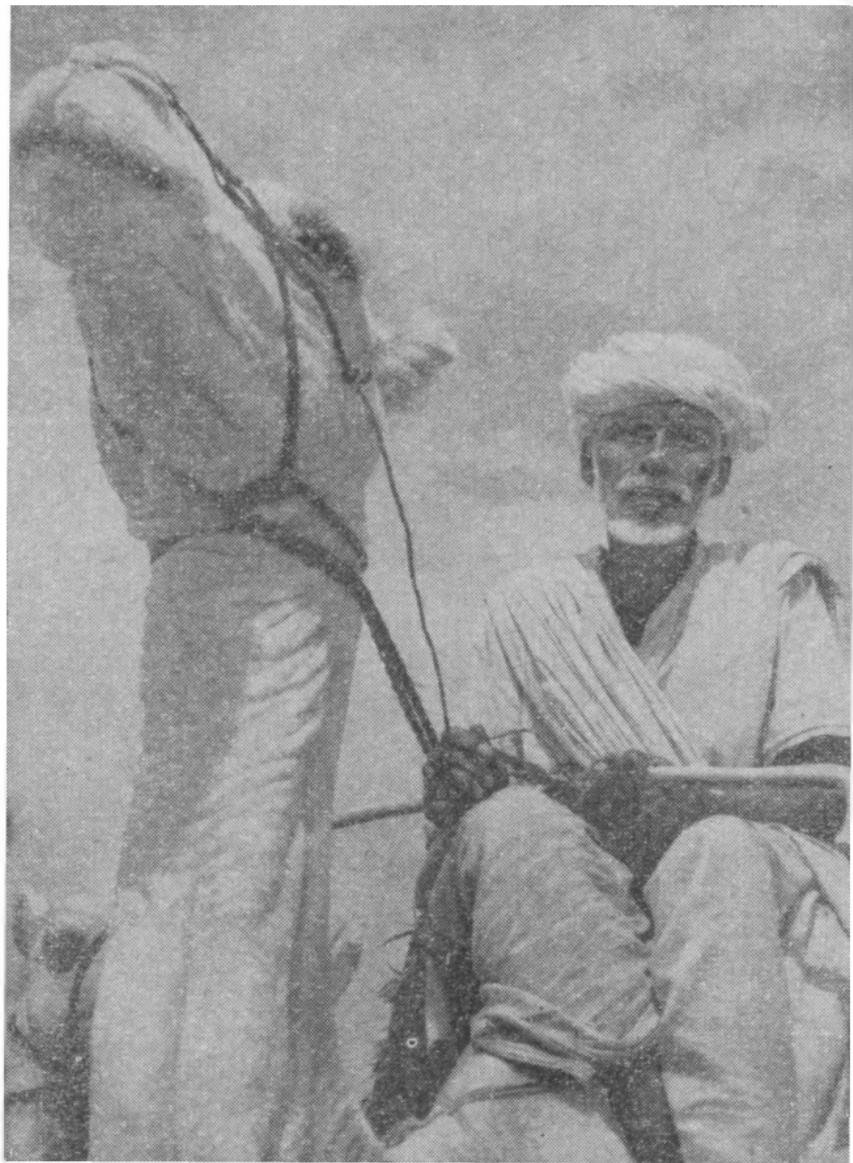
древесиной, то фруктовой порчей, и высились возле полосатых будок худонogie стражи в шортах, обмотках и фетровых шляпах, похожих на ковбойские...

В заключение долгого, богатого впечатлениями дня у нас состоялась встреча в клубе выпускников. Под выпускниками подразумеваются окончившие высшие учебные заведения, но практически такие клубы объединяют интеллигентных людей независимо от образования. В прошлом деятельность клубов носила четкую политическую окраску, играла роль в борьбе за независимость Судана, ныне остались только культурные цели.

Все последующие встречи с суданской интеллигенцией в Вад-Медани, Эль-Обейде в той или иной мере повторяли первую нашу встречу под ночным бархатным небом Порт-Судана. Сперва подали кофе в маленьких керамических кофейниках с узкими носиками, заткнутыми сухой травой на предмет фильтрации, затем — мятный напиток и чай с молоком, после оранжад, кока-колу и лимонный сок, затем опять: кофе, мята, чай, прохладительное, и так без конца. Под непрерывное омовение внутренностей шел горячий разговор об искусстве, о связи литературы с жизнью, с делами и чаяниями народа.

Нас поразило — впоследствии мы к этому привыкли — сочетание живого, искреннего интереса к нашей стране, ее культуре, искусству, литературе с полной неосведомленностью. Ошеломляющим открытием явилось для наших слушателей, что советской литературе присуще многообразие стилей, что у нас равно есть писатели, тяготеющие к русской классической традиции и к современной западной манере; что наша литература находится в живом, активном обмене со всей мировой литературой...

На другой день мы отправились в мертвый город Суакин, в сорока километрах от Порт-Судана. Давно минуло время, когда Суакин был преуспевающим морским портом, ведшим обширную торговлю со всем миром. Особенно процветала торговля невольниками. Но к концу прошлого века оскудел невольничий рынок, бухта заросла кораллами и центр морской торговли переместился в бурно растущий Порт-Судан. А Суакин с его прекрасными многоэтажными зданиями, банками, отелями, магазинами, портовыми сооружениями, при-



Бедуин

станью, мечетями заглох и стал быстро разрушаться под действием соленых бурных ветров. И наконец вовсе опустел. Даже уничтоженные стихийными бедствиями — землетрясением, ураганом, наводнением или войной — города восстанавливаются, а тут тихо, без бурь и потрясений, бесславно умер большой цветущий город.

Наш путь лежал через пустыню. Ее серое однообразие изредка нарушалось караванами верблюдов,

овечьими отарами и становищами бедуинов. Вечные кочевники, нищие из нищих, бедуины всегда в движении: таскаются по пескам и собирают хворост. Затем, навьючив верблюдов, отправляются на базар, где сбывают за бесценок сухое топливо пустыни. На вырученные гроши покупают спички, соль, муку, чай. Их одежда — грязная ветошь, их дома — изодранные шатры.

Куда зажиточнее бедуины полуседлые, занимающиеся разведением овец и коз. Они довольно длительное время живут на одном месте — пока не оскудеют пастбища, заводят огороды, сажают кукурузу и для охраны ставят чучела, напоминающие скульптуры абстракционистов. Жизнь творит порой странные чудеса. Мы ехали мимо такого временного пристанища бедуинов, сухо шелестела кукуруза с обобранными початками, помахивало рукавами драной джеллабы чучело, шевелились кошмы шатров, и вдруг невесть откуда возникла женщина: статная, гибкая, с модной прической, в туфлях на шпильках и европейском платье, открывавшем шею и смуглые легкие руки, радостная, с огромной улыбкой, обращенной к дымчатому от зноя небу, она побрела куда-то в пустоту, осторожно ставя свои точные ножки на острых каблуках.

Я спросил нашего спутника Абу-Бекра, что означает это явление. Он ответил кратко:

— Женщина.

Я уже и прежде заметил у него манеру определять окружающее простейшими, изначальными понятиями. Летит ярко-красная с кобальтовой головой птица. Я взволнованно спрашиваю:

— Что это, Абу-Бекр?

— Птица, — отвечает он важно.

— Какая птица?

Он смотрит недоуменно:

— Птица.

Странный куст, словно растрепанный бурей, возникает обочь дороги.

— Что это, Абу-Бекр?

— Растение.

Может быть, он по-своему прав. Мы так замучили мир названиями, что он утратил свое единство, свой общий, главный смысл и образ. Абу-Бекр возвращает

миру его первозданную значительность. В самом деле, разве так важно, кто это: жена, дочь или невеста бедуина? Пошла она за водой, за хворостом или за вяленой козлятиной?

Важно вот что: пустыня, небо, прекрасная женщина...

В Суакин мы прибыли в час зноя, промчались по пустынной улице пригорода и оказались среди высоких красивых усопших зданий. Сохранились броские, гордые вывески торговых компаний, банков, отелей, магазинов, в разломах стен видны просторные, комфортабельные квартиры. Улицы расчищены от обломков, похоже, разметены, но это — прибранность покойника. На другом конце города, на острове мыса, вздымается над водой громадный полувосставший из руин отель. Справа открывается море, впереди безумно сверкает лагуна, испятнанная парусами рыбаков, а слева чуть ли не до самых синих гор разворачиваются солончаки — серая равнина с фольговыми намывами соли. В отеле нас ждало питье и накрытый стол: блюда с жареной печенкой, почками, бараниной, салатами, консервированный ананас и вкусный пресный хлеб.

Но мне не пилося, не елось. Разрушенный город странно и мучительно связался с моей судьбой, с моим внезапным одиночеством; что-то неестественное, незаконномерное было в его гибели посреди цивилизации. Ну, заросла бухта кораллами, но ведь от них не так уж сложно избавиться с помощью взрывчатки. Казалось, некая иная, не поддающаяся расшифровке мистическая причина изгнала отсюда жизнь. Быть может, и людей губит неспособность разобраться, найти истинную причину разлада, какое-то отсутствие веры, — вот, слово найдено; отсутствие веры погубило Суакин. Веры в то, что город может жить, не будучи главным и единственным портом Судана. Отсутствие веры породило сперва апатию, затем слабость и страх, а страх погнал людей прочь из насиженного места, из отчего дома, город был предан.

Так думал я, стоя на высокой террасе отеля, над ярко блестящей синей водой, менявшей свой цвет вдаль, за косицами, на изумрудный. Парили альбатросы и чайки, выписывали быстрые круги голуби, живущие под стрехой гостиничной крыши, коршуны высматривали верхоплавков, повиснув на широких недвижных крыльях,

замерли в сухих камышах на одной ноге, вытянув тонкие шеи, белые цапли, и я чувствовал, что люблю Африку, люблю Суакин и хочу, чтобы он жил опять, потому что и на себя не признаю права смерти, я еще способен к радости и жизни, но чего-то во мне недостает, быть может той же веры...

На террасу веселой гурьбой ввалились мои спутники с чашечками душистого кофе в руках.

Мне стало грустно от вторжения шумной и смешливой жизни в мою тишину. Я спустился с террасы на раскаленную улицу. Напротив находилась почти разрушенная мечеть, и оттуда возник тот, кого я бессознательно ждал. Скелетно-худой, орехово-темный, изморщенный, будто выветренный сухими ветрами пустыни, древний, но сохранивший резкую подвижность старик в грязной лохмотной джеллабе и такой же чалмушке вынес из мечети дивную, прозрачно-розовую раковину, растворившую в своем фарфоровом теле солнечный луч, раковину, слышно шумящую прибоем минувших лет, десятилетий, веков, даже когда ее держишь на расстоянии. Он вручил мне эту раковину и наотрез отказался от денег.

— Я хочу, чтобы вы добром помнили Суакин и любили его,— сказал он по-английски.— Хотите, я дам вам еще раковину, у меня есть... там,— он кивнул на брешь, возникшую на месте обвалившегося входа в мечеть.

Я шагнул было следом за ним, но он живо обернулся и закричал, указывая на мои ноги:

— Обувь!.. Обувь!..

— Я думал, мечеть не действует,— смущенно проворкотал я, сбрасывая сандалеты.

— Всякая мечеть действует, пока есть хоть один верующий,— убежденно сказал старик.— Я здешний муэдзин...

Он был не только муэдзином, но и старожилом, патриотом, гидом, хранителем мертвого города. Он любил Суакин, город предков, и не ушел отсюда с последними беженцами. Было время, когда здесь не оставалось живой души, кроме этого старика и его семьи. Но и тогда неукоснительно подымался он в положенные часы на шаткий минарет и оглашал тишину своим высоким голосом. Они жили впроголодь от скудного улова рыбы, они с болью наблюдали, как разрушается город, стано-

вась могилой самому себе, но верили, что это еще не конец. Первыми на развалинах появились туристы, и старик стал их проводником-экскурсоводом; вскоре отстроился отель, к окраинам Суакина приبلудились какие-то люди, поставили шатры, заменив их потом хижинами, а дальше — это открылось нам, когда мы покидали Суакин, — за границей руин выстроилось новое селение: бедное, грязноватое, с лавчонками и кофейнями, с базарчиком, с домовитыми хозяйками, носящими на голове тяжелые лотки с провизией, с голопузыми детьми, томными девушками, с разной живностью — осликами, собаками, кошками, с развалюшными грузовиками — и стало быстро набирать рост. Старик муэдзин не считает новоявленный поселок частью Суакина, но он видит в нем залог оживления мертвого города. Недаром же приезжали из Хартума специалисты и обследовали дно бухты, чтобы сделать ее вновь доступной для судов. Старик уверен, что доживет до дней нового Суакина.

Он водил меня среди развалин, среди домов, напоминающих пустые соты, и домов почти целых, требующих лишь ремонта, рассказывал мне о Суакине, и пустые улицы оживали, наполнялись шумной, разноязыкой толпой, в людском потоке мелькали жирные левантйские купцы и поджарые, продубленные солнцем и ветром морские разбойники, прекрасные женщины и веселые матросы, хитрые коммерсанты и бесстрастные чиновники, портовые грузчики, бродяги, ловцы удачи, корректные банковские служащие, полные горечи от постоянного соприкосновения с чужими деньгами, горластые зазывалы, торговцы запретными наслаждениями, кочегары, ремесленники, люди, украшающие жизнь, но сами не нажившие ни полушки. И звучал голос старика: «Наш город был грешен, но кто безгрешен на этой земле? Он не заслужил смерти, он должен жить!..».

И он будет жить, этот город, спасенный от гибели ценой любви и веры жалкого, нищего старика!

Что-то очень большое и важное для себя нашел я среди развалин Суакина.

Нашу следующую поездку мы предприняли в Вад-Медани, столицу провинции Голубой Нил.

Две великие реки несут свои воды по землям этой провинции: Голубой и Белый Нил, но она избрала себе имя Голубого Нила. Это самая богатая провинция Судана, опора его экономики, источник надежды, прообраз будущего. Всем этим провинция обязана знаменитому Проекту Гезира. Спокон века в половодье уходили в пустыню и поглощались песками нильские воды. Люди давно ломали головы, как бы сохранить бесценные воды и орошать землю в пору созревания урожая. В канун первой мировой войны был создан проект по искусственному орошению земель «междунилья», вскоре началось строительство плотины и огромного водохранилища. Но лишь через семь лет приступили к осуществлению проекта во всем объеме, для чего была создана объединенная судано-английская компания при участии местных землевладельцев. И вот стала плотина на Голубом Ниле, возникла система оросительных каналов, и на восьмистах тысячах фэдданов земли, отторгнутой у пустыни, забелел хлопчатник, дающий высококачественный длиноволокнистый «египетский» хлопок.

В 1950 году истек срок английской концессии, и Гезира была национализирована, во главе Проекта стало правление: совет и администрация. Хлопок уже не является единственной культурой, хотя и сохраняет свое ведущее положение,— значительные площади отведены под кукурузу. Для собственных нужд здесь сеют зерновые, рис, а также кормовые травы, позволяющие развивать животноводство.

Обо всем этом нам рассказал главный директор Проекта доктор Хусейн Идрис, самый красивый человек, какого я когда-либо видел в жизни и на экране: почти двухметрового роста, косая сажень в плечах, с тонкой талией, с лицом смуглого бога, с волевым сопряжением прямых, стрельчатых бровей и гордо-тонкого переносья, с мягким абрисом рта; когда он разговаривает, обнаруживается нежно-алый подбор нижней губы. Доктору Идрису лет тридцать пять, он агроном по специальности, окончил Хартумский университет. И вся остальная администрация Проекта состоит из суданцев, в большинстве своем получивших образование на родине. Здесь имеются несколько научно-исследовательских лабораторий, в них работают суданские ученые и специалисты. Когда-то, покидая Гезиру, англичане были

уверены, что их призовут назад: разве справиться арабам с таким сложным, гигантским хозяйством! Не призывали. Судан вырастил свою интеллигенцию и смело доверил ей руководство главным экономическим узлом страны.

Конечно, ни цифры, ни голые факты не могут дать представления о том чуде, каким является Гезира для Судана. Но даже на маленькое наше путешествие из Хартума в Вад-Медани пал отсвет этого чуда. Двести километров тащились мы на машинах по пыльному бездорожью вдоль не достроенного американцами сквернейшего шоссе, изнемогая от духоты, потому что нельзя было открыть окон из-за пыли, и все равно густая, жаркая, горькая пыль проникала сквозь какие-то щели, хрустела на зубах, забивала носоглотку и уши, превращала в грязный жемчуг капли пота на лбу, и липла к телу рубашка, а брюки и пиджак — хоть выжимай, и, как в бреду, мелькнул погребенный под пылью городок, и опять пустота, населенная лишь пылью, и какой-то пыльный сон объял меня, а когда я проснулся от тишины, прекратились толчки, качка и сотрясение машины — кругом были прозрачность, свежесть, зелень, кусты акаций с шипами, как гусарские шпоры, эвкалиптовые леса, порхали дивные птицы: красногрудые кукурузницы, названия других — лиловых с палевым, темно-зеленых с синим, сплошь оранжевых — я не знаю, и печальными монументами застыли плешивые задумчивые марабу, повесив длинные носы, и величаво брели коровы с маленькими головами и круглыми горбиками зебу — и все это породила желтоватая полоска воды — неширокий канал, стрелой уходивший за горизонт. Но лучше я выражу свои впечатления в библейской манере Абу-Бекра:

— Мы ехали — и не было ничего. Мы приехали — и стало все: растения, звери, птицы, ибо есть вода, а вода — это источник жизни.

Да, вода — это два хороших урожая в год и реальная возможность добиться третьего. Это фруктовые сады и эвкалиптовые леса, это тучные стада коров и буйволов, это отары овец, это поселки, созданные по проекту суданских архитекторов; это тяга к образованию, отсюда столько чисто, даже нарядно одетых школьников, столько щеголеватых веселых студентов педагогиче-

ского техникума; это повышенные культурные интересы — нигде нас так не эксплуатировали клубы выпускников, как в Вад-Медани, столице провинции. Особенно запомнилась мне одна встреча. Большую часть аудитории составляли седобородые шейхи: богатые купцы — тонкие ценители литературы, иные и сами пишут. В разгар увлекательного разговора шейхи вдруг извлекли молитвенные коврики, расстелили их на земле и стали молиться, обратив к востоку тонкие, точеные лица. Но один из старцев, торговец мануфактурой, потрясенный северным обаянием Елены Стефановой, расположил коврик как-то косо, чтобы не терять из виду стройных ног переводчицы.

А еще мы ездили в эвкалиптовый лес поглядеть на зеленых мартышек. Это довольно крупные блекло-зеленые обезьяны с белыми бакенбардами. Я впервые видел обезьян не в стойловом содержании. Они резвились среди огромных, наособь стоящих деревьев в просквоженном солнцем лесу без травы и подлеска и позволили вволю налюбоваться собой, а затем с небрежной грацией взлетели на деревья и в свою очередь стали наблюдать нас. Убежден, что у них осталось неважное впечатление. Верно, они решили, что двуногие, бесшерстые, грузные и неловкие существа — их убогие предки, которые еще недопроизошли в обезьян. Эти существа шли тяжело и медленно, то и дело спотыкаясь, ничего не видя вокруг, даже горящих из листвы насмешливых глаз, потом они сунули в рот какие-то белые трубки, задымили и стали кашлять от дыма и плевать. В доверчивой глупости недообезьяны сложили под деревом бананы и апельсины, не понимая, что их запасы станут добычей ловких хозяев леса, забрались в клетки на колесах и, окутавшись вонючим дымом, укатили из блаженной прохлады леса в зной и пыль.

Зеленые бандарлоги вдосталь посмеялись над нами и вмиг растащили горюшку фруктов...

Уже на закате мы увидели чудовище. Оно появилось на песчаном бугре, поросшем низкой жесткой травой, не то птеродактиль, не то археоптерикс, изогнуло гибкую шею и закинуло голову, задрав к небу гигантский клюв с крюком на конце. За шумом машины не слышен был дьявольский хохот, но я убежден, что чудовище хохотало, его крылья приподымались, сотрясае-

мые адскими раскатами. Лишь потом я смекнул, что в нем, может, и метра не было, это холм, кровавая подсветка, игра теней наделяли его громадностью.

— Кто это? — потрясенно спросил я Абу-Бекра.

Он не спеша обернулся.

— Птица, — сказал важно.

И я подумал, что величаявая манера нашего спутника порой идет просто от незнания родной природы. Но осуждать его за это я не имею права. Откуда взяться пришвинскому дотошному любопытству ко всяким птицам, зверушкам, жукам и травам, когда существует столько неотложных проблем: вода, бедуины, неграмотность, груз пережитков, одиночество юношей, которым вековые предрассудки не позволяют подступиться к девушкам, что уродует их психику и физиологию, да и мало ли о чем еще нужно писать!.. А название чудовища я все-таки узнал: китоглав...

Поездка на запад в провинцию Кордофан, знаменитую славным историческим прошлым, полным безводьем — на всю огромную территорию ни реки, ни озера, ни даже ручья, — гуммиарабиком и растением каркаде, напомнила мне далекие фронтовые дни. Когда после контузии и демобилизации из армии я стал работать беспогонным военным корреспондентом мирнейшей газеты «Труд», я точно так же добирался до переднего края. Сперва второй эшелон: Политуправление фронта, при котором располагался корреспондентский корпус, затем армия, дивизия, полк, батальон и, наконец, окопы. На армейском языке это называлось «спуститься до отдельного бойца». Наше путешествие строилось тоже поэтапно: прилет в столицу Кордофана, славный город Эль-Обейд, где начиналось махдистское восстание, оттуда легковой машиной в уездный центр Бара, затем грузовиком в село Аль-Башира и, наконец, деревенька Тейиба и там контакт с «отдельными рядовыми бойцами» суданской жизни — феллахами.

Отцы провинции Кордофан еще не имели дела с советскими писателями, и, поскольку по природе своей они люди широкие, гостеприимные, щедрые, к тому же любящие литературу, они решили, что лучше перебраться, чем недобрать. У трапа самолета нас ждали в парадной

форме и белых пробковых шлемах, при всех регалиях, с наборными — кость с деревом — стеками под мышкой губернатор, полицмейстер и все главные сановники провинции. Я уже опасался, что придется принимать парад войск, но, к счастью, обошлось, и мы просто обменялись приветственными речами. Сходная церемония повторилась на уровне уездного начальства, когда мы прибыли в город Бара, а в селе Аль-Башира нас встречали вожди племен и шпалеры школьников с цветами в руках. Девочки в белых платицах, мальчики в шортах и белых рубашках. Лишь в Теййбе, куда мы приехали в базарный день, обошлось без торжественных встреч — на переднем крае не до церемоний.

Все остальное было на том же отменном уровне: когда надо было перейти улицу, подавались машины; белозубый молодой губернатор уснащал свои речи, обращенные к нам, вязью восточных стихов, не отставал от него очаровательный полицмейстер, прием следовал за приемом, и я начал чувствовать себя Хлестаковым. Верно, нечто сходное промелькнуло в совестливой душе Мачавариани. Я услышал, как после очередного завтрака (четвертого за день) он бормотал про себя:

— Отличный лабардан, господа!.. Отличный лабардан!..

После знакомства с Эль-Обейдом, с его богатейшим базаром — там идет обширная торговля скотом: коровами, буйволами, козами, овцами, почти неотличимыми с виду от коз, ягнятами, домашней птицей, а также осликами и верблюдами, — с музеем махдистской славы, хранящим старинные мечи и ружья повстанцев, а также простые деревянные копья, топорики и щиты; после визита в управление тюрьмы — там нас одарили стихотворным сборником старейшего местного поэта; после встречи в клубе выпускников, после осмотра единственного в своем роде водохранилища, существующего за счет артезианских вод, мы отправились в уездный центр Бара.

Здесь за вкусным и обильным обедом у градоначальника мы познакомимся со многими видными местными людьми: гражданскими и полицейскими чинами, вождем племени, директором школы и уездным врачом, симпатягой Хуссейном, пригласившим нас к себе в гости на вечер. Хозяин дома простер свое расположение к нам

до такой степени, что вопреки обычаю провел на женскую половину и познакомил со своей женой и детьми.

Дорога между Барой и Аль-Башири, столь отчетливо существующая на карте, в действительности занесена песком, пришлось нам сменить легковые машины на грузовики. Для поездки через пустыню используются обычно специальные грузовики с усиленным мотором, рустированными шинами, передними и задними ведущими колесами, но таких машин не оказалось в наличии. Боясь застрять, шофер наш, молодой губастый парень в шортах, свернул с укрытой песчаной пылью дороги на целину и шпарил напролом сквозь кусты акаций. Мы подняли стекла, чтобы спасти глаза от вооруженных острыми шипами веток, с дикой силой хлеставших по машине. Нас заносило, швыряло из стороны в сторону, раз-другой машина описала полный поворот вокруг своей оси и лишь чудом не опрокинулась, мы увлекали за собой пыльное облако, нами же рождаемое, и в нем исчез простор. Мы мчались в непроглядной желтоватой мути, оглушительно барабанили ветви акаций по лобовому и ветровому стеклам, по крыльям и дверцам кабины, будто грузовик расстреливали из пулеметов.

Случалось, мы оказывались на твердом, пыльное облако сворачивалось клубком у колес, возникала большая зелено-желтая круглая пустота, обведенная дымчатой синевою гор. И раз эту плоскую пустоту населили в отдалении грязно-серые зонтики. Миг — и зонтики словно ветром сдуло. Я успел заметить, прежде чем они исчезли, что у них сверху отросло еще по ручке. Бог мой, да ведь это же страусы!..

В близости Аль-Башири начались бахчи с бледно-зелеными арбузиками величиной с кулак, мы нещадно давили их, и водитель счел нужным пояснить, что убытку тут большого нет — арбузы сажают лишь для семечкового баловства. На полях работали женщины в ярких одеждах, порой мелькали деревеньки непривычного для нас обличья: круглые хижинки с заостренной крышей. Высились толстоствольные, с твердой корой деревья, что служат водными резервуарами: сердцевина ствола выдалбливается, в период ливней там скапливается дождевая влага. Это нисколько не вредит жизни

деревьев, а вода остается свежей, чистой и прохладной...

В Аль-Башири, большой, широко раскиданной деревне, нас приветствовал староста, пожилой человек с редкой бородкой и усиками на туго-морщинистом, многоопытном лице.

— Писатели? — переспросил он хриловатым от курения голосом. — Что ж, отлично! Хотя, по чести, нам нужны насосы, а не песни.

В справедливости его слов мы не замедлили убедиться. Неподалеку от нас феллах занимался поливом своего огорода. Перебирая руками измочалившуюся веревку, он нагибал коромысло высоченного колодца-журавля, неотличимого от рязанских собратьев, и ведро далеко в глубине находило воду; феллах мерными, неторопливыми, рассчитанными движениями подымал ведро и опорожнял над лотком. Вода сбегала с лотка в длинный желоб, оттуда в канавки, прорытые вдоль гряд. Глядя, как жадно впитывает воду пересохшая почва еще на подступах к грядкам, не веришь, что можно напоить весь огород. Но в конце концов непрерывный, без перекура, как сказал староста, труд феллаха вознаграждается: вода растекается по всем канальцам к самым дальним грядкам. Тогда феллах распрямляет замлевшую спину, стряхивает с чела пот — шестнадцатичасовой рабочий день кончился, можно пойти домой, ополоснуться, выпить горячего мятного чаю, поесть жирной баранины, закурить вкуснейшую сигарету.

Пока мы наблюдали каторжный труд феллаха, староста распорядился запустить на соседнем участке единственную в деревне мотопомпу. Хозяин участка подобрал некогда брошенный англичанами старый двигатель, кое-как отремонтировал, раздобыл в Баре допотопный насос и смонтировал поливальную машину. Запустить это сооружение оказалось делом нелегким. При каждом повороте заводной рукоятки двигатель выстреливал из каких-то своих деловых дыр брызгами бензина и сразу замирал. Вскоре все мы вымокли с головы до пят, и староста запретил присутствовавшим курить во избежание самовоспламенения. Почти вся деревня собралась вокруг норовистой установки, у каждого имелся добрый и бесполезный совет. На помощь подоспел местный технический гений, парнишка лет семнадцати в грязнейшей джеллабе. Он разогнал неве-

жественных доброхотов, что-то подвинтил, что-то отпустил, чего-то куда-то подлил, зажал ладонью какую-то дыру и с силой крутнул рукоять — мотор выплюнул воющее синее облачко, закашлял, зачихал и пошел отстукивать свои два такта. Вода полилась в желоб, и сразу стало видно, насколько даже такой вот жалкий двигателишко превосходит бедные усилия человеческих рук!

— Это вам не песни! — с далеким отголоском укоризны заметил староста.

Советские специалисты строили в провинции Кордофан большой молокозавод, аппетит же, как известно, приходит во время еды, — староста, похоже, надеялся, что и мы, перестав разыгрывать из себя отвлеченных служителей муз, принесем его деревне некую вполне материальную пользу.

— Песни важнее насосов, — строго сказал рослый, благообразный шейх, вождь племени.

Староста чуть развел руками, его жест равно можно было принять за выражение почтительности или сомнения.

— Если б они спели у себя на родине, как нам нужны насосы! — произнес он со вздохом.

Каждое место на земле обладает своей музыкой. Тихая музыка Аль-Башири слагалась из двух скрипов: легкого, едва слышного — колодца-журавля и грубо-жалобного, стонущего — маслодавилен. В разных концах деревни свершают нескончаемый круговой путь старые верблюды с завязанными глазами, приводя в действие примитивные давяльные механизмы. Они не подозревают, что кружат на одном месте, у них такой величавый, гордый вид, будто они вышагивают впереди каравана бескрайними просторами пустыни. Распространенное заблуждение верблюжьего ума...

Пока старые верблюды с повязками на глазах продолжали свой путь в никуда, их молодые с непотушенным зрением родичи участвовали в скачках. Не знаю, стихийно ли возникло лихое состязание или было запланировано гостеприимными хозяевами, но красота и удаль этого зрелища несравненны.

Всадники брали разбег далеко за деревней. Вот они отъехали к зеленым водоносам, развернулись и неторопливо затрусили назад. Ловко оплеля одной ногой тон-

кую, гибкую шею горбатогоскакуна, они сохраняли величавую неподвижность на крутом всхолмье верблюжьей спины. И вдруг резкий посыл вперед, и всадники уже несутся вскачь; великолепен мягкий, плавный, кажущийся неспешным из-за этой плавности верблюжий галоп! Когда же лавина накатывает, стремительно и грозно, щемящий восторг завладевает душой. Здесь, в Кордофане, зародилось махдистское движение, здесь был разбит наголову турецкий наймит англичанин Хикс-паша. И вот так же, оглашая воздух горловыми воплями, неслась в атаку сквозь кинжальный огонь противника бесстрашная верблюжья кавалерия Махди Суданского.

Опередивший всех всадник мчался прямо на нас, мы поняли, что не должны отступать, и смело приняли в лицо жаркий рев верблюда и клочья зеленоватой пены с его губ. В последний миг всадник осадил хрипящего, скалящего желтые резцы верблюда и повалил на колени. Мы дружно захлопали в ладоши.

— Чепуха все это! — хмуро сказал староста. — Нет того, чтобы делом заниматься, только и знаем на верблюдах скакать!

Но когда белый, словно альбинос, верблюд на всем скаку сбросил в пыль своего всадника, староста кинулся к бунтарю, усмирил властной рукой и проскакал на нем кружок-другой.

Деревня Теймба встретила нас горячим, пахучим, многолюдным базаром и национальными танцами. Такова традиция — люди съезжаются из дальних мест не только ради дела: продать-купить, но и ради праздника. Наше присутствие поддало жару неутомимым танцорам. Мужчины, потрясая палками, исполняли танец, символизирующий труд феллаха на хлопковом поле, женщины — небольшие, подбористые, с головой в мелких, туго заплетенных косицах, пропитанных смолистым составом, с серебряным кольцом в ноздре и бусами на шее — ритмично, тщательно и сурово вздымали грудь в знакомом нам танце верблюда. Завершался танец чем-то похожим на поцелуй: каждая из танцующих приглядывала на кругу мужчину, приближалась к нему и быстрым, ускользающим движением проносила свое лицо мимо его лица, задевая по губам тугими, черными, клейкими косицами.

Домой мы возвращались на закате по розовой, густо-розовой пустыне, а горы — между Тейбой и Аль-Башири они близко подступали к дороге — были оранжевыми, небо — блестящим, почти бесцветным, с еле приметной прозеленью и лишь над тонущим солнцем — жарко-золотым. Это многоцветье длилось мгновения, пала скорая южная ночь — и все вокруг стало ночью.

В ночи мы простились со старостой.

— Прощай, друг, — сказал он и обнял меня.

— Прощай, — сказал я, до слез жалея, что не увижу больше этого умного, крепкого, с душой зрелой и детской, народного человека. — Может, приедешь в Москву? Я дам тебе адрес.

— Не надо, — сказал он. — Если приеду, я тебя и так найду.

— Верно! — согласился я. — Нашел же я тебя в Судане, а в Москве это куда легче.

— Я приеду за насосами, — сказал староста.

— Давай, — сказал я, — я предупрежу наших.

Его белая джеллаба долго тлела в темноте, улавливая свет мелких, частых звезд...

До уездного центра мы мчались со скоростью во семьдесят миль в час, выхватывая фарами из тьмы белые скелеты павших верблюдов и ослов.

Просторный и комфортабельный дом врача Хусейна в глубине сада наделен всеми удобствами: водопровод, канализация, электрический свет, холодильник и т. п., а в городе ничего этого и в помине нет. Но удобства созданы, так сказать, кустарным способом: по утрам Хусейн сам заливает водой из колодца бак, питающий водопровод, и другой бак в туалете, а нестерпимо-яркий, пронзительно-мертвенный свет он добывает из полупроводниковой лампы. На полупроводниках работает и холодильник, а радио и проигрыватель — на батареях. Мы пили вино и виски, остуженное ничуть не хуже, чем если б холодильник питался от сети, слушали чудесные джазовые пластинки — батарейное питание ничуть не ухудшило их качества, то же можно сказать и о водяном снабжении дома. Под уютным кровом собралась весьма пестрая компания: суданец Хусейн женат на польке, они познакомились в Варшаве, где Хусейн кончал медицинский институт, мы с Еленой Стефановой представляли Москву, Мачавариани — Грузию, еще присутство-

вали две молодые учительницы: англичанка из Лондона и здешняя. Сам Хусейн — уроженец совсем иных мест, но он выбрал этот трудный, безводный, многонаселенный уезд, чтобы отслужить положенное с наибольшей пользой. Он единственный врач на семнадцать тысяч человек, разбросанных по обширной территории, правда, ему помогают несколько им же подготовленных фельдшеров. Хусейн врачует от всех болезней, делает операции, принимает новорожденных, лечит и удаляет зубы. Года через два он вернется с семьей в Варшаву и поступит в аспирантуру. Видимо, они останутся в Варшаве навсегда, его жене, филологу-слависту, здесь не находится работы по специальности. У Хусейна двое мальчиков: старший родился в Варшаве, он белокож и рус, как истинный славянин, другой, увидевший свет в Бара, смугл, волосом черен и курчав.

Миловидная соотечественница Хусейна недолго оставалась с нами, вскоре она ушла в детскую и принялась возиться с младенцем. Хотя она девушка современная, эмансипированная, у нее нет бесстрашия Хадиджи, и столь долгое пребывание в мужском обществе ей не по силам.

Молодая англичанка с фигурой спортсменки и несколько постным выражением лица преподает в католической школе в Эль-Обейде. Она мужественно говорила об оставленном доме, о стариках родителях, и вопреки благостно-скромнейшему выражению чуть поджатых губ в ней угадывался характер сильный и смелый.

Мы сидели в суданской ночи, в самом сердце Африки — пришельцы с берегов Москвы-реки, Куры, Вислы, Темзы, а также Нила (лишь местная учительница была «обезбрежена», ведь у артезианских вод нет берегов) — и чувствовали себя преотлично, нам нисколько не мешало даже разноязычье. Людям, когда их оставляют в покое, совсем нетрудно ощущать себя человечеством.

Наш отъезд в Эль-Обейд, затем из Эль-Обейда в Хартум был как бы началом прощания с Суданом. Нам еще предстояли встречи со старыми друзьями и новые знакомства, посещения мастерских художников, институтов и музеев, но все это происходило как бы по пути домой. Расставаясь с тем или иным человеком, мы уже

знали, что расстаемся, быть может, навсегда. Но, теряя постепенно милые лица, улицы, деревья, облака, я чувствовал неокончателность этих утрат. Ничто не уходило бесследно, все обретало место в моей душе, делая ее добрее и лучше.

*1967 г.*

## ИЗ НИГЕРИЙСКОЙ ТЕТРАДИ

Мое путешествие в Нигерию началось куда раньше этой вьюжной, колючей и, казалось бы, совсем нелетной ночи, когда «ИЛ-18» отделился от взлетной дорожки Шереметьевского аэродрома, взметая тучи сухой снежной крупы, и сразу потерял землю со всеми ее огнями.

Без малого сорок лет назад за выдающиеся успехи в нацарапывании палочек и ноликов родители подарили мне альбом с марками. Альбом был толст, свинцово-тяжел, обтянут красной тисненой кожей, не по чину роскошен. Последние страницы в нем были заняты фотографиями всех мировых правителей кануна войны четырнадцатого года: от дряхлого императора Франца-Иосифа с бакенбардами, как мыльная пена, до задорного, смуглого, маскарадного мальчишки, кажется князька Раджпутана. Марок же оказалось совсем мало, да и те были наклеены на восково-желтые разграфленные в клеточку страницы для затравки — мне самому предназначалось заполнить альбом марками.

И начались радости и горести, известные каждому начинающему филателисту: докучный избыток английских Георгов и мечта о нарядных африканских марках, редких — южноамериканских, загадочных — карликовых государств и совсем уж легендарных — Ватикана. Бывают в жизни особые, поворотные дни, которые светятся в памяти каким-то особым светом. И мне выпал такой день, когда на скопленные деньги я приобрел узенький плотный конвертик с серией нигерийских марок.

На марках сплетались тугие растения, виселись пальмы с ядрами кокосовых орехов, храня бледность чистых прозоров между стволами; слон помахивал парусами ушей; висели на ветках обезьяны; крокодил

распахивал пасть, способную проглотить всех малышей мира; тонконогие антилопы напрягали чуткие уши, лова далекие шумы, и еще множество всякого зверья, ползучих гадов и роскошных птиц населяло крохотное четырехугольное пространство марок. Я был захвачен и покорен Нигерией. Меня уже не могли соблазнить ни более ценимые сверстниками красивые марки Либерии, ни редкие марки Камеруна, Того и Дагомеи.

Так, полюбив еще в раннем детстве Нигерию, не зная о ней ничего, я на исходе пятого десятка получил вдруг возможность поехать туда и ухватился за эту возможность с цепкостью утопающего.

Незадолго до отъезда мне попала книга Николая Хохлова, и я прочел там примерно следующее: Аккру называют «могилой для европейцев». Для Лагоса же сравнения не оказалось, потому что климат там еще хуже. И я твердо решил: ехать надо незамедлительно — мне под пятьдесят, я перенес инфаркт и если не поеду сейчас, то едва ли когда-нибудь увижу страну моего детского увлечения.

И вот путешествие началось. И была фантазмагория громадного перелета, когда из завываний и надсадного гула моторов, вибрации и холодно-сладких голосов проводниц, липких конфеток, неудобных трапез, зверской самолетной тоски по дому, по твердой земле хорошо отрепетированным чудом вдруг возникали с железной последовательностью: морозный, на семь градусов, ночной Будапешт, тепловатый, влажный, непронувшийся Тунис с меловой белизной окупленных зданий, сухо-знойный, дневной Бамако и наконец на границе новой ночи — парной Лагос.

Лишь раз комфортный полусон полета нарушился несогласием стихий с нашим пребыванием в небе. Где-то над Югославией среди ночи, когда за круглыми иллюминаторами во тьме рубиново пульсируют самолетные огни и притушен свет в салоне, а на коленях душные пледы и пассажиры уже не спуют то и дело в туалет и обратно, походя толкая тебя в плечо, в висок склоненной к проходу головы, вдруг началась такая уже давно отжившая вульгарная болтанка со скрипом, звоном, шмяком, противным шорохом чемоданов в сетке, с замирающими провалами в собственный желудок, тошнотой и головокружением, словно мы летели

на стареньком «дугласе» военных лет. Зажегся показавшийся ослепительным свет, как в цирке перед рискованным трюком, тревожно заалели буквы: «Пристегнуть ремни. Не курить» — и неожиданно мягкий человеческий голос стюардессы произнес: «Пристегнитесь, товарищи!» — и повторил то же по-французски, но уже утратив доверительность интонации. И я впервые с интересом пригляделся к надписи: «Запасной выход», отмечавшей заделанную в стену, скругленную вверху дверцу, прежде я считал и надпись, и дверной контур просто вежливой мимикрией. Еще у нас имелись надувные пояса, чтобы продержаться на воде среди акул и осьминогов, пока не подойдет спасательное судно или не бросит веревочную лестницу вертолет. Правда, плотно упрятанный под сиденье пакет был без надобности среди боснийских гор. Но тут болтанка вдруг прекратилась, погас верхний свет, и лишь по недосмотру проводниц еще долго алел призыв застегнуть давно нами сброшенные ремни...

И вот мы в лагосском аэропорту. Я сидел ближе моих спутников к выходу и первым сошел по шаткому трапу в плотную, влажную, но все же терпимую духоту угасающего дня и сразу же почувствовал крепкие руки красивого и рослого Александра Иосифовича Романова — нашего посла в Нигерии, увидел работников посольства в ярких лучах подсветки, позволяющей вести телевизионные съемки. Вокруг — красивые, эбеновой черноты лица: члены Общества нигерийско-советской дружбы во главе с тогдашним вице-президентом Огунтойе по прозвищу Комрид чиф, постоянный секретарь министерства информации Ахмед Джода (вскоре подошел и сам министр), журналисты, фоторепортеры.

Как важно выйти первым! Вечером мы смотрели по телевизору передачу, посвященную нашему прибытию. «Господин Нагибин заявил...», «Как сказал в своей проникновенной речи писатель Нагибин...» Я ничего не заявлял и не произносил речей.

Слова встречи, дружбы и приветия с огромным воодушевлением и навыком, воспитанным кавказским застольем, произнес глава нашей делегации Алим Кешоков. В суматохе не разобрались, и вся слава досталась мне. Но Алим в дальнейшем получил свое...

Когда мы прибыли в Лагос, еще существовал комен-

дантский час, установленный во время междоусобной войны, и церемонию встречи не затягивали, чтобы успеть до семи часов в город.

Фиолетовые сумерки успели стать исчерна-синими, когда мы въехали на чудовищно запруженные машинами и людьми торговые улицы столицы. Светились окна домов, золотистое зарево всплывало над ярко освещенным портом. Но не горели уличные фонари, и потому считалось, что столица Нигерии частично затемнена.

Плошки и светильники придавали живописность густой, яркой толпе; нигерийская одежда многоцветна, парадна. Ее крой и грудной вырез придают ей почти царственную торжественность. Каждый нигериец похож на Остужева в роли Отелло.

Мужская одежда состоит из агбады — просторного балахона с широкими проймами (чтоб продувало), сужающихся к щиколоткам штанов и примятой спереди шапочки. Одевание это делается из одного материала, гладкого или с выделкой, часто расшитого золотыми нитями. У женщин кусок ткани, обернутый вокруг тела, заменяет платье. Голову они нетуго повязывают куском ткани, как наши женщины полотенцем после купания.

Прямизна, статность нигерийских женщин воспитаны с детства обычаем носить на голове всевозможные тяжести. Это формирует костяк: стройность позвоночника не нарушена легким прогибом ближе к сильному крестцу. В пору женского расцвета этот прогиб заполняется распластанным, напоминающим крабика младенцем. А он и подавно не дает матери сутулиться, гнуться. Высокая, округлая шея, довольно широкие прямые плечи, полнеющие с возрастом, совершенная прямизна и легкость ног с чуть шишковатыми коленями — вот стать нигерийской женщины.

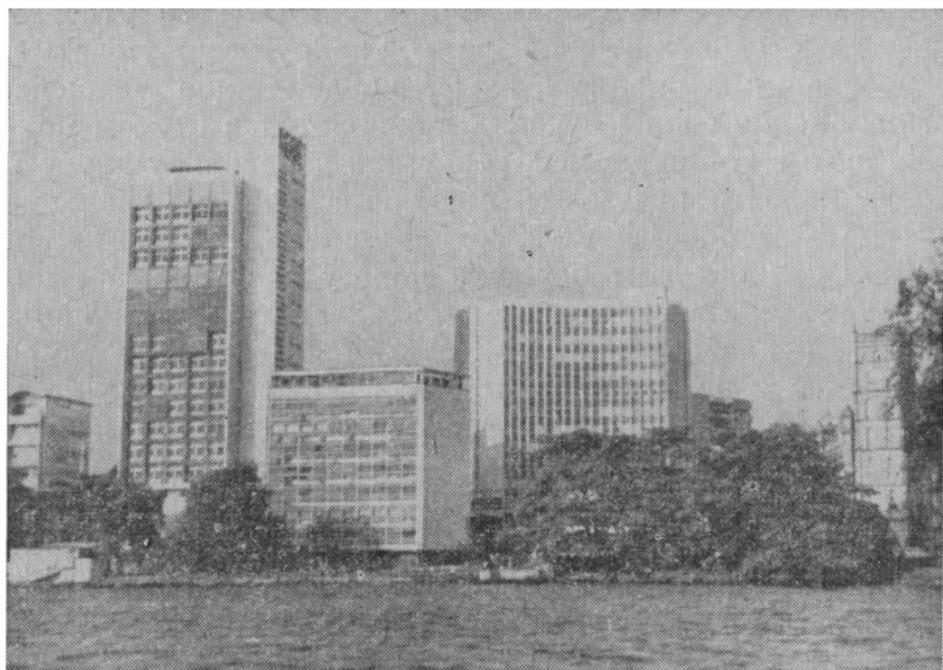
Город мельтешил перед глазами хаотичным и в то же время оправданным движением почти в ритме негритянского танца; впечатление это усиливалось тем, что из всех лавчонок неслись пронзительные звуки «хот-джаза», пламя плясало на темных лицах, и мы все время были на волосок от столкновения с машинами и прохожими. Несло бензином, пылью, прогорклым пальмовым маслом, потным телом, гнилью банановой ко-

журы, дымком жаровен. Пронзительно свистел в самое ухо здоровенный полицейский в белых крагах, и, как в кино, устрашающе надвигался в лоб, будто вздыбленный, грузовой «мерседес»: громадное тупое рыло, клыкастый бампер, жующие асфальт шины, слепящие фары, неизвестно зачем включенные на дальность. Не успеваешь удивляться тому, что остался жив, когда измятый, словно старая консервная банка, «ситроен» нахально срезает тебе угол, и ждешь мерзкого толчка, скрежета умирающего железа, но спокойный водитель вновь находит спасительный лаз.

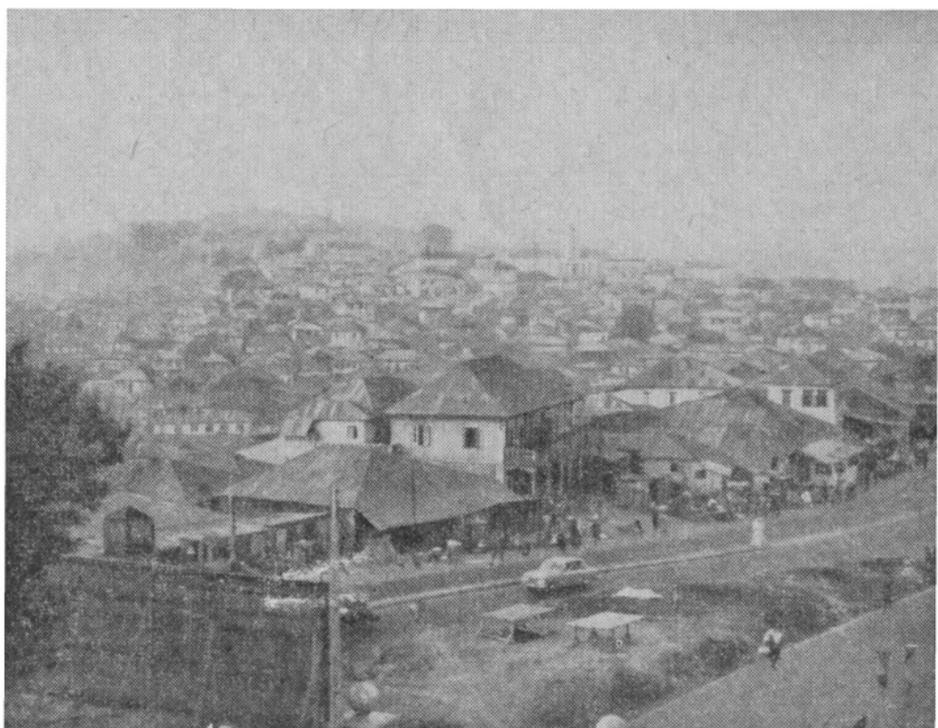
Даю себе зарок быть верным музе памяти Мнемозине. Буду записывать только свои, пусть сумбурные, впечатления, лишь то, что сохранено памятью зрения и чувства. Я боюсь того, что порой кажется памятью, а в действительности идет от домысла либо где-то когда-то вычитано или услышано, а теперь представляется самой настоящей правдой.

Еще опаснее, когда на первовидение бессознательно накладывается узнанное потом, и тебе кажется, что ты с самого начала все видел, безошибочно чувствовал и понимал — будь это топография города, или характер городских ритмов и настроение улиц, или архитектурный стиль, или еще что-то. Со мной этого, кажется, не случилось. Я в первый день почти ничего не понял, вот только про женщин немного понял, а сведения, которыми меня пичкали спутники, лишь затуманивали сознание. Точно запомнил я лишь одно: название столицы Нигерии происходит от слова «лагуна» — город лежит частью на материке, частью на островах, и нам надо попасть на остров Виктория, где находится наш отель. Даже это пришлось мне втолковывать, но меня не обескураживала собственная тупость, все во мне ликовало: кругом Нигерия! Сбылось, свершилось! Я выполнил долг перед мальчиком, очарованным марками с ушастыми слонами, крокодилами, пальмами и мангровыми зарослями...

Как же трудно развеять чары детских лет, как долго правит нами детская мифология! За все время, что я провел в Нигерии, я не мог поверить, что ее животный мир так беден, так неразнообразен, как это воочию



Современный Лагос



Ибадан

открывалось моим глазам и как авторитетно утверждали местные жители. Слоны, некрупные, ушастые, с небольшими бивнями, злые, ненавидящие человека африканские слоны изредка появляются в глухом приграничье с Камеруном и, разрушив деревеньку-другую, снова надолго исчезают; еще попадаются маленькие антилопы и дикие свиньи, сохранились обезьяны в джунглях. Однажды нам перешла дорогу зеленая мартышка, поглядела в нашу сторону, взялась рукой за кончик хвоста, поднесла к губам, словно флейту, брезгливо отбросила и не спеша скрылась в зарослях. Изредка в лучах фар мелькали крупные крысы, однажды я чуть было не наступил на ядовитую змею, потянувшись за плодом колы. На севере ночи кишат летучими мышами и летучими собаками. Все другие животные, некогда обитавшие в Нигерии, истреблены хищнической охотой. Фауна страны бедна и пернатыми: пик-бефф, сороки, вороны, коршуны, грифы, куропатки, цесарки и лишь редко-редко ярко расцветченные птички напоминают, что ты в Африке. Ненаселенность джунглей, саванны и вечно голубого неба Нигерии удручает. Англичанам не было никакого дела до животного мира подвластной им страны. В последние годы федеральное правительство Нигерийской республики взялось за охрану природы. Да ведь не так-то легко восстановить убыль.

Лишь едва прикоснувшись к жизни нигерийской столицы, мы отправились в путешествие по стране. Наш путь лежал на север, через университетские города: Ибадан, Ифе, Зария, в центр мусульманского севера — Кано.

Мы двигались из тропиков к саванне, из влажно-душного приморья в сухой жар континентального климата. Наше пребывание в Нигерии пришлось на самую благоприятную пору: в октябре кончился сезон дождей, и сейчас из Сахары дул жаркий ветер харматтан, подсушивающий паркий воздух. Ранним утром простор подергивался бурым туманом — пылинки, несомые ветром, конденсировали влагу воздуха. Но в глубине страны, где и без того сухо, посланец пустыни уже не казался благом, от него пересыхали, трескались губы, слезились покрасневшие глаза.

Широкое асфальтированное шоссе шло сквозь джунгли. Ну конечно, это только говорится так: джунгли. Густые заросли хожены-перехожены деревенскими жителями, местами сильно прорежены, и все-таки это джунгли: гибкие лианы опутывают стволы и ветви кокосовых и масличных пальм, раскидистых зонтичных деревьев, низкорослых какаовых и орешника-кола. В чаще жарко, влажно, нечем дышать. Бананы свешивают над обочинами громадные, смугло-подсохшие, рваные по краям листья. Запасшись плодами какао и кола, мы сосредоточенно потрошим их перочинными ножами. Зерна какао обволакивает млечная сырость, заполняющая овальную толстостенную скорлупу; темно-коричневое, в бордовость ядрышко защищено белым влажным чехольчиком. Плод кола в разрезе — чудо, хочется сказать, техники — просто поверить трудно, что его грубовато-макетное совершенство сотворено природой, а не машинерией. Внутри он будто выточен, отшлифован и даже сохранил немного той млечной жидкости, какой охлаждают сверла и резцы. В ровных ячейках стройно лежат белые орешки, толстая кожица легко отделяется от ярко-красного ядрышка. На вкус — горечь, но это лакомство, излюбленное нигерийцами тонизирующее средство. Шоферы без усталости сосут орешки кола, поддерживая в себе искусственную бодрость, сменяющуюся в какой-то миг оцепенением сна, и тогда происходит то, что делает нигерийские дороги такими пугающими...

Чащобы богатейшей растительности скудны, как уже говорилось, животной жизнью. Только змей хватает с избытком. Все, чем богат, вернее, скуден лес, можно получить в дешевом ресторанчике или придорожной харчевне за гроши в виде пахучего, сильно наперченного блюда, именуемого, подобно нашим центральносоюзским магазинам, «дары леса». В густом соусе может попасться кусочек крысы и кусочек змей, птичьья или лягушачья лапка и другой подобный деликатес. Но если не думать о живом прообразе составных частей лесной скобянки, то все это довольно вкусно, особенно с сыровой колобашкой из ямса и ледяным пивом «Стар», неспособным все же погасить пожар во рту.

Переход от тропической растительности к саванне происходит постепенно: пальмы становятся все ниже, исчезают густота, плотность и кажущаяся непролаз-

ность зарослей, появляется все больше акаций и деревьев, похожих на баобабы, затем и настоящие гиганты баобабы возникают среди кустов в почтительном отдалении друг от друга, и вдруг обнаруживаешь, что мир вокруг тебя стал совсем иным: он проглядывается далеко окрест поверх высокой травы и низких деревьев. Припахивает горелым, а вот и запылали пожары. Горит саванна, сознательно зажженная крестьянами — здесь подсечно-огневое земледелие — либо воспламенившаяся сама. В ночи все это выглядит ошеломляюще красиво и тревожно. Порой, когда кругом уж слишком мощно гудит, трещит, лопается, стонет и языки пламени, подхваченные ветром, самостоятельно живут в черном пространстве, к сердцу подкатывает ужас...

Я проглядел момент, когда бетонная дорога сменилась грунтовой. Теперь каждая встречная машина укутывала нас облаком красной пыли, от которой было одно спасение — быстро закрыть окна и несколько минут мириться с духотой и жарой. Затем пыль рассеивалась, очищалась даль, и туда протягивалась лента красноземно-латеритовой дороги, уставленной по краям готическими термитниками.

Мне не забыть красных дорог Нигерии. Зелень склонившихся над ними пальм и бананов, какаовых и зонтичных деревьев окрашена киноварью. В кюветах валяются запорошенные латеритовой пылью мертвые грузовики, реже — легковые машины. Иные погибли давно, сквозь их железные ребра проросла трава и молодые деревца, иные еще свежи окраской, издали кажется, что они прилегли соснуть, словно огромные усталые звери, и лишь вблизи обнаруживаешь, что сон их вечен. Иные совсем недавно были полны стремительного движения, они еще пахли бензином, как трудовым потом. А бывало, задранные к небу колеса тихо вращались, а шофер сидел на обочине, подперев голову руками.

Ночью, когда из-за края земли появилось мреющее зарево, а затем два вертикальных луча, ощупывающих небо и вдруг упирающих прямо в тебя свою неукротимую яркость, мы скромно сворачивали к обочине, пропуская мимо грохочущий распахнутым мотором громадный бензовоз. С такими лучше не связываться, они никогда не сворачивают, не сбавляют скорость, идут напролом и даже не остановятся, если сомнут тебя, как

старую жестянку. Компании нужна скорость, нужно, чтобы доставка произошла в положенный срок. И потому жми, дави, сшибай или сам лети под откос! У компаний все высчитано, взвешено, учтено, в том числе и потери: выгоднее лишиться стольких-то машин в год, чем ездить с соблюдением правил, на ограниченных скоростях и дать обойти себя конкурентам. В случае летального исхода водителя и машину хладнокровно списывают в убыток. Следствия не ведется. За рулем автогигантов сидят худые, с красными воспаленными глазами нигерийцы. Они жуют орешки кола или траву, дающую искусственное возбуждение. Главное — не спать, держать скорость, прийти в срок, иначе — потеря работы, а хуже этого ничего нет. Вперед, вперед, не дать себя обойти!.. И мчатся мимо горящих лесов, мимо спящих и бодрствующих деревень, мимо придорожных базаров, мимо потерпевших аварию, по железу зазевавшихся машин, по костям зазевавшихся прохожих ко всему равнодушные, неумолимые, как рок, бронтозавры двадцатого века. И неизменно вслед за шелловским бензовозом сминает ночь бензовоз «Эссо». Они неразлучны. Где выросла бензостанция «Шелл», тут же станет и «Эссо». Соперничество, соединяющее эти равносильные компании, «сильнее страсти, больше, чем любовь»...

Днем встречные машины куда менее опасны, и можно не вглядываться так пристально и тревожно в даль, — речь идет, разумеется, о пассажирах, водителю надо быть все время начеку, если он не хочет превратить машину в памятник своей рассеянности. А ты отдаешь внимание бредущим по дороге людям: мужчинам в легкой одежде, иногда просто в шортах, обнаженным по пояс женщинам с поклажей на голове, стройным подросткам, пузатым малышам. Нигерийцы всегда в движении, их почти не увидишь отдыхающими; лишь на берегах мутных речек могут они сделать привал, но и тут не станут расслаиваться, а сразу войдут в реку, смывают пыль и пот и снова в путь. Нет ни конных, ни велосипедистов, и те и другие появятся позже, когда мы окажемся на севере, тяготеющем к арабскому быту.

Деревни попадаются довольно часто. Дома на юге четырехугольные, крытые сухой травой или пальмовыми листьями, напоминают украинские мазанки, толь-

ко не белые, а красные; севернее дома имеют округлую форму, обнесенные забором из того же краснотерра, они образуют усадьбу (здесь говорят: «компаунд») — обители одной семьи. В центре дом главы семьи, по правую и по левую руку — дома жен, хранилища кукурузы и овощей. В Нигерии — полигамия. Подобный семейный уклад экономически выгоден. Одну жену прокормить труднее, чем десять жен, — семейный колхоз сам себя кормит, справляется и с полевыми работами, и по домашности, и по торговой части. Работают и дети с самого раннего возраста. Живут на редкость дружно. Первая жена не пользуется никакими преимуществами, кроме тех, что дает возраст и дольшая близость к главе дома, а так — полное равенство во всем. И дети разных матерей любят друг дружку братской и сестринской любовью. Понятие семьи очень высоко стоит у нигерийцев, так же как и понятие родной деревни. В трудную минуту жизни нигериец, давно уже ставший горожанином, имеющий собственное дело и городской дом, бросает все и спешит на родину — в свою деревню, в отчий дом, к родному очагу...

В своих записях я несколько обогнал события и уже забрался в саванну, а между тем мы на двое суток задержались в Ибадане, самом большом городе не только Нигерии, но и всей Западной Африки.

Ибадан — столица Западного штата, где обитает народ йоруба. Город раскинулся по зеленым холмам. Известный нигерийский поэт Джон Пепер Кларк сравнил его с разбитой фаянсовой чашей, чьи осколки белеют в траве. Когда смотришь на Ибадан сверху, этот образ кажется очень точным, но вблизи «осколки чаши» утрачивают свою белизну. Громадные мусорные свалки бесстыдно вторгаются в городской пейзаж, перенасыщенный — даже по африканским масштабам — торговыми заведениями. Улицы — сплошные торговые ряды. Торгуют изделиями местных ремесленников: яркими тканями, национальной одеждой, обувью, соломенным плетением всех видов, кузнечными и гончарными изделиями, подделками под старину из бронзы, дерева, кости, а также старыми велосипедами, залатанными камерами и крышками, радиотоварами, музыкальными ин-

струментами и, конечно же, плодами земли: бананами, апельсинами, мандаринами, ананасами, манго, ямсом, бататами, маниокой, бобами, луком, чесноком, помидорами, огурцами, различными травами для приправ. Отдельно, ближе к станции железной дороги, расположена скототорговля; положив друг на дружку кроткие морды, покорно ожидают своей участи коровы и быки — с длинными рогами и безрогие, похожие на зебу горбиками, шейной складкой и миниатюрностью голов.

Мы были гостями Ибаданского университета, расположенного в нескольких километрах от города. Нигерийцы по праву гордятся Ибаданским университетом — крупнейшим и лучшим в стране, хотя в недалеком будущем университет Ифе обещает сравняться с ним по всем статьям. При англичанах здесь был скромный университетский колледж всего лишь на триста шестьдесят человек, теперь тут — город науки.

Здесь мы познакомились с поэтом, прозаиком и драматургом Волле Шоинкой. В настоящее время это едва ли не самая приметная фигура в нигерийской литературе. Шоинка известен далеко за пределами страны. Его книги выходят в Англии, в Лондоне ставятся его пьесы. Переводили Шоинку и у нас. Последняя его пьеса — «Урожай Конги» — стала событием для Африки. В Ибаданском университете Шоинка руководит драматической мастерской. Он сразу привлекает к себе внимание: высокий, костлявый, на вид очень молодой и, конечно же, бородатый; рубашка спущенным парусом полощется вокруг худого, плохо кормленного тела — плевать хотел Волле на свою телесную оболочку и на то, чем он в угоду мещанским условностям прикрывает наготу. Он весь в сфере духа. Он горит своими стихами, полными гейневского сарказма, а порой и раскаленного черного гнева; живет своим студенческим театром, только что поставившим «Урожай Конги», стремлением научить доморощенных артистов сценической речи; живет своим яростным отвращением к черному расизму, считающему белых вырождающейся, обреченной на гибель расой; живет любовью к свободе. Однажды он с двумя приятелями пытался произвести переворот, занял радиостанцию и два часа насыщал эфир призывами скинуть всех, кто мешает человеческой свободе. Но что он подразумевал под «человеческой свободой»?..

Волле Шоинка только что вышел из тюрьмы, где провел два года. Он не захотел нам сказать, что ему инкриминировалось. «Мне просто не везет!» — говорил он с добродушной усмешкой. «Шоинка раздражен тюремным заключением, — предупреждали нас. — Будьте с ним осмотрительны». Но мы не заметили никакого раздражения. «Подумаешь, тюрьма — я там пьесу написал!» Прямо-таки безмерное добродушие, но глаза у него странные, настораживающие — с желтоватыми белками.

Но чего же все-таки хочет Волле Шоинка? Свободы, свободы, свободы... Это так расплывчато, так неопределенно! Какая свобода ему нужна? Во всяком случае не та, что является осознанной необходимостью. Свобода ото всего, от какого бы то ни было принуждения, и прежде всего свобода для самого себя, полная, ничем не ограниченная свобода для чудо-человека, именуемого Волле Шоинка.

Совсем иное, куда более ясное, немного грустное впечатление произвел на меня другой известный писатель — житель Ибадана Амос Тутуола. В Англии он даже более популярен, чем Волле Шоинка. Эстетская критика пыталась объявить его африканским Кафкой и Джойсом одновременно. У него находили изощренный психоанализ, восхищались его дерзким новаторством, царственным пренебрежением к английской грамматике, смешением в его современных сказках реальности с потусторонним. Но оказалось, что этот новатор вовсе не отвергает грамматики и не издевается над английским правописанием, он просто неграмотен, потому что нигде не учился.

— Я родился в очень бедной семье, — рассказывал Тутуола, с виду очень старый, изношенный человек, хотя ему не больше пятидесяти, — и начал писать ради денег. Сейчас мои дела поправились, я получил здесь работу на радио и могу меньше писать. Я пересказываю сказки и разные историйки, которые слышал в детстве. Но я плохо помню их, часто перевираю... У меня духи ездят на автомобилях, а призраки говорят по телефону. Что поделаешь, я не умею так рассказывать, как наши старики. Но в Англии это проходит. — Он смущенно улыбается, показывая длинные белые зубы.

Разговор происходит в радиостудии. Мы интересу-

емся, кем работает Тутуола: редактором, литсотрудником, комментатором или просто диктором?

— Нет, кладовщиком. Я охраняю все это,— и он широко обвел вокруг себя рукой.

Жест приобрел несколько комическую величавость — вокруг не было почти ничего: голые стены, круглый стол с дыркой посередине, куда пропущен шнур микрофона, два-три колченогих табурета. Здесь или вовсе нечего было сторожить, или же Тутуола не устроился. Пока я размышлял об этом, просунулась чья-то рука и забрала микрофон — последнюю ценность в охраняемой Тутуолой пустыне.

Мы спросили, над чем он сейчас работает.

— Да ни над чем,— последовал спокойный ответ.— Слишком жарко, я подожду сезона дождей.

Сказки Тутуолы вышли в Москве. В переводе они утрачивают речевое своеобразие — нельзя ведь, коверкая русский, создать эквивалент причудливому английскому Амосу Тутуолы, но поэзия, наивная поэзия чистой детской души ощущается. Наверное, правы и те, кто считает, что Тутуоле следовало бы писать на языке йоруба. Но кто его издаст, кто прочтет? Горожане читают по-английски, в деревнях грамотеев мало, а те, что есть, тоже обучены английскому.

Тутуола запер большим ключом кладовую пустоты и, шлепая огромными, разношенными туфлями под стать марокканским бабушам, пошел нас проводить. Мы сфотографировались на память, и сейчас передо мною на столе доброе морщинистое лицо этого — что бы ни говорили о нем другие, что бы ни думал о себе он сам — истинного художника.

Наше пребывание в Ибадане завершилось банкетом, устроенным местным отделением Общества дружбы. Это отделение самое значительное в Нигерии, и не только потому, что находится в крупнейшем городе страны, но и потому, что во главе его стоял вице-президент Общества, видный юрист и общественный деятель Огунтойе. Коренастый, плотный, все время словно приплясывающий, Комрид чиф настолько популярен как оратор, что даже ходят в суд специально послушать его. Поэт сказал: «Человек должен быть, как цирк» — так же праздничен, ярок, наряден, весел, дерзок, остроумен, смел и добр. Так вот, Комрид чиф не боится быть цир-

ком. Его богато модулированный голос звучит то низко и грозно, то подымается до высоких звенящих нот, его толстая нижняя губа, продольно рассеченная мысиком яркого алого подбоя, то гневно вздергивается, то брезгливо выпячивается, то тянется в улыбке, ноги ходят ходуном, и в лад им поигрывают крутые плечи, когда он произносит свою, то и дело прерываемую аплодисментами и выкриками сочувствия речь. Он так объяснил, почему стал социалистом.

— Я не мог жить хорошо, когда другие живут плохо. Я не мог наслаждаться достатком, жирной едой, красивой одеждой, вкусным питьем, когда другие раздеты, разуты, голодны, истомлены. Я владею доходными домами — я отказался от денег, которые они мне приносили. Пусть люди живут бесплатно в моих домах. Я не стану наживаться на их нужде, потому что я социалист!

Говорил Огунтойе и о нашей стране. Полезно иной раз послушать о своем доме со стороны. Привычное не удивляет и не радует. А вот людей, только начавших строить свое государство, потрясают такие привычности, как всеобщая грамотность прежде неграмотной России, как дружба народов после веков царской политики угнетения малых народностей, погромов, резни, как всеобщая занятость населения, отсутствие безработицы, равноправие мужчин и женщин, бесплатное школьное обучение, возможность для всех получить высшее образование и — при господстве марксистского мировоззрения — свобода вероисповедания и прежде всего то, что за несколько десятилетий отсталая аграрная страна стала могущественнейшей индустриальной державой без всякой помощи, но зато с многочисленными помехами извне...

Обо всем этом говорил Комрид чиф, и стало понятно, откуда у представителя традиционной власти, пользующейся престижем и в наши дни, приставка «товарищ» к титулу «вождь».

А потом он разлил всем джину из бутылки с изображением английского джентльмена в красном — эту бутылку он хранил под мышкой, в складках агбады, — и провозгласил тост за дружбу.

Это так вдохновило Алима Кешокова, что в ответном слове он превзошел самого себя. Даже наш пере-

водчик-виртуоз Виктор Рамзес вспотел, выискивая английские эквиваленты для русско-кабардинских метафор и образов дружбы, братства, сродства. К сожалению, память не сохранила затейливых образчиков горского красноречия. Помню лишь, что мне захотелось немедленно в бой, в последний, решительный, и погибнуть в бою, и чтобы склонялись надо мной знамена, и звучала музыка...

Ну, пора покинуть Ибадан. А мне так жаль, что я очень мало рассказал о нем. И даже не по главной линии, а так, о мелочах. Но ведь без мелочей и жизнь не в жизнь. И вот о двух малостях я все же расскажу, и пусть они окажутся по времени не на месте, приятно проявить власть над временем хотя бы в подобной чепухе. Оба случая произошли в первый день нашего пребывания в Ибадане.

Здание городского совета картинно стоит на холме, являя собой величественное бастионообразное сооружение с широкой каменной лестницей и круговой террасой вверху, откуда весь город как на ладони. У подножия лестницы разгуливал часовой в берете, а группа солдат азартно гоняла маленький желтый мячик. Виктор Рамзес едва успел сделать два-три снимка, как часовой решительно подошел к нему и... конфисковал аппарат. Без разговоров. По-военному — раз-два! Напрасно Рамзес умолял его вернуть аппарат, предварительно засветив пленку, суровый воин был непреклонен. Тогда мы пошли от общего к частному: напомнили ему о бескорыстной помощи Советского Союза в трудные для Нигерии дни, о наших инструкторах, обучающих нигерийских ребят летному делу, о значении литературы в деле взаимопонимания народов и наконец перешли к нашим скромным персонам. Но часовой не дал нам договорить и решительным жестом сунул аппарат Рамзесу. Тот хотел было открыть крышку.

— Осторожно! — сказал часовой. — Пленку засветишь. А снимать надо с террасы. Здесь снимки дерьмо, сверху все видней: полигон, радиостанцию, казармы, вокзал, аэродром. Пленки хватит? — спросил он озабоченно и по каменной винтовой лестнице повел нас наверх.

Там он познакомил нас со своим командиром, полным неги полуголым красавцем в шортах и с огромным

пистолетом на боку, его приятельницей, прекрасной, как заря над Нигером, и тучным заместителем по строевой части. Все трое предавались блаженному послеобеденному ничегонеделанию и были от души рады нам.

— Москва!.. Москва!..— гордясь своей осведомленностью, несколько раз хрипло, сквозь табачный дым, произнес красавец лейтенант.

Никто не поинтересовался, почему страж покинул свой пост. Рамзес отснял все холмы и перспективы Ибадана, и лишь один объект ему не удалось снять. Когда он навел объектив на девушку, та стыдливо закрылась руками.

— Можно ее сфотографировать? — спросил Рамзес часового.

— Не знаю,— отозвался тот,— это не моя подруга. Обращайтесь к лейтенанту.

Лейтенант колебался, ему хотелось услужить гостям, но ведь сердцу не прикажешь. Глубоко вздохнув, он отрицательно повел головой.

— Не хочет, чтоб его девочку увидели в Москве,— прокомментировал часовой,— боится: отобьют...

А вечером мы пили виски с одним профессором-англичанином. Профессор с жесткой седой челкой и спортивной фигурой, этакий старый мальчик, долго вспоминал минувшую войну, участником которой он был. Для него, сказал он, человек определяется одним: участвовал ли он в борьбе с нацизмом. Если он оставался вне схватки или, как любят говорить, над схваткой, то грош ему цена, будь он хоть семи пядей во лбу. Из нас двое воевали, а третий тогда только появился на свет.

Профессор с чувством пожал нам руки и вдруг спросил — не с робкой интонацией подпольного миллионера Кореико, а решительно и прямо: «Как обстоит у вас в стране с проституцией?» «Плохо!», «Хорошо!» — ответили мы вразнобой, но имели в виду одно и то же — что проституции у нас нет. «Проституция — серьезный институт,— сказал он,— от нее нельзя так просто отмахиваться». И понес какой-то глубокомысленный вздор о значении проституции в обществе. «Проституция — это мое хобби», — сказал он в заключение. «Надо полагать, в теоретическом плане?» — уточнили мы.

В Ифе мы вновь оказались гостями ректора университета. Комплекс этого учебного заведения, еще не законченного строительством, решен в иных архитектурных формах, в еще более модернистских, чем в Ибадане. Все здания, кроме громадного театра, где проходил фестиваль искусств, компактнее, уютнее, изгнан даже малейший намек на казенность. Хорошо быть молодым и учиться в таком университете! Ректор, внимательный, предупредительный и незримый, как аксаковское Чудо лесное, отвел нам чудесный коттедж с эйркондишен, кухней и громадным холодильником, набитым провизией и напитками.

В Ифе у нас состоялась встреча с королем народа йоруба. Скажу прямо, давненько не встречался я с королевскими особами. Если исключить видение бельгийской королевы на пляже в Остенде четыре года назад — был шторм, королева не купалась, и ничего интересного не произошло, — то я вообще не видал живых королей. Вру, видел издали марокканского Хусейна в Рабате, когда тот ехал на молитву, но меня оттерла толпа нищих, и я разглядел только лошадь. А вот чтоб с глазу на глаз — такого не было. Да ведь надо же когда-нибудь начать.

Король жил во дворце на окраине города. Мы подъехали туда в сумерках и видели, как, вспыхнув на миг многоцветьем одежды в свете подвешенного к дереву лампона, из-за угла дворца возникла стайка женщин и детей и сразу скрылась в тени, отбрасываемой стеной. Даже в коротком промельке сразу угадывалось, что эта группа принадлежит не к дворцовой челяди, а к родне короля. Его величество уже перешагнул за восемьдесят, но нас уверили, что мы видели его жен и детей.

Король принял нас на пороге веранды. С нами было двое молодых людей, студентов, один из них сын местного князька с титулом принца. Приблизившись к повелителю, оба с размаху пали ниц. Тот величавым манием руки поднял их, затем дружески поздоровался с нами. Ритуальное распластывание не выглядело унижительным в силу изящной, балетной заученности движения.

Молчаливые и не очень расторопные слуги сервировали маленькие столики: крепкие напитки, пиво, соки, лед, фрукты. Старый, тучный, картинно-нарядный се-

добородый король с лицом спокойным, пронизательным и многознающим, я бы просто сказал мудрым, если бы не ответ простоватого лукавства, которое он и не пытался утаить, немножко играл в свою старость, позволяющую ему не особенно утруждать себя разговором, ограничиваться минимумом вопросов и знаков внимания гостям, хотя карие глаза его излучали ровное и неподдельное благожелательство, вернее, благоволение, коль речь идет о коронованной особе. Но два-три мгновенных отзыва на какие-то промахи служителей обнаружили куда больше жизненных сил в тучном теле короля, чем он считал нужным явить взору чужеземцев.

Из всех трудов король оставил себе один: он работает над своей научной биографией, в чем ему помогает целый штат сотрудников. Алим Кешоков поинтересовался, не думает ли Его величество написать историю народа йоруба. Король медленно склонил большую голову: да, если смерть подождет, он попробует взвалить на свои плечи и эту ношу. Политических тем король избегал. Чуть закатывая карие свежие глаза и слегка разводя руками, он вздыхал: «Мы люди маленькие!». Несколько странно было слышать такое от короля.

Конечно, традиционная власть никакого влияния на государственные дела не оказывает, и все же ее носители окружены народным почтением. Правительству приходится считаться с этими обломками прошлого. В случае чего и король может пригодиться, ведь для простых йоруба он Великий вождь, живая связь времен. Это подтвердили наши спутники, охотливо распластавшись у королевских ног на прощание.

Симпатиягга принц провел с нами весь день, а вечером помог устроиться в переполненном до отказа зале университетского театра. Давали пьесу Волле Шоинки «Урожай Конги». На спектакль приехала публика из окрестных городов, Ибадана и даже из далекого Лагоса. Банану негде было упасть. Отведенные нам места были оккупированы студенческой компанией. Принц раздобыл где-то дырявый кожаный диван и водрузил его чуть ли не на сцену, едва возвышавшуюся над полом зрительного зала.

Еще днем, когда мы встречались со студентами, нас удивляли периодические взрывы национальной музыки — клочок бравурной мелодии, неожиданно обрыва-

шейся, чтобы вновь неожиданно родиться и заглушить очередной вопрос студента или наш ответ. Даже попытка закрыть окна, обрекавшая нас на мучительное томление от духоты, ничего не дала. Стекло не было препятствием для резких, сильных звуков, скорее наоборот, оно являлось резонирующей поверхностью, вроде деки гитары. И вот теперь мы вновь слышим эту музыку, и она вызывает в нас не раздражение, а радость, ибо ею сопровождается выход Старого вождя, главного положительного героя пьесы Шоинки. Оказывается, нашей встрече мешала репетиция...

Диктатор Конги бросил за решетку доброго и веселого вождя, и все десять жен добровольно разделили участь любимого мужа, одна даже с новорожденным на руках. Вождя навещает брат и приверженец, каждая из встреч непременно кончается пляской под музыку. Между тем Конги, жестокий и трусливый, как все диктаторы, мучительно выскивает с помощью своих раболепных министров, как погасить последний, чуть тлеющий огонек внутренней свободы и независимости, воплощенный в Старом вожде — традиционной власти. В конце концов придумывается омерзительное представление: на празднике урожая при всем народе Старый вождь должен преподнести Конги в знак смирения и признания самый крупный батат, выращенный его наследником. Но вместо батата он преподносит Конги отрубленную по приказу диктатора голову лидера оппозиции...

В спектакле участвуют одни только любители: студенты Ибаданского университета, работники радио и телевидения; адъютанта Конги играл брат губернатора Лагоса Джонсон. Поставлена пьеса «с солью и перцем», с забористым народным юмором и большой смелостью в мизансценах. Режиссер реалистичен в лучшем смысле слова, хотя вовсе не думает о том, соответствуют ли его приемы строгим законам реалистического театра. Его заботит одно: увлечь зрителей идеями, заложенными в пьесе. Он не стесняется оставлять на сцене отыгравших эпизод артистов, если они опять ему вскоре понадобятся, лишь убирает с них свет софитов. Темп прежде всего — зачем терять время на возню с занавесом, на уход одних персонажей и размещение новых? Действие должно меняться с быстротой, обеспечиваемой щелч-

ком выключателя. Если зритель захвачен, он и внимания не обратит на бездействующие силуэты. Так оно и было: зрители неистовствовали, они принимали столь горячее участие в происходящем, что, сами того не ведая, играли роль отсутствовавшей на сцене толпы: смеялись, громко негодовали, проклинали Конги, поддерживали Старого вождя, ужасались, плакали. Идею пьесы принимали все: Африка не для того освобождается, чтобы место белых хозяев заняли доморощенные тираны...

Трудное путешествие. Долгое. Уже разбита и заменена машина. Мы по горло наглотались пыли и километров. Полюбовавшись громадной плотиной через полувыпитые зноем русла Кадуны, мы сделали привал в городе с тем же названием, что и пересохшая река. У входа в рестхауз на дереве жило в клетке обезьянье семейство — три зеленые мартышки. Мы наблюдали за их жизнью. Глава семьи пребывал в состоянии глубокой сосредоточенности. Он напрягал свой маленький мозг непосильным размышлением — чем бы себя усладить. Но ничего, кроме чесания, ему, видимо, не приходило в голову, и он давал неслышимый сигнал супруге. Она тут же оставляла свои занятия и вмиг оказывалась возле мужа. Цепкими пальцами хватала она кожу в указанном месте, оттягивала и впивалась зубами, чтобы выковырнуть глубоко въевшуюся блоху. Если порой блохи не оказывалось, она отворачивалась, чуть вскинув голову, с выражением: «Вот притвора!». В крыше клетки была дырка, и малыш свободно выбирался наружу. Он лазал по всему дереву, в нижних ветвях которого находилось обезьянье жилье, и, набегавшись и наклянчив у зевак, возвращался в отчую клетку.

В Кадуне представитель агентства печати «Новости» молодой нигериец Гарба затащил нас в свою резиденцию.

Все-таки это поразительно, когда из жаркой пестряди, из невероятного быта, ни в чем не совпадающего с нашим северным, европейским бытом, из красноватой пыли улиц и городских пустырей, по которым бродят сутулые грифы с длинными голыми шеями, попадаешь в тишину маленькой читальни, где на стене барельеф

с ленинским профилем, на стеллажах — книги Ленина, а за столами, подперев скулу кулаком, юные нигерийцы склонились над журналом «Советский Союз», разглядывая фотографии наших заводов, стадионов, школ, а рядом торчат коротенькие черные антенки девичьих причесок, а сами «радистки» углубились в «Советскую женщину» на английском языке; глядишь на все это, и в душе происходит что-то весьма сентиментальное.

Гарба даже не энтузиаст, он фанатик дружбы Нигерии с Советским Союзом, он чем-то сродни тому светловскому пареньку, что до последнего биения сердца нес в душе смутный образ далекой Гренады. Он влюблен в Советский Союз. Для него вступление каждого нового человека в Общество — личный праздник, каждый полученный из Советского Союза журнал наполняет день радостью. Размах его деятельности даже превосходит реальные потребности и запросы, но ему кажется, что он делает все еще слишком мало. «Если б у нас был велосипед! — вздыхает он. — Я успевал бы куда больше. А то ведь все на своих двоих». Надо сказать, что в Нигерии общественный транспорт почти отсутствует, а такси «кусаются». Мы беремся похлопотать насчет велосипеда. В ответ он просит нас приехать через год — мы убедимся, что количество членов Общества дружбы удвоится. Наверное, было очень жарко в тот день, потому что ни у кого из нас не стало энергии дознаться, почему велосипед обернется таким прибытком дружественных сил. Но он-то знал, что говорил. Правда, его чистый, наивный энтузиазм привел к маленькому конфузу, когда он притащил нас в книжный магазин.

— Здесь продаются ваши книги! — восторженно воскликнул он. — Ваши книги на английском языке!

В страшном возбуждении он что-то кричал хозяину магазина, тыкал в нас пальцем, кидался за прилавок, выхватывал с полок какие-то тома и торжествующе потрясал ими в воздухе.

— Хорошо, что вы зашли, — сказал хозяин, когда Гарба немного утих, — может, посоветуете, что делать со всей этой завалью.

— Торговать тоже надо уметь, — самолюбиво пробормотал Кешоков.

— Что поделаешь? Никто не берет.

Мне было страшно взглянуть на бедного энтузиаста. Напрасно: подобные мелочи не доходили до него, пребывающего в экстатическом состоянии духовного парения. Грубые песни земли не касались его слуха, он блаженно улыбался. Но мы тоже быстро оправились от смущения, нам нечего было огорчаться равнодушием местных читателей, которым «Международная книга» предложила почему-то труды по крупноблочному строительству и насущной проблеме вечной мерзлоты...

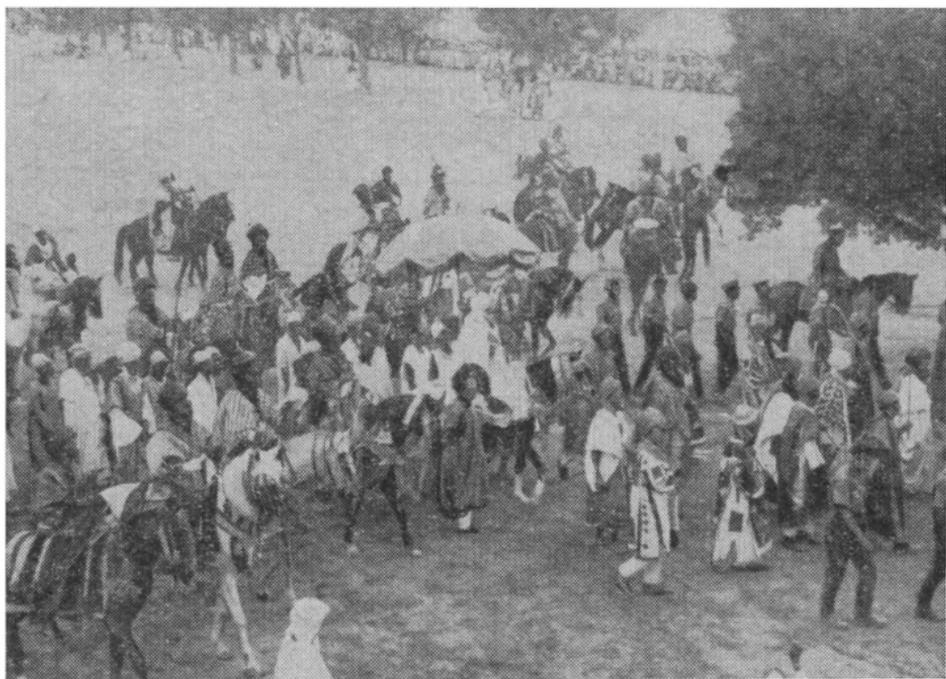
Праздник в честь окончания рамадана в Кано — самое пышное зрелище, которым может угостить ислам. Со всего эмирата Кано съехались пышно разодетые вожди разных племен, иные со свитой, иные в одиночку, на великолепных арабских скакунах. Вершина церемонии — речь, которую произносит на гигантской городской площади перед мечетью в окружении многотысячной толпы мусульманский глава — эмир.

Мы прибыли на площадь за час до начала церемонии и в качестве гостей советского посла, прилетевшего в Кано, были проведены на правительственную трибуну, имевшую скорее вид балкона. Здесь под полотняным тентом стояли разномастные кресла с фамилиями членов правительства штата Кано и несколько плетеных стульев без фамилий.

Завывали, надрывались карнаи. Ряд за рядом, сдерживая рвущихся вскачь коней, появлялись роскошные — золотые, серебряные, изумрудные, аметистовые, рубиновые — всадники в чалмах с перьями жар-птицы, саблями в ножнах, усыпанных драгоценными камнями, — сверкающие, блистающие, рассылающие во все стороны слепящих «зайчиков». Ударили резкие, короткие выстрелы, пополз пороховой дымок — стреляли из старинных пищалей.

Утомленные глаза потеряли способность к отдельному восприятию всадников, кортеж казался гигантской гусеницей, без усталости наращивающей свое пестрое членистое тело.

Еще неистовой завывали карнаи, затрещали трещотки, забили тамтамы, высокий стон прокатился по толпе. Тело гусеницы оборвалось, но пустоту заполнил рослый белый верблюд, покрытый нарядной кошмой. Плавно



Выезд эмира Кано



Модницы Кадуны

покачивая шей, увенчанной маленькой надменной головой, верблюд проплыл сквозь серебристую пыль, а следом за ним на площадь вступил высокий белый конь, ведомый под уздцы четырьмя нарядными служителями, еще двое шли у золотого стремени и двое — у задней луки седла, на котором под гигантским зонтом восседал в легких серебристых одеждах и золотой чалме эмир Альхаджи Байеро.

Часть церемонии разыгралась под нашим балконом. Эмир подъехал сюда, служители сняли его с лошади, оправили на нем воздушные одежды, будто на невесте перед венцом. Он чуть откинул желтый шелковый платок, скрывавший его рот и подбородок, и мы с удивлением обнаружили, что эмир совсем молод и ни малейшего благолепия не было на его худощавом смешливом мальчишеском лице.

Губернатор Бако приветствовал эмира и представил ему собравшихся к тому времени министров.

Снова подали голос карнаи. Служители плотным кольцом окружили эмира, скрыв от посторонних глаз, даже от наших, хотя мы смотрели сверху, и мне почудилось, что его раскуют там, как белую хрупкую птицу. Но нет, они лишь поправили что-то в его нежном одеянии, сменили на нем обувь, затем ловко вскинули в седло. Под ликующие крики и завывание труб эмир направился к священному дереву перед мечетью и произнес там положенную речь. К сожалению, мы ничего не слышали, площадь не была радиофицирована.

И вдруг наступила тишина. Скрылся, будто истаял в воздухе эмир со своей свитой, унеслись всадники, громадная толпа начала стремительно таять. Правда, ребяташки и молодые парни кое-где создавали заторы, но туда бросались полицейские с дубинками, и если и они не справлялись, то им помогал колючий колдун. Он кружился в своем наряде из сухих веток акаций, и, спасаясь от острых шипов, все кидались врассыпную.

А на другой день были скачки. Особые скачки. Там не разыгрывались призы и даже не мерились силами. Надо было проскакать через площадь во всем великолепии своего наряда и осадить коня перед эмиром. Скачкам предшествовала церемония появления эмира с карнаями, пальбой из пищалей, с конницей, белым верблюдом, служителями в колпаках с ослиными ушами.

Всадники были хоть куда. Все они с равным искусством проделывали короткий, но сложный маневр: разогнавшись до бешеного галопа, они на всем скаку окаменевали перед эмиром. Случалось, что кони чуть ли не садились на хвост, но лишь один всадник оплошал — потерял стремя и рухнул на землю. К нему кинулись служители, помогли подняться. Он был как ватный в их руках. Его огорчение понять легко: весь год готовится к этой скачке, школить коня, тратиться на дорогой, затейливый наряд, проделать огромный путь, терпеть голод и жажду — и в заветный миг опозориться перед эмиром, его свитой и всеми гражданами столицы штата и эмирата. И еще знать, что дома ждут и верят, мол, не ударит наш посланец лицом в грязь, не посрамит соплеменников. Посрамил, ударил лицом пусть не в грязь, так в пыль...

Вечером жители Кано отдыхали по большому счету. Кончился месячный пост — рамадан, когда от восхода до захода солнца нельзя съесть ни кусочка хлеба, ни земляного ореха, когда даже глотком воды ты не смеешь освежить пересохшее горло, а уж о пиве и думать забудь. А теперь ешь, пей, гуляй! И ели, и пили во всех домах, во всех харчевнях, кафе, ресторанах.

Вечером к нам пожаловал с визитом английский «writer» Джон Хэтч, специалист по Африке, серьезный крепкий пятидесятилетний человек, хотя по виду ему и сорока не дашь. Мистер Хэтч никак не мог уяснить, что мы тут делаем. В Нигерию не ездят прогуляться, слишком далеко, дорого, да и небезопасно. Может, вы приехали по приглашению университета, с лекциями? Или для участия в каком-нибудь симпозиуме, форуме, дискуссии? — допытывался он. Да нет, говорим, мы приехали как писатели. Хэтч недоуменно пожал плечами.

— Ну, а в каком качестве находитесь здесь вы? — спросили мы в свою очередь.

— Я буду писать о Нигерии.

— И мы будем писать, — сказал Кешоков.

— Так вы, значит, журналисты! — с облегчением сказал Хэтч.

— Ничего подобного!

— А что кроме газетных корреспонденций можете вы написать?

— Что касается меня, — сказал Кешоков, — то я, действительно, ограничусь газетным очерком. Впрочем, наверняка будут и стихи.

— Значит, вы поэт. Это другое дело.

— Ну, а вот Нагибин будет писать прозу.

— Простите, — улыбнулся Джон Хэтч с видом человека, согласного на розыгрыш, но если его убедят, что это будет остроумно. — Вы же сами сказали, что пробудете здесь только месяц. А что можно узнать за месяц?

— Надо уметь находить достаточно глубины на поверхности жизни, — пошутил я. — На то мы и писатели.

— Я отдал Африке всю жизнь, — не принял моей шутки Джон Хэтч. — Я не в первый раз в Нигерии, но мне нужны еще годы и годы, чтобы написать об этой стране.

— Видите ли, вы скорее исследователь, чем писатель, — сказал Кешоков. — Вы социолог, этнограф, экономист, уж не знаю, кто еще, но, по-нашему, вы не писатель.

— Вы ошибаетесь, — без всякого раздражения сказал Хэтч, — я-то как раз писатель. Вы, как я понял, поэт. Это не профессия, но, говорят, вы член парламента. С вами все в порядке. Но ваш приятель для меня загадка. Нельзя писать на основе столь беглых впечатлений. Он не писатель.

— У него много книг, — обиделся за меня Кешоков. — Его у нас знают.

— По-видимому, он то, что называется «автор» (author), — раздумчиво сказал Хэтч. — Он пишет беллетристику. Это плод вымысла. Не путайте меня. У него нет и быть не может никаких нигерийских наблюдений, да они ему и не нужны, потому что он не писатель. Вы интересуетесь футболом? — спросил он меня, очень, видно, желая подбодрить разоблаченного, но в общем-то безвредного самозванца.

Мы поговорили о футболе и предстоящем мировом первенстве. Хэтч невысоко оценивал шансы английской сборной на сохранение чемпионского титула.

Наконец, утомившись, вышли в сад. Мы медленно шли мимо кустов чайных роз. Хэтч сорвал розу и с задумчиво-блаженным видом поднес к носу. Он стал громко вдыхать ее запах, чуть жмурясь от наслаждения.

— Как жалко, что эти цветы не пахнут, — заметил я. Он оторопело глянул на меня.

— Что вы хотите сказать?

— Цветы в Нигерии лишены запахов. Ведь ваша роза не пахнет.

Он обескураженно поглядел на цветок и стал обнюхивать его со всех сторон. Он прямо-таки зарывался носом в лепестки.

— Черт возьми, может, это такой сорт? Я точно помню, что слышал здесь запах роз.

— Очевидно, куст был только что привезен из Европы. Потом запах исчезает.

— Поразительно! — сказал Хэтч. — Я был убежден, что все тут так и благоухает!

— Знаете, — сказал я, — теперь мне понятна разница между «writer» и «author», и меня это вполне устраивает...

Перед отъездом из Кано нас принял эмир Альхаджи Байеро. Делая вид, что нас не проймешь никакими восточными чудесами, мы погрузились в мусульманское средневековье. Эмир был одет в те же легкие светлые одежды и золотую чалму, что и накануне, лишь ноги он обул во что-то напоминающее веер из страусовых перьев. Каждая туфля размером с кожаную арабскую подушку, заменяющую стул. Эмир недавно посетил Советский Союз во главе мусульманской делегации и был в восторге от нашего гостеприимства и веротерпимости. Вполне светский человек, в недавнем прошлом посол в Скандинавии, Байеро стал эмиром Кано в результате переворота, свергнувшего его отца. Старый эмир пытался возродить традиционную светскую власть эмира, попробовал вести слишком самостоятельную политику, забыв правила игры. Нынешний эмир помнит их назубок, и ему хорошо...

Мы возвращались в Лагос по следам затухающего мусульманского праздника. И опять был долгий-долгий путь, а по обочинам — трупы коров и трупы машин. На кузовах надписи — я почему-то не замечал их раньше: «Милосердие!», «Никому не дано знать, что будет зав-

тра», «Все в руках божьих». Как видно, заклинания не помогают.

В Кадуне нас пригласило местное отделение Общества дружбы. Бедняге Гарбе крупно не повезло — он в это время трясся в жесточайшем приступе малярии.

Для своих занятий Общество снимает большое деревянное строение, служащее и лекториумом, и кинозалом, и танцплощадкой. В день нашей встречи там происходила молодежная свадьба. Гремела музыка, гости без усталости танцевали: парень с девушкой, парень с парнем, девушка с девушкой, два парня и одна девушка, дети и почтенные матроны (лет за двадцать) с младенцем за спиной. А одна — точеное личико и пышная, цветущая фигура, чью стройность нарушал необъятный живот, — отплясывала с младенцем на себе и внутри себя, в то время как двухлетний карапуз цеплялся за ее юбку. Одеты все были по-разному: и в национальном, и в европейском, и в модных туалетах, и в шортах. Общими были безудержная веселость, благорасположение друг к другу, неумоимость в танцах и отсутствие позыва к спиртному. Подруги невесты обносили гостей оранжадом, соками, «севен ап», «биттер лаймон» и сладостями. Никто не «соображал на троих», свободу несли в себе, а не заимствовали из бутылки.

Пока молодые веселились, солидные люди собрались в саду под оранжевой чашей луны. Я никогда не видел такого количества женщин на нигерийских сборищах. Президент Общества нигерийско-советской дружбы, министр правительства Северо-Центрального штата Ибрагим Нок открыл вечер. Когда с официальной частью было покончено, Ибрагим Нок предложил присутствующим задавать нам вопросы про «нашу советскую жизнь». Тут же вверх потянулись десятки рук, заставив дружно шарахнуться летучих собак, но нам не пришлось и рта открыть. С юношеской прытью со скамейки вскочил почтенный старец, заместитель Нока по кадунскому отделению Общества, и зычно крикнул:

— Не докучайте гостям! Я сам расскажу вам все про Советский Союз, откуда вернулся неделю назад. У меня самые последние сведения!

Кто-то засмеялся, многие захлопали.

— Да, я был в Советском Союзе с моими братьями по вере, — продолжал он звучным голосом пророка. —

Мы прилетели в Москву, нас замечательно встретили и накормили вкусной жирной пищей. Потом нас посадили в большой поезд и каждому отвели по отдельному номеру, совсем как в гостинице. В Ленинграде нас тоже замечательно встретили, среди встречавших было много мусульман, и повезли в мечеть, такую большую и красивую, что лучше и не бывает, разве только в Бухаре или Самарканде. Накормили нас тут не хуже, чем в Москве, мы ели ложками зернистую икру, великолепную красную рыбу, тяжелый вкусный русский хлеб, цыплят табака и так отяжелели, что ничего потом не помнили...

В таком же духе он продолжал свой рассказ, и описания дворцов, исторических памятников, мечетей, богослужений и примеров дружеского обхождения чередовались с перечислением блюд. По правде сказать, мне такое изложение путевых впечатлений представляется наиболее правдивым и дельным, хоть сам я на это не отваживаюсь. Еще И. А. Гончаров сделал открытие, что в путешествии едва ли не самое интересное — еда. И он не скупился на описание трапез в своей превосходной книге «Фрегат Паллада». Это очень верно: в путешествии всегда хочется есть и всегда томит некоторая неуверенность в насыщении. Кроме того, в еде, в том, как ее готовят, подают и поглощают, открывается очень многое в культуре и быте страны.

Старик рассказывал, а впечатлительные слушатели охали, ахали, хлопали в ладоши и пускали гастрономические слюни...

...Вначале я принял это за термитники, потом за останки термитников. Так бывает после бомбежки: глядишь, вроде дом уцелел, а на деле — один фасад, за которым пустота. Но вскоре я отказался от этой мысли: термитники стоят наособь, а тут красные латеритовые образования идут сплошняком, наподобие изгороди. ЛАГОС уже недалеко, но мы свернули в сторону, проехали городок Ошогбо и оказались на прямой неширокой дороге, вдоль которой по левую руку тянется красное застывшее латеритовое пламя. Но вот языки пламени взмыли кверху и, сочетавшись с языками встречного пламени, образовали словно бы арку. Наваждение естественности кончилось, отчетливо видишь печать человека, его

воображения и рук. Входим в ворота и под уклон по утоптанной тропке спускаемся к невысокой глиняной огороже. Что там — деревенька, человечье становище? Проникаем за ограду. Под громадными деревьями с корнями наружу стоит приземистое квадратное строение, напоминающее старинные русские торговые ряды: круглые глиняные столбы образуют галерею, крыша плоская, соломенная. Там ни души. У комля высоченной секвойи приютился красный истукан, вокруг изгнивала банановая кожура, плоды манго. Все ясно: божок и приношения верующих, мы в языческой молельне. И тут, как принято говорить, дабы скрыть словесное бессилие, «будто спала завеса с глаз». Почти под каждым деревом обитало какое-нибудь страшновато-уютное божество. Из дерева, глины, каменистой породы. Вот нечто схожее с человекообразной обезьяной баюкает младенца, — истукан тревожно удивляет сходством с христианским символом: божья мать и младенец Иисус. А вот нечто несусветное, что могло быть порождено лишь очень испуганным сознанием: и гад, и птица, и зверь лесной в одном образе. А у тихой, почти недвижимой реки — деревья купают в ней свои ветви — схоронилась нежить африканских вод, — низ человеческий, голова рыба... Дальше каменистый срез оврага испещрен наскальными рисунками — наивными и страшными. И так тихо здесь, так заброшенно! Шорох крови в сосудах рождает какую-то внутреннюю музыку, она становится все отчетливей, слышней, покидает тебя и звучит окрест райским цением птиц. И так нежно, так далеко на душе...

В Австрии жила молодой скульптор Сусанна Вейнджер, увлеченная ультрапередовым искусством. Все существующее искусство казалось ей вчерашним днем, сегодняшним может быть лишь завтрашнее, которое она ощущала в кончиках своих тонких, нервных и сильных пальцев. Сусанна познакомилась с писателем-социологом Улли Байером. Его рассказы об Африке покорили впечатлительную девушку, ей представилось, что пробуждающийся Черный континент — духовная целина, наиболее пригодная для того, чтобы дать жизнь ее дерзким идеям. Сусанна стала женой Байера. Они поехали в Нигерию. На территории этой страны в пору средневековья существовала высокая цивилизация с

удивительным искусством, предвосхитившим многие позднейшие искания. Древние скульпторы решались изображать гипертрофированные части тела больного слоновой болезнью отдельно от человека, и это создавало феноменальный эффект мук от непосильной тяжести собственной и будто чужой плоти. Они заглядывали в такие темные, потайные углы человеческого сознания, какие не снились гениальному ломаче Сальвадору Дали.

Вейнджер поселилась в маленьком городке Ошогбо. Она изучала народное искусство и окружающую жизнь, пока сама не стала частицей этой жизни. И все же она не подозревала, насколько покорила ее Африка. Она создала языческую молельню, как дерзкую, своевольную стилизацию, несущую сегодняшние идеи. Но люди приняли созданное ею как должное и превратили в культовое место. Они стали поклоняться божкам Сусанны Вейнджер, носить им апельсины, бананы, овощи. Не то что бы они дали обмануть себя внешним сходством искусства Вейнджер с привычными им формами, тут обман невозможен и никакая подделка не пройдет. Это их национальное искусство, древняя культура Нигерии, дух Африки подчинили Сусанну Вейнджер, растворили в своей стихии, сделали послушной служительницей.

И, осознав, что с ней произошло, Вейнджер перестала сопротивляться. Она оставила своего красивого умного мужа со всеми его книгами и теориями и стала второй женой тамтамщика из Ошогбо.

Когда по дороге назад мы проезжали Ошогбо, мимо нас, возле базара, прошла очень худая, очень темная, будто прокопченная женщина, небрежно завернутая в цветастую тряпку, оставлявшую открытыми длинные, плоские груди. Это была Сусанна Вейнджер.

Труды Улли Байера мы видели почти во всех книжных магазинах. На фотографиях он молодежав, энергичен, с пронзительными светлыми глазами и чистым лбом, неустанно размышляющим об Африке...

Каждое место, каждый период жизни окрашены преобладающим воспоминанием, причем не обязательно самым важным, а самым едким. От Лагоса до Кано было множество интересных встреч, кратких сближений с необыкновенными, самобытными людьми, но доминиру-

ют надо всем красная дорога, красная пыль — в глазах, на коже, на зубах. От Кано осталась яркая мельтешня праздника и силуэт коня, Лагос вспоминается лицами, они застыли живописный и своеобразный город с его лагунами, сокрушительными закатами, когда солнце тонет в океане, а в небе — который раз! — гибнет Помпея.

И одним из первых всплывает в памяти крупное, твердое, черное лицо скульптора Бена Энвонву. Когда начались недоброй памяти события братоубийственной войны ибо \*, Энвонву увез на восток свои скульптуры, холсты, а сам уехал с семьей в Англию, где ему предоставили мастерскую и все возможности для работы, кроме одной: творческого состояния, но этого не получишь со стороны. Энвонву нужна цельная и независимая Нигерия, великая африканская страна с великой исторической перспективой. И он не колеблясь принял предложение федерального правительства вернуться в Лагос и занять пост главного советника по культуре. По возвращении он узнал, что все его произведения погибли от бомбы...

Сейчас у него большой красивый дом, служащий и жильем и мастерской, обширный сад, преданные помощники. Случайно, а может закономерно, в окружении Энвонву «целый интернационал», как он сам выражается: дагомеец, тоголезец, нигериец-йоруба, нигериец-ибо... Энвонву кажется, что дом его пуст, хотя нет недостатка в удобной мебели, красивой утвари, произведениях искусства, хотя с утра до позднего вечера он заполнен дыханием людей: товарищей, поклонников, приезжих визитеров, поставщиков дерева и камня. Он пуст, потому что нет здесь его скульптур. Сильный, кряжистый человек с руками молотобойца живет, пересиливая изо дня в день нестерпимую печаль. Это уже второй этап борьбы за себя, в первом он поборол отчаяние. Сейчас Энвонву вработывается в жизнь, в себя прежнего, в творчество. Все очень непросто. Он пишет пейзажи, не придавая им большого художественного значения, но ему сладко изображать небо, деревья, закаты, реки Нигерии. Этого требует обостренное чувство родины. Мне думается, он справедливо строг в оценке этих пейзажей, они слишком красивы, одинаковы и способны потрафить

---

\* Ибо — один из крупнейших народов Нигерии.



**«Молельня» Сусанны Вейнджер**



**Бен Энвоу**

невзыскательному вкусу. Скульптор же Энвонву всегда разный, всегда новый, неожиданный, отнюдь не красивый в общеупотребительном смысле слова и далеко не на всякий вкус. Его признали народ и время, но обыватели не слишком жалуют. Хвалить-то, конечно, хвалят, но сквозь зубы. Он то тревожен, то нежен, то яростно груб, он не выжидает в прихожей эпохи, а лезет напролом. Его творчеством Нигерия звонко и трубно вплетает свою ноту в мировую многоголосицу. Да, мы такие, говорит Энвонву, — губастые, зубастые, с длинными руками, с большими ступнями, с тайной в стрельчатых глазах, с гневом в выпуклых белках; мы не стремимся ни на кого походить, сильные и слабые, добрые и жестокие, любящие и ненавидящие, мы не бедные родственники Человечества, а равные на земном пиру.

Сейчас Энвонву работает над несколькими большими скульптурами, это обобщенные образы африканских женщин. Не связанные с бытом и повседневностью, они побуждают к размышлению. Энвонву прежде всего скульптор-философ. Он выбирает самые твердые сорта дерева. Ему нужно прямое сопротивление материала, чтоб возбуждалась творческая сила, вырывалась душа из расслабляющей печали и чтоб уставало тело к исходу дня, как у каменотеса или грузчика. Инструменты, которыми он работает, — это здоровенное долото и молот под стать кузнечному. Мощные удары отщепляют крошечные кусочки дерева, и кажется, что мастер взял на себя непосильный труд. Но это не так, в мастерской стоит несколько почти законченных фигур. Значительные и глубокие символы рождает горькая, но устоявшая душа скульптора...

Джона Пепера Кларка, профессора английской литературы, мы застали в его кабинете в Лагосском университете. Маленький смеющийся человек в клетчатой рубашке детским чертиком выпрыгнул из-за очень большого письменного стола, заваленного книгами и бумагами, и повис на шее Виктора Рамзеса. Несколько минут длились объятия, охлопывание спины и лопаток, радостные вопли, смех. Они подружились в Москве года два назад — Джон Пепер Кларк был гостем Союза писателей СССР.

Кстати, его зовут просто Джон, а Пепер, что по-русски значит «перец», — кличка, вошедшая в поэтическое имя Кларка, потому что оно точно выражает жгучую, щипливую сущность его стихов и его личности и даже его бытовое поведение: дерзкое, битнически независимое, пробиравшее порой собеседника, как перцем.

Междоусобная война, гибель товарищей, работа в университете, возмужание души — все это смыло с Кларка накипь битничества, богемы. Он научился тишине, глубокому размышлению и переживанию. Прежний забияка Кларк не мог бы редактировать «Черный Орфей», едва ли не самый значительный литературный журнал в Африке, — нынешний Кларк вполне на месте у его кормила. И все, что делает нынешний Кларк, было бы тому, прежнему, не по плечу...

Вначале прошлого века корабль «Мэйфлауэр» \* доставил на берег Либерии первую партию американских негров, отпущенных на волю своими хозяевами. Они вернулись на землю отцов, чтобы начать здесь жизнь свободных людей. Это не было тем великим исходом, о котором писал Рэй Бредбери в одном из своих рассказов, когда все до единого негры Америки покинули страну, так и не ставшую им родиной, чтобы переселиться на другую планету. И хотя с пассажирами «Мэйфлауэра» все получилось далеко не так идиллически просто, как им мечталось, название корабля стало для негров символом надежды на лучшее будущее. Причем не в загробной жизни, а здесь, на грешной земле. Видимо, потому Тай Соларин, нигерийский Макаренко, и дал название «Мэйфлауэр» своей школе-интернату, созданной еще в пору английского владычества. Уповая на людей, на их труд, а не на всевышнего, он в пору засилья миссионерских школ, стремившихся первым делом привить ученикам смирение перед богом белых, создал безбожную школу.

Конечно, ему пришлось не сладко. Школа держалась на энтузиазме немногочисленных его сподвижников и нечастых пожертвованиях благотворителей. Мно-

---

\* «Мэйфлауэр» — «майский цветок».

гие годы ни сам директор, ни его жена, возглавляющая младшее отделение, ничего не получали. Плата, поступавшая за учение, составляла заработный фонд школьных преподавателей. А вот помощник директора по хозяйственной части, его бывший учитель швейцарец Ганс, на чьих старых, но еще крепких плечах лежат все угодья школьной фермы, тоже обходился без зарплаты.

Эта ферма помогла супругам Соларин продержаться трудные годы и не пойти по миру. Благодатный климат избавлял их от заботы об одежде: шорты и рубашка — мужу, клочок ткани — жене, а также о жилье: соломенная крыша и гамак — вот их дом. А то, что нужно для поддержания брвенной плоти, растет на земле и на деревьях. Но школа жила, набирала силы, завоевывала все большую популярность, она выпускала молодежь более образованной и лучше подготовленной к жизни, чем другие школы.

Федеральное правительство Нигерии взяло «Мэйфлауэр» на дотацию, установило высокий оклад директору. Правда, бывает, что жалованье задерживается, но, когда оно поступает, Тай Соларин по-прежнему не берет себе ни цента. Все так же щеголяет знаменитый педагог в старых, выгоревших шортах, застиранной рубашке и сандалетах.

Чтоб повидаться с Таем Соларином, нам пришлось совершить небольшое путешествие: «Мэйфлауэр» находится за городком Икене, милях в пятидесяти от Лагоса.

Подобно Макаренко, Соларин решающее воспитательное значение придает труду, но учатся в его школе-интернате не бездомные дети и не правонарушители. Порой Соларин берет к себе ребят, от которых отказались другие школы, но это исключение, не правило.

У школы своя плантация цитрусовых, большой участок под ананасами, какаоовые деревья, кокосовые и масличные пальмы, земля под ямсом, бататами, маниокой, огороды, молочная и свиная фермы, крольчатник и птичник. На этом небольшом, но высокопродуктивном хозяйстве держится интернат — ведь надо кормить учеников, преподавателей, обслуживающий персонал. Последний невелик, почти все работы выполняют ученики под руководством старого агронома Ганса. Даже во

время каникул — а мы попали в «Мэйфлауэр» как раз в каникулярное время — несколько учеников остаются в интернате для ухода за животными. Агроном утверждает, что всеми победами, одержанными на разных сельхозвыставках, «Мэйфлауэр» обязан компосту. У школы — свои сельскохозяйственные машины, трактор и грузовик.

Нам понадобилось полдня, чтобы бегло, поверхностно ознакомиться со школой: классами, рекреационным залом, дортуарами, администрацией, фермами, зооуголком, мастерскими, ямами с компостом. Жилые помещения кишат ящерицами: серыми самочками и ярко расцветенными самцами — черная блестящая спинка, киноварные голова и хвост. Соларин называет ящериц «неоценимыми помощниками»: никакой подметальщик не сравнится с ящерицей — та своим острым, быстрым язычком подберет каждую соринку, крошку и табачинку, слизнет и окурок.

Маленькие кладовки при дортуаре старшеклассников набиты светильниками. Ребята изготавливают их из разных материалов, чтобы заниматься ночью, когда выключают свет. И хотя намерения у них самые благородные, светильники безжалостно конфискуются — ночью надо спать.

После вкусного обеда мы сидели в старых шезлонгах почти в тесном соприкосновении с землей и беседовали о судьбе и перспективах «Мэйфлауэра». Разговор зашел о правилах духовной свободы, принятых в стенах школы.

— Мой символ веры — безверие, — смеясь, говорил Соларин. — Для меня все религии одинаково неприемлемы, что христианство, что ислам, что язычество, что буддизм. Им всем — грош цена, потому что бога нет и не надо. Человек — сам бог, а ему не требуются ни молитва, ни кадение, ни прочая чепуха. Служителей бога мы не пускаем на порог, хотя среди миссионеров попадаются иной раз неплохие, честные люди в простом, житейском смысле слова. Наш старик агроном начинал, кстати, как миссионер, но преуспел в компосте куда больше, чем в проповеди слова божьего. В «Мэйфлауэре» нет ни урока закона божьего, ни обязательной для всех нигерийских школ утренней молитвы. Правда, есть пять минут для внутреннего уединения. Если ты верующий,

читай про себя молитвы, не докучай другим своим благочестием. Если же ты духовно здоровый человек, то соберись с мыслями, повтори про себя урок, вспомни о родителях, загляни в собственную душу или продолжай думать о девчонках, чем ты, наверное, занимался с самого пробуждения. Несомненно, поначалу безбожие вредило школе: благотворителям неохота было раскошелиться на погрязший в неверии вертеп. Но мы выстояли, и теперь наша антирелигиозность скорее приманка, чем жупел. Да, наши жертвователи смирились. Интереснее вкладывать деньги в то, что растет и развивается, а не тлеет оплавком церковной свечи. Ты опять?..

Последнее относилось к стройному, изящному юноше лет девятнадцати в светлом костюме и модном галстуке. Юноша низко поклонился директору, затем его гостям и сказал печальным полусшепотом:

— Сестра хочет услышать отказ из ваших уст, учитель!

— Надо же! — Соларин с досадой хлопнул себя по голой ляжке.

Он сидел, развалясь в шезлонге, — свобода и удобство позы здесь не считаются вызовом приличиям, — в старых шортах, расстегнутой на груди рубашке и казался босяком рядом с юным просителем.

Робко, хотя и с обычным для нигерийцев достоинством, подошла девушка в голубом платье, тесно, как вторая кожа, облегающем ее сильное, упругое тело; короткие жесткие волосы светлыми прогалинками разделены на ромбы, по углам ромбов — проволочно тугой завиток сантиметра три длиной. Она молча поклонилась и опустила длинные ресницы на заплаканные глаза.

— Брат передал тебе, что у нас нет мест? Ну, чего ты еще хочешь?

Ресницы поднялись, открыв каре-золотистые колечки райка, покрасневшие белки, и снова опустились.

— Вот чудачка! — в сердцах сказал Тай Соларин. — Знают же, что нет мест, а все равно идут... Ты в последний перешла? Училась хорошо?

Брат почтительно протянул директору табель сестры.

— Молодец! Сплошь семьдесят, восемьдесят. А по химии даже девяносто. Ты хочешь стать химиком?

— Биохимиком, — прошептала девушка.

Брат пояснил, что ей хочется учиться в «Мэйфлауэр», потому что здесь преподавание связывается с практикой.

— Понятно, — Тай Соларин вздохнул. — Но нет мест, нет!

— Разрешите мне сказать слово! — послышался гор-  
таный голос Алима Кешокова, и Виктор Рамзес, будто  
сработал фотоэлемент, сразу начал переводить.

Лицо Алима Кешокова стало глянцево-пунцовым,  
чувствовалось, что неотвратимый внутренний импульс  
вступает в противоречие с теми правилами поведения,  
которых он придерживается.

— Мы не осмеливаемся посягать на священные  
права главы этого лица, но да позволено будет гостю  
обратиться с просьбой. Не часто советские люди бывают  
в Нигерии и не часто посещают «Мэйфлауэр». Пусть  
же день, когда мы встретились, когда завязалось наше  
знакомство, нет — дружба, останется добром в сердце  
этой девушки и ее заботливого брата, в сердце каж-  
дого из нас...

Это была лучшая речь Алима, а я наслушался их  
достаточно. Странное дело, едва Алим заговорил, на  
лице брата появилось благодарное и счастливое выра-  
жение. А сестра так и не подняла прилипших к щекам  
ресниц.

— Благодарите советских товарищей, — просто ска-  
зал Тай Соларин брату и сестре. Он именно так выра-  
зился: «товарищей».

— Thanks! — прошептала девушка и сразу пошла  
прочь, но мне никогда не забыть выражения, с каким  
было произнесено это короткое слово.

Сбыли одну беду, нагрянула другая. Она явилась в  
образе дородного, хорошо одетого пожилого человека  
с умным печальным лицом. Он величественно прибли-  
зился, с достоинством поклонился нам и рухнул к го-  
лым ногам директора.

— Встаньте! — сердито крикнул Соларин. — Я этого  
терпеть не могу!

Человек неторопливо поднялся. Он был отцом уче-  
ника, подлежащего исключению за недисциплинирован-  
ность. Парень все время удирает в город, что строжай-  
ше запрещено правилами школы. Мы решили было,

что юный повеса, томимый проснувшейся зрелостью, пьет там пальмовое вино и бегаёт за девочками. Ничуть не бывало: просто слоняется по улицам, покупает дешёвую еду на базаре, слушает шум городской жизни. Парень очень способный, но учился все время кое-как и лишь последние экзамены, уже находясь под угрозой исключения, сдал успешно. Это вовсе не умиляет директора, скорее наоборот. Старший брат провинившегося ученика окончил в нынешнем году школу так блистательно, что один из профессоров «Мэйфлауэра» отправил его на свой счёт в Америку для поступления в университет. Отцу мальчика, фермеру средней руки, это было бы не под силу. Юноша успел и там отличиться: он получил стипендию, и теперь его студенческое будущее обеспечено. О нём даже в газетах написали. Тай Соларин заставил юного преступника прочесть вслух восторженную заметку о его брате, что тот исполнил с видимым удовольствием и прекрасным английским произношением.

— Твой брат человек,— сказал Соларин.— А ты шалопаи! И ты не держишь слова, это хуже всего. Отец работает от зари до зари, чтобы дать тебе образование, а ты плюешь на его заботу...

Тут старик снова сделал попытку распластаться на земле, но Тай Соларин остановил его властным жестом. Мальчишка что-то тихо сказал, в нём не чувствовалось ни раскаяния, ни подавленности, лишь жалость к отцу, которому приходится унижаться. А мальчишка что надо: тонкий, гибкий, с вишневыми ласковыми глазами. Был в них свет человека, и свет этот зажжён, конечно, в «Мэйфлауэре». Счастлив Тай Соларин, имеющий таких нарушителей! Видимо, сходные мысли посетили и Алима Кешокова, и он вторично выступил ходатаем перед директором.

— Дай слово нам всем,— сказал он мальчику,— что ты станешь достойным старшего брата, и мы попросим директора оставить тебя в школе... Отца бы хоть пожалел, эх ты!

У мальчишки дрогнули красиво очерченные темные губы.

— Не могу отказать гостям,— сухо сказано Тай Соларин.— Но имей в виду,— до первого нарушения. И тогда вон!

— Спасибо учитель,— сказал мальчик.— Я вас не подведу.

Когда мы уже расставались с «Мэйфлауэром», мальчишка появился вновь.

— Как быть, учитель, отец привез манго для ваших гостей?

— Пусть сгрузит у кладовой,— сказал Соларин и, предупреждая наши возражения, пояснил: — Он не поймет отказа и смертельно обидится. Сын передаст, что вы приняли и благодарите, а мы отдадим плоды в столовую.

...Не шелковы и не алы паруса «Мэйфлауэр». На них следы штормов и бурь, на них соль морей и грубые заплатки, но они туги и примчивы к ветру. Счастливого плавания!..

От Тая Соларина мы поехали в загородную резиденцию заместителя главы правительства, министра финансов Аволово \*. Авторитет и популярность Аволово велики. Многие годы он был одним из наиболее видных государственных и политических деятелей. Вместе с тем он философ, мыслитель, его труды переведены на многие языки, в том числе и на русский. Будущее Африки Аволово видит в социализме, хотя социализм его несколько отдаёт мистицизмом.

Дворец стоит посреди парка. Тут много разных служб, лоботрясничавшей дворни и детей. У Аволово находились фермеры, недавно совершившие поездку в Советский Союз.

— Мы говорили о колхозах,— были первые слова министра, когда наше знакомство состоялось.— Они кое-что позаимствовали у вас.

Оказывается, фермеры позаимствовали всего лишь... коллективную обработку обобществленной земли с последующим распределением доходов по трудодням. Если б они обобществили еще средства производства, то был бы просто-напросто колхоз. Аволово очень интересуется их начин, он не исключает, что Нигерия будет решать проблему сельского хозяйства по пути кооперирования, а может, и коллективизации.

---

\* В июне 1971 г. Аволово вышел в отставку.

Алим Кешоков с коварством, которого я в нем не подозревал, сказал, что я сельский писатель. Чиф вцепился в меня мертвой хваткой. По счастью, я внимательно читал материалы съезда колхозников, закончившегося в канун нашего отлета в Нигерию. Аволово интересовало буквально все: новый примерный устав колхоза и чем он отличается от прежнего, что значит предоставление большей самостоятельности артелям и как распределяется прибыль, за счет чего строится и развивается коллективное хозяйство, размер пенсий колхозникам.

И снова я испытал странное, удивленно-взволнованное чувство: «за тысячи верст от родимого дома», в сказочном дворце, где за окнами фаянсовая лазурь небес и зелень манговых деревьев и летают райские птицы, а по залам бесшумно скользят слуги в шелковых одеждах, будто на гумне или на завалинке в рязанской глубинке звучат слова: «трудодень», «неделимый фонд», «бригада», «предколхоза»...

...А потом был прощальный прием в посольстве, и эмир Альхаджи Байеро, приехавший пожелать нам доброго пути, и вручение нам национальной нигерийской одежды и чудесных женских головок из эбенового дерева, и прощание с океаном, и самолетный трап, и милые лица провожающих, и печаль, служащая залогом долгой памяти...

1969 г.

## ДЕНЬ В ДАГОМЕЕ

Быть месяц в Нигерии и не навестить соседнюю Дагомею просто грешно. И перед тем как отправиться в долгое путешествие на север, по маршруту Лагос — Кано, мы попросили нашего гостеприимного хозяина А. И. Романова, в то время советского посла в Нигерии, помочь нам в получении дагомейских виз.

К нашему возвращению в Лагос визы были готовы, но случилось одно маленькое происшествие, едва не сорвавшее желанную поездку: пока мы наслаждались незабываемым зрелищем празднеств в честь рамадана на мусульманском севере, в Дагомее произошел государственный переворот. Президент Зинзу свергнут, а власть сосредоточена в руках трех примчавшихся из Франции подполковников, представителей местной знати. Тревожась за нашу безопасность, посол Романов хотел наложить вето на поездку. И тут глава делегации Алим Кешоков проявил завидную твердость:

— Эта заварушка нас не касается. У них свои дела, у нас свои. Мы в их политику не вмешиваемся, просто хотим бросить взгляд на африканскую Венецию.

«Африканская Венеция» — так пышно именуют борзописцы всего мира свайные поселки в обширной лагуне Нокуе, глубоко вдающейся в Пиратский берег в десятке миль от административного центра Дагомси — Котону. Эти три деревни: Гавье, Агеге, Сакание — были для нас главной приманкой, влекущей в Дагомею; уж больно много тумана, и романтического, и слезливого, наведено на этот клочок вселенной.

Итак, мы отправились в Дагомею. До границы мы ехали по левой стороне, как принято во всех ранее подвластных Англии странах, после границы — по правой, ибо Дагомея принадлежала правосторонней Франции.

Я не завидовал водителю, которому пришлось так круто менять привычные рефлексy.

Что еще по первому взгляду отличало соседствующие страны, кроме дорожных правил? После Нигерии Дагомея показалась нам тихой, будто дремлющей: куда меньше машин и прохожих на сузившейся ленте шоссе, а на прохожих куда меньше одежды — исчезла торжественная нигерийская агбада, на мужчинах — одни выгоревшие шорты; женщины обнажены по пояс. Много реже встречаются придорожные базарчики с горками суховатых очищенных апельсинов, гроздьями бананов, лепешками и сладями, а продавцы не заряжены яростной энергией своих нигерийских коллег. Видимо, конкуренция куда меньше.

Своими очертаниями на географической карте Дагомея напоминает узкую длинную комнату с одним окном, распахнутым в океан. Малость и заштатность страны, по-прежнему целиком зависящей от Франции, ощущается в самом воздухе.

Краем задев Порто-Ново, мимо графически четких пальмовых плантаций мы покатали в Котону. Пальмовое масло — основа зачаточной промышленности Дагомеи и ее экспорта.

Из маленькой нарядной столицы — бедность африканских лачуг тщательно замаскирована пригожестью европейских кварталов — мы двинулись на запад и минут через двадцать свернули к океану. Дагомейская Венеция скрыта где-то там, в блеске воды и неба, в золотисто мерцающей дымке жаркого полдня, а здесь, на берегу, как и всюду в Африке, где возможно хоть малое скопление людей, хоть краткая остановка транспорта, раскинулся базарчик.

Кстати, как разительно отличается Черная Африка от арабской, где мне не раз доводилось бывать. Арабы малоподвижны и величавы, их жесты скупы, плавны, медленны, чаще всего их видишь сидящими — на подушках в собственном жилище, на ковриках или кошмах — в лавке, в мечети, на верблюжьем горбу, на крупной ишаке или в седле — на скакуне или велосипеде. В сидячей позе молятся, сидя беседуют седобородые шейхи, сидя просят подаяние нищие, сидя заклинают змей на пыльных базарах, сидя работают ремесленники, не встают даром со своих мест дородные торговцы золо-

том и серебром, слоновой костью и коврами. Иные ритмы правят Тропической Африкой. Тут не встретишь всадника, тут все — пешеходы, знай себе отмахивают бесконечные мили с тяжелой кладью на голове. Торговать предпочитают стоя, чтобы сразу принять старт, ибо за покупателем положено бегать, требуя «настоящей» цены, умоляя, угрожая, высмеивая за скаредность, проклиная за бессердечие. Весь торговый ряд в беспрепятственном движении, и всюду гремит джазовая музыка из транзисторов, и молодежь приплясывает, даже занимаясь делом. Дагомейцы много тише, спокойнее нигерийцев, в них проглядывает порой некая лунная плавность, но и они пребывают в безостановочном движении.

Здесь все торгуют и никто ничего не покупает. Правда, среди европейских краснобаев популярна такая побасенка: мол, где-то на базаре сидит старичок над горсткой корешков, запорошенных пылью, или залысой шкурой неведомого зверя, и, кажется, само время забыло о нем, и вдруг вскорости он строит себе дом или покупает последнего выпуска «роллс-ройс». Это, конечно, враки, но, видимо, какие-то покупки все же делаются, если торгующие люди не умирают с голоду. Мне лично не посчастливилось видеть ни одной успешной сделки, за исключением тех случаев, когда я сам чего-то покупал. Но на вырученные с меня деньги «роллс-ройса» не купишь, это точно.

Базар кинулся на нас любопытством детей, зазывными воплями торговков, бодрой жалобой нищих, восторженными возгласами каких-то лоботрясов: «Месье Версаль?», «Мистер Вандан?» (так они произносили «Лондон»), «Янки, иез?» — они пытались установить, к какой разновидности белых мы принадлежим. Мясистые веселые женщины, без усталости жующие какую-то желтую травку, награждающую зубы белизной, торговали бронзовыми подделками под старину, фигурками из черного и красного дерева, мухобойками из лошадиных хвостов, соломенными шляпами, пестрыми зонтами, очками невероятных расцветок и форм, всевозможной яркой дребеденью.

Толпа разом отхлынула, когда, размахивая веслом, к нам подскочил старый мускулистый лодочник, с большой головой в седых курчавых шариках, напоминавших

брюссельскую капусту. Яростно бранясь, он расчистил путь к пристани.

Удлиненная, с приподнятым носом моторная лодка смутно напоминала гондолу, а старый курчавый лодочник в закатанных выше колен красных штанах и белой рубашке с грязноватыми воланами на груди — гондольера. Видимо, тут не пренебрегали венецейскими ассоциациями. Лодочник сразу предупредил, что полагалось бы идти на веслах, это более соответствует местному колориту. Но тогда потребуется уйма времени. Мотор же хоть и менее уместен, но доставит нас куда быстрее. Мы предпочли мотор, и гондола тронулась. Слабосильный тихий моторчик был рассчитан на такую вот скорость, чтобы путешествие не оказалось ни утомительным, ни слишком мимолетным. Мы двигались ровно, покойно, неспешно, но целеустремленно. Как скрупулезно и точно рассчитан в мире сложный механизм туристских увеселений!

Мы шли по спокойной, в ветряных морщинках зеленоватой воде, и берег со всем, что его населяло, постепенно утрачивал контуры, оставалась лишь игра красок, перемельк ярких цветных пятен. Вскоре краски стерлись, смазались, возник какой-то зелено-бурый фон с красными крапинками, а затем берега вовсе не стало — еще одна полоса в горизонтальном спектре воды и неба, а поверх этой серебристо отблескивающей полосы возникли верхушки пальм, растущих в глубине суши. Наконец и пальмы стали полосой, подобной узкой гряде облаков.

Вокруг простиралась морская гладь, и казалось одурающе странным, когда в малом отдалении из воды выросли соломенные крыши, а вскоре — и серые дощатые стены. На задах изб возникли обнесенные кольями участки воды, будто огороды, залитые внешними водами. Мне почудилось, что я вижу мое любимое Подсвятье, мещерское село, в пору апрельского водополья. Чем ближе мы подходили, тем выше подымалась деревня над водой, обнаружили тонкие сваи, журавлиные ноги изб, и сходство с Мещерой поубавилось, не исчезнув, впрочем, совсем. А вот Венецией вовсе не пахло, зачем напраслину городить. Какая уж там Венеция!..

Обозначенные кольями пятячки в море и впрямь подобны приусадебным огородам. Морское дно не гладь,



Свайный дом



Улица Ганвье

а сложный рельеф с выступами и западинами; рыба обычно скапливается в ямах, и местные жители поделили между собой места такого вот рыбьего сбора. Лов производится специальной сетью аддо по весьма сложному способу, именуемому «акагия». Веками тут рыбачили лишь в прибрежных водах, но с появлением моторов рыбаки стали отваживаться на далекие, опасные вылазки в океан. Немаловажная роль в рыбном промысле отводится колдуну, он должен с помощью тамтама завлекать рыбу в сети...

Не по доброй воле предки нынешних обитателей свайных деревень поселились посреди лагуны. Еще в древности суданское племя айзо, спасаясь от набегов завоевателей, перемещалось на юг, пока не докатилось до моря. Но и тут ему не было покоя. Сильные воинственные племена, населявшие территорию нынешней Дагомеи, нападали на айзо, обращая их в неволю. Из Франции, Испании, Португалии приходили к Пиратскому берегу корабли, чтобы забрать очередную партию рабов. Люди айзо оказались перед выбором: смириться и погибнуть или явить чудо самосохранения. Они покинули сушу и ступили в море. Великая человеческая приспособленность позволила им овладеть невиданной в мире формой бытия — посреди морского простора, между небом и водой. Даже в Венеции есть твердь площадей, тротуаров, мостов, здесь же ни клочка суши, лишь под некоторыми домами скопилось сколько-то мусорной почвы, там топчутся куры и поросята.

Попасть друг к другу в гости или по делу, а равно в лавку, в пивную, именуемую гордо рестораном, жители Ганье могут лишь на лодках. Ребятишки, впрочем, общаются вплавь, не брезгуя мутной, загрязненной водой. В этом единственное сходство двух Венеций, но в дагомейской вода не так смердит.

Наша лодка медленно движется мимо тонких свай, дома метра на два подняты над водой. Улицы подобны рекам, площади — озерам, переулки — ручейкам. В дверных проемах голенастых изб, в уютной темени жилья, мелькают лица женщин, готовящих пищу, толкущих ямс, варящих и жарящих что-то духовитое, и лица детей, с доброжелательным интересом пялящих на чужаков голубоватую светлость выпуклых белков. Старухи с длинными, плоскими грудями ткут неумемную

африканскую яркость. Но где же мужчины, что-то их совсем не видно? Как и положено добытчикам, они на промысле: забрасывают сети, строят запруды — есть и такой древний способ ловли рыбы. Когда они вернутся с уловом рыбы-ус — крупной сардины, настанет черед женщин собираться в путь. Обязанности строго разграничены: мужчинам — лов, женщинам — торговля. В больших пирогах они отправятся на берег, чтобы превратить рыбу в ямс, ячмень, фрукты, ткани, красители и главное — питьевую воду, которой постоянно не хватает. Рыба — единственный источник жизни свайных деревень, ничего другого у них нет, если не считать примитивных поделок из всякого случайного материала, привлекающих туристов и обеспечивающих малый приварок к обычному котлу.

Мы не избежим общей участи. Гондольер, имевший свой профит за посредничество, сразу взял путь к лавчонке. Наш «драгоман» Виктор Рамзес остался в лодке, все же остальные полезли по шаткой лесенке вверх. Тут я рассмотрел толстую, крепкую солому, которой крыты дома: это не обычная осочная солома, а папирусная.

Торговлей ведала средних лет, рослая, грузная женщина. Ранним ожирением награждает здешних женщин сидячий образ жизни. У нас не было с собой западноафриканских франков, но женщина согласилась взять доллар за две соломенные шляпы излюбленного московскими битюгами фасона. Женщина все время громко кричала и бурно жестикулировала, заполняя собой малое помещение. У меня ничего не осталось в памяти, кроме мелькания ее полных рук, блеска белых опасных зубов да цветастой соломки бесчисленных шляп, будто порхающих в воздухе, — они тыкались в затылок и в лоб, лезли в глаза и в руки, сами нахлобучивались на голову...

Спустившись вниз, мы застали славного и застенчивого Рамзеса в окружении подростков, надсадно выкрикивающих: «Даржан!», «Даржан!». Девочки задирали короткие кофточки, открывая нежные, но уже сформировавшиеся груди. Какая гадина научила этому детей? Обнаженная грудь не считается неприличием в Дагомее, хотя в городах и поселках большинство женщин все же прикрываются. Но девочки обнажали свою плоть,

зная, что в глазах белых это запрещено, и требовали плату за стыд. Мы попросили их так не делать и в награду за послушание раздали липкие конфеты, купленные на берегу. Надо было видеть, какое волнение это вызвало среди малолетних соблазнительниц!

Мы поплыли дальше то по светлой, растворившей в себе солнце воде, то по сумрачной, накрытой тенью домов. Из воды торчали курчавые, будто ненамокающие головенки детей, где-то квохтала курица, снесшая яйцо, жалобно хрюкали поросята, неспособные примириться с тем, что под копытцами так мало суши, летали чайки, заменяющие здесь голубей, звучали транзисторы и проигрыватели — шла обычная будняя жизнь.

Что было еще? Ресторан, куда поднимаются по крутой, высохшей, жутковато непрочной лестнице, почта с телефоном, по которому нельзя позвонить. Вот и все.

Поселок на сваях раскрыл нам свои бедные секреты. Нет, прямо скажем,— не Венеция и не рожденный из вод сказочный град Китеж, хотя сравнение вполне уместно, если не бояться красивых банальностей. Но к чему все это? Убогая деревня, живущая нелегким и далеко не всегда надежным промыслом; к тяготам обычного бедняцкого существования здесь добавляются трудности местоположения: вечно не хватает пресной воды, плохо с медицинской помощью, давно повалившиеся столбы лишили поселок телефонной связи с берегом; следы колониальной заразы здесь глубже и неистребимей в силу замкнутости этого мирка, его оторванности от большой жизни. Нет, не следует напускать романтического туманца и глянца на человечье становище в лагуне Нокуе...

Когда мы покидали поселок, нам навстречу попалась огромная, длинная пирога, битком набитая мужчинами и женщинами. Небольшой, но громогласный оркестр рвал в клочья влажный к вечеру воздух звуками тамтамов, дудок и однострунных щипковых инструментов. Компания что-то счастливо проорала нам, и мы потеряли праздничную пирогу за углом дома.

— Свадьба! — коротко пояснил лодочник.

Да, свадьба, веселая, как всякая свадьба, и, как всякая свадьба, печальная, с музыкой и песнями, с волнением жениха и задумчивостью невесты, со всеми переживаниями, что положены в такой день.



Девочка-«гондольер»

Когда-то воинственная жестокость одних людей загнала других людей в море. Тут бы им и погибнуть, а нет, выручили великая человеческая приспособляемость и стойкость: люди в чем-то подчинились морю, а в чем-то подчинили море себе. Можно представить, как мучительно строился новый, невероятный быт, ведь до чего же непросто обитателю земли стать водяным! И вспоминается Сент-Экзюпери: никакому зверю не выдержать того, что способен выдержать человек. Вот истин-

ная и наиболее исчерпывающая оценка человеческих возможностей.

Нет, не экзотика поразила меня, не то, чем здешняя жизнь разнится от земной, а то, что их роднит. Различия — пена, общее — суть, делающая человека человеком. Зброшенный в море, голый, слабый, беззащитный человек не погиб, выстоял и населил зеленатоватую зыбкую стихию своим человеческим уютom, теплом, укладом, обычаями — слава человеку!

Разве важно, где встретились мальчик и девочка — на поляне, в лесу, на городской улице — или сплылись в мутной воде? Где творился их шепот и молчание, где открылась им сладость прикосновения и первого сближения губ — в траве, под деревом, на садовой скамье или на ступеньках уходящей под воду лесенки? Разве важно, на чем свершает путь свадебный кортеж — на лошадях, слонах, верблюдах, в распластанной сверкающей машине или в длинной, украшенной лентами пироге? Нет, важно лишь то, что — в который раз и все равно впервые — двое спели песню счастливой любви.

Не пленительна и не романтична эта жизнь, но и не так ничтожна и обобщена, чтобы лить над ней уккусные слезы. В ней есть свое достоинство, она требует уважения. И она заслуживает того, чтобы между ней и большой землей перекинулся широкий мост. Я нарочно пользуюсь маниловским образом (пусть еще на мосту торгуют разным нужным для морян товаром), ибо подобное пожелание — чистейшая маниловщина в условиях нынешней Дагомеи.

Нет, и впредь будут колыхаться у тощих свай слабые волны лагуны, копошиться в мутной воде ребятишки, открывать маленькие груди холодно-любопытному взгляду туриста девочки, не отвыкшие от кукол.

Берег надвигался: верхушками далеких пальм, общим тоном своей земли и листвы, пятнами разнообразной жизни, и эти пятна обретали очертания, становясь людьми и предметами — торговками, нищими, большими зонтами над горушками апельсинов и плодами манго, лодками на причале, грузовичками-«ситроенами»...

На другой день мы покидали Дагомею. Ничего нового за истекшие сутки не произошло. Было мягкое, чуть туманное утро, и в новорожденном порту два больших тихих парохода ожидали погрузки. Высокие волны бес-

шумно накатывались на пустынный берег, никто не купался. Говорят, местные люди не доверяют большой открытой воде.

Трудно было вообразить, что страна находится накануне важных событий. Рано или поздно три претендента решат свой спор. Дай бог, чтобы это произошло так же мирно и бескровно, как свержение Зинзу. Но, возможно, в книге судеб уже отмечено, что какой-то юноша упадет курчавой окровавленной головой в красноватый песок, или рухнут пронзенные одной пулей молодая мать и распластанный у нее за спиной младенец, или подогнутся колени сраженного старика. Что же касается свайных деревень, то туда даже выстрелы не донесутся... Прощай, Дагомея!

1969 г.

## КЕНИЙСКИЕ ОЧЕРКИ

### Красные слоны

Тут нет никакой литературной игры — в Кении слоны действительно красные...

Когда мы ехали из Найроби в Момбасу, крупнейший порт на берегу Индийского океана, я с первых минут был заряжен на встречу со слонами. Но минуло два предупреждения: «Осторожно — слоны!», а слонов не было и в помине. На дорогах Кении то и дело встречаются призывы к повышенной осторожности ради слонов, носорогов, бегемотов и других животных. Особой осмотрительности требуют носороги, о них чаще всего бьются легковые, да и грузовые машины. Но и слоны, и бегемоты, и жирафы, и хищники тоже не терпят ротозейства. Непуганые звери — в громадных пространствах заповедников не звучат выстрелы — выходят на обочины дорог и с любопытством глазят на проносащуюся мимо жизнь. Звери доверчивы и неосмотрительны. Трупы даманов, обезьян, гиеновых собак попадают здесь не реже, чем кошачьи трупы на европейских дорогах.

После третьего предупреждения о слонах мы увидели за кюветом темные кучи слонového помета. Я вспомнил мальчика Савушкина из собственного рассказа «Зимний дуб» — он увлеченно рассказывал учительнице о лесном красавце лосе, но сам видел лишь его катышки — и пожелал себе такого же умения узнавать в частном целое. Тогда свежедымящиеся кучи могли бы наградить меня живым ощущением слона, как это было у Савушкина с лосем.

Слонов меж тем по-прежнему не было видно...

Мы ехали по зеленой равнине, пересеченной параллельно нашему шоссе железной дорогой. За полотном уступами подымались поросшие кустарником холмы. По-



«Осторожно — слоны!»



«Ворота» Момбасы

всюду торчали красноватые термитники, похожие на макеты готических соборов. Вдруг мне показалось, что у подножия холмов термитники не стоят на месте, а, меняя свое положение относительно друг дружки, медленно продвигаются к расщелине между двумя холмами. Что это — обман зрения, мираж? Лишь исчерпав все предположения, я признал одушевленность красных горюшек — то паслось небольшое стадо слонов.

Вскоре нам раскрылся нехитрый смысл этого чуда. Метрах в десяти от шоссе весома, грубо, зримо стоял уже ничем не напоминающий термитник слон и, неторопливо захватывая хоботом пыль, обсыпался ею, как это положено всем уважающим себя слонам. Но обычно прах земли сер, цветом в слоновую масть, а здесь — яркая киноварь, ибо уж такие здесь почвы.

Хемингуэй утверждал, что Африка вопреки нашему детскому представлению не желтая, а зеленая. И это справедливо для Восточной Африки, чья красная или красно-бурая земля скрыта под густой зеленой растительностью. Но мне довелось видеть и желтую, вернее, изжелта-серую Африку пустынь и жемчужную — нигерийских саванн. Африка разная. Здесь речь пойдет о зеленой Африке, по которой бродят красные слоны...

Не случайно свой рассказ о Кении я начал со слонов. Впрочем, я мог бы начать и с бегемотов, или с жирафов, или с носорогов, ибо первый вопрос, какой я слышу, вернувшись из Кении: «Ну, а звери-то, есть они там?..» В построении вопроса, в тоне, каким он задается, звучит тоска по зверьевому миру, который мы, люди, общими усилиями изрядно истребили. Во время своих первых путешествий по Африке я наивно полагал, что Черный континент битком набит зверями. Это представление было воспитано во мне прелестными книжками Чуковского и марками. Конечно же, там на каждой ветке висит по обезьяне, за каждым кустом или барханом таится кровожадный лев, все реки кишат крокодилами, а воздух напоен щебетом райских птиц.

Но минули Марокко, наградив коротким лицезрением желтого шакала в горах Атласа, Египет, не подаривший ни единой встречи с диким зверем, Судан со стайкой обезьян в роще и птицей китоглавом на пунцовом от заката песчаном бархане, прекрасная, но совершенно пустынная и в джунглях и в саваннах Нигерия (на

тысячи верст, проделанных мною по стране, пришлась одна-единственная зеленая мартышка) и вовсе лишенная фауны Дагомея, там даже птиц не слышно, — и я разуверился в сказках.

Оказалось — сказка жива в Кении. Уже на другой день по приезде в окрестностях Найроби я стал свидетелем и участником идиллических картин, изображающих трогательное доверие между зверями и людьми. Наш «лендровер» крутился в полосатой гуще зебр, зарывался в антилопье стадо, останавливался у «подножия» жирафа, продолжавшего спокойно обрывать листья с верхушки акации, нырял в овраги и углублялся в заросли в поисках семьи львов, только что примененной косильщиками: львы разделявали маленькую антилопу на троих, но мы натыкались лишь на клыкастых кабанов или кротких диких свинок. Мы озадачились, но не вспугнули куду, удостоились недовольного взгляда птицы-секретаря в коротких штанишках, которые положено носить при атласном камзоле. К нам с полным спокойствием, переходящим в обидное равнодушие, чтоб не сказать пренебрежение, относились страусы: серые самки и черные, с белым подбоем оперения и розовыми, будто опшаренными ногами самцы, полосатые акапи, крошечные газели с острыми рожками чертят, и лишь бородатые самцы гну — полулошади-полубыки — сомкнулись вокруг своих самок и детенышей, пригнув рогатые головы скорее предупреждающе, нежели враждебно.

Мы наблюдали семью бегемотов в неширокой желтоватой речке, а зеленые мартышки швыряли в нас сухими ветками и скорлупой орехов. Большой бегемот лежал в воде, подставив солнцу литую выпуклость спины и положив морду на темный валун, уходящий в береговую тень. Как описать наше потрясение, когда валун вдруг ожил, зашевелился и, с шумом сбрасывая с себя воду, обрисовался неправдоподобной, как в кошмарном сне, громадой какого-то сверхбегемота. То был глава семьи, а покоившая на нем морду бегемотиха умалилась до миниатюрного, грациозного создания. А затем семья во главе с супергиппопотамом поплыла против слабого течения, с поразительной ритмичностью дыхания — погружений и всплываний...

Ну, а когда мы ехали в Момбасу — пятьсот кило-

метров по прямой как стрела дороге, — то зверье гладело на нас с обочин, и я даже сфотографировался на фоне красного слона, неуютно ожидая сокрушительного пинка хоботом в зад, пока переводчик Виктор Рамзес наводил на фокус. А еще — дорогу нам переполз питон толщиной в два увесистых кулака, и мы чуть не отдавили ему кончик хвоста. Я уже не говорю о шныряющих взад-вперед даманах, мангустах и всяких прочих крысах. А вот с леопардами и самым быстрым и добрым из всех кошачьих — гепардом нам не повезло, опоздали к их водою, проскочили место лежки... Зато видели сотни тысяч фламинго — нежно-розовый оком голубого озера. Когда мы вышли из машины и направились к воде, осторожно ступая по сухому гуано и легкому пуху, устилавшим прибрежный песок, розовая полоса, родив из себя слабое шуршание, тонкое бормотание, подобное музыке сфер, отодвинулась от берега метра на три-четыре, будто стянули поясok на озере. Мы увидели у берега серых цапель, погруживших в воду длинные носы, и тонконогих куличков. Чуть позже появились пеликаны с запасливыми подклювными мешками и наши подмосковные уточки: кряквы, чирки, красноголовые нырки, и до чего же странно было видеть этих скромняг в столь изысканной компании! А в выси тянули венценосные журавли — ангелы с золотыми нимбами, горящими на солнце.

Я и сам не понимаю, каким образом из этой перемиленности зверьем пришло ко мне понимание и даже приятие жестокой книги Хемингуэя «Зеленые холмы Африки», где он с упоением рассказывает, как охотился на куду, стараясь убить самца с самыми длинными и красивыми рогами. И он убивал их, но самый длиннорогий куду достался его товарищу по охоте, что повергло Хемингуэя в глубокую, хотя и мужественную печаль. Обо всем этом написано так, будто рога растут на дереве, а не на голове. Но такова философия Хемингуэя; в другом своем произведении он прямо говорит, что животные для того и созданы, чтобы на них охотились. Он ставил лишь один предел себе (кроме, разумеется, обязательных для всех охотничьих правил-ограничений): «...я решил, что буду охотиться до тех пор, пока смогу убивать наповал, а как только утеряю эту способность, тогда и охоте конец».

До поездки в Кению я видел антилоп и других африканских зверей лишь в «стойловом содержании» в зоопарках. Видимо, сочувствуя их плену, я невольно романтизировал утраченную ими вольную жизнь. Она рисовалась мне пленительной и многообразной — сказочные пасторали одухотворенных существ. Подспудно во мне ютилось представление, что в своей дали звери наделены человеческими чувствами, рассудком, чуть ли не речью, даром слез и улыбки и вечной любви. Но вот я увидел их в родной стихии, увидел целыми непугаными стадами. До чего же это тупое, механическое существование — целодневная, безостановочная челюстная работа! Их очарование, прелесть — в нас, они же нейтральны к своей сути, ибо не сознают ее. И у них нет страха смерти. В этом смысле они бессмертны и не заслуживают жалости. Лишь человека можно жалеть, ибо он з н а е т...

И если ты не убежденный вегетарианец, если внутренняя честность и последовательность для тебя что-то значат, ты должен относиться к зверям, как Хемингуэй. Причем такое отношение к четвероногим не противоречит идее защиты фауны, напротив, повышает сознательную заботу человека о доверенном ему мире. В Кении я впервые взглянул на животный мир не через очки антропоморфизма...

### Кариуки

Мне хочется рассказать о Джозае Кариуки. Через этого яркого, своеобразного человека и деятеля можно увидеть разные аспекты кенийской жизни. Он приезжал некоторое время назад в Советский Союз по приглашению Союза писателей, гостил в Москве и Тбилиси и до сих пор хранит благоговейное и чуть испуганное воспоминание о грозном грузинском гостеприимстве. Кариуки — автор всего одной книги: «В лагерях для мау-мау», но эта книга переведена на все главные языки мира, кроме почему-то русского. Он и сам принадлежал к лесному партизанскому братству мау-мау, был схвачен англичанами, провел в заключении семь лет и получил свободу в канун того дня, когда при погашенных огнях был спущен «Юнион Джек» и над Найроби зареял черно-красно-зеленый флаг свободной Кении. Кариуки не кичится литературной славой, он прежде всего поли-

тик, государственный деятель, а уж потом писатель. Кариуки — депутат парламента от Абердера и заместитель министра туризма и заповедников. Это — сегодня, а Кариуки человек завтрашнего дня.

Наша первая встреча с Кариуки произошла в его кабинете на десятом этаже громадного здания, заполненного разношерстой толпой, штурмующей многочисленные министерства. Дела не должны быть непременно первостепенной важности, чтобы попасть на прием к министру или его замам. Так, при нас Кариуки распорядился выдать лицензию на отстрел куду и ягуара европейскому охотнику, отправляющемуся на сафари. Впрочем, охрана животных является в Кении делом государственного значения.

Кариуки выше среднего роста, спортивного кроя: стройный, широкоплечий, широкогрудый, с литыми мускулами. Он чуть преувеличенно элегантен — перстни с крупными камнями, под стать им запонки и булавка для галстука, часы «Ролекс» на умопомрачительном браслете, но сквозь его броскую наружность проглядывает бывший партизан, боец мау-мау, привыкший к лишениям, умеющий нападать, и скрываться, и бить без промаха, и терпеть на допросах, и не изменять клятве борющихся. Крепкий, сильный, веселый человек, настоящий мужчина.

Приветствуя в Кариуки автора замечательной книги и своего коллегу, мы преподнесли ему скромную памятную медаль с профилем Горького. Вспыхнули блицы фотокорреспондентов, их пишущие коллеги без устали строчили перьями.

— Поскольку это связано со мной, — заметил Кариуки, — есть надежда, что в завтрашних газетах появится строчек пятнадцать. Будь на моем месте кто поменьше, не видать бы ни строчки. Газеты по-прежнему в руках англичан.

Он как в воду смотрел: на другой день в двух газетах появились коротенькие заметки о нашей встрече с Кариуки, даже без фотографий. Зато скромная медаль из какого-то легкого металла была возведена в ранг «чистого золота». Неточность далеко не столь наивная и безобидная, как может показаться. Кариуки — ярый враг англичан. В свою очередь они ненавидят Кариуки и всячески пытаются его дискредитировать. При неко-

торой ловкости рук скромная памятная медаль, преподнесенная советскими писателями автору книги о кенийских партизанах, превращается в пресловутое «большевистское золото».

Раз уж речь зашла о газетах, то должен сказать, что здесь повторилась недавняя нигерийская история. Как и в Нигерии, газеты замалчивали пребывание советской писательской делегации в стране. Лишь когда умолчание оказывалось невозможным: встреча с Кариуки, с дочерью президента Джомо Кениаты, исполняющей обязанности мэра Найроби,— появлялась сухая информация на последней странице, в остальном — заговор молчания. Репортеры охотились за нами, но для их материалов не оказывалось места в многополосных газетах. В то же время принадлежащие государству радио и телевидение щедро уделяли нам внимание.

Кариуки считает, что дело освобождения страны остановилось на полдороге: мало получить государственную самостоятельность, свой флаг, и гимн, и парламент, и правительство, надо добиться полной экономической независимости, завершить земельную реформу, чтобы вся земля без выкупа перешла к крестьянам, надо коренным образом перестроить систему образования, освободить дух народа от миссионерских, религиозных пут, а для всего этого — окончательно изгнать англичан. Такова радикальная программа Кариуки.

Мы выразили удивление, что, будучи членом правительства, он придерживается взглядов, столь отличных от официального курса.

— Можно спать в одной постели и видеть разные сны,— спокойно отозвался Кариуки.

Он рассказал нам об отчаянии, овладевшем англичанами, когда им пришлось уходить с насиженных мест. Да еще каких мест — рая божьего на земле: изумительный климат, сухой, чистый, ароматный воздух, обилие зелени, плодородные почвы, богатейшая фауна, трудолюбивый и до поры покорный народ. Англичане привезли в Кению свои обычаи, свои камины, мебель, собак, весь свой викторианский уют, свою ханжескую мораль, церковь, школу. Как им не хотелось уходить! Расставаться с землей, виллами, изумрудными пулами, ручными страусами, ласковым солнцем, охотой, рыбалкой, бугенвиллеями и высокими, устойчивыми доходами. В их

печали было что-то лирическое — печаль Адама и Евы, изгоняемых из рая. Но в отличие от прародителей они не чувствовали за собой греха: они были так милы и обходительны с милыми туземцами, они построили прекрасные дома, школы, церкви, аэродромы, проложили асфальтовые шоссе и пустили по ним автомобили, а на поля — сельскохозяйственные машины, научили кенийцев множеству восхитительных вещей, будь то изготовление компоста, умение терпеть жесткий воротничок или хлестать пиво галлонами...

Но не так страшен оказался черт. Англичане вскоре оправились от потрясения и вновь — пусть на иной основе — укрепили свои позиции в стране. Начать с того, что кенийским крестьянам приходится выкупать втридорога свою же землю у колонизаторов. В руках англичан — почти вся экономика, школа, церковь, пресса. Система начального обучения дает им возможность влиять на формирование сознания юного поколения.

— В школе наших детей спрашивают: кто открыл озеро Виктория? Это у них называется географией. Открыли, конечно, англичане. Но разве для жителей нашей страны озеро Виктория не существовало до того, как на его берега пришел Джек Спик и присвоил Ньянзе имя возлюбленной — только не нами — королевы Виктории? Кто открыл гору Кению? Да никто, она всегда царила над нашей землей. Сходным образом преподается история. Получивший аттестат об окончании школы знает священное писание и все о подвигах королевского пирата Дрейка и лорда Веллингтона и что миссионер Ребман первым увидел вершину Килиманджаро, которую спокон века масаи называли Нгаме-Нчай, но понятия не имеет об электричестве, технике, вообще о практических науках, которые могли бы пригодиться в жизни. Ему накрепко вдолбили в голову, что все в мире открыли, нашли, создали, наградили именами англичане. С затуманенным рассудком и неумелыми руками выходит он в жизнь, чтоб увеличить собой число неприкаянных. К черту такие школы, к черту такое образование! И к черту нынешнюю систему выкупа земли! Нужна земельная реформа — срочно, нужны кооперативы. Мы кое-что сделали в этом направлении, но очень мало, к тому же кооперирование охватывает в основном сбыт. Я в своем избирательном округе создал производствен-

ные кооперативы. Хотите взглянуть? В пятницу я езжу к избирателям. Абердер недалеко, миль сто...

Конечно, мы с радостью согласились и в назначенный день отправились на двух машинах в загородную резиденцию Кариуки. Хозяин сам сидел за рулем головной машины — «BMW» последнего выпуска, с ним ехали глава нашей делегации Виталий Михайлович Озеров и переводчик Виктор Рамзес. Мы с корреспондентом «Правды» Владимиром Озеровым составили эскорт. Чтобы не отстать, мы выжимали из нашей «вольво» сто тридцать пять километров в час, — в бесшумной машине что-то задребезжало, потом отвалилась крышка щитка. Возле знаменитого разлома Рифт-Велли мы совсем потеряли из виду «BMW» и продолжали мчаться вперед без надежды добраться до места назначения, ибо адреса Кариуки Владимир Озеров не взял, самоуверенно полагая, что мы «повиснем у них на пятках».

Разворачивались щедрые пейзажи Кении с эвкалиптами и баобабами, зонтичными акациями и кедрами, а в отдалении вся эта растительность приобретала домашний, среднерусский вид, казалось, что там растут наши вязы, дубы, клены. Дорогу перепархивали метерлинковские синие птицы с жарко сверкающими кобальтом грудками. Промелькивали селения с красивыми усадьбами, тонущими в лиловых, синих, алых бугенвиллеях, плантации сезаля и кофейных деревьев, и где-то у границы безнадежности нас поджидал Кариуки.

— Нам направо! — махнул он рукой в белейшей манжете с ослепительной запонкой, и в тот же миг мы увидели желтую стрелу с надписью: «Гилтия. Кариуки-фарм».

Это настоящее поместье, широко раскинувшее свои уголья в изножию скалистой гряды. Тут большая высокопродуктивная молочная ферма, поля с ячменем — весь урожай на корню закупают пивные заводы. Доход от молочного хозяйства, где занято восемьдесят человек, — недавно хозяин отказался от электрооеня, чтобы дать работу большему числу земляков, — идет на нужды жителей Абердера, в первую очередь молодым кооперативам.

— Я могу быть смелым и независимым политиком, — откровенно говорит Кариуки, — потому что я состоятельный человек и ни в ком не нуждаюсь. Избира-

тели меня любят, я строю им дома, покупаю одежду, еду, предоставляю работу. Но моя популярность куда шире, нежели пределы моего избирательного округа. Я не скрываю свои мысли, всегда говорю то, что думаю, и меня любят не только в моем племени — кикуйю, но и другие племена. Они знают, что мне ненавистен трибализм, а равно и nepoтизм — две стороны одной медали. Кстати, моя жена — из племени камба...

В популярности Кариуки мы вскоре убедились, за-вернув в Абердер. Большая деревня лежит немного в стороне от шоссеиной дороги. Едва мы въехали на деревенскую площадь, как послышались звуки тамтамов и дудок, из глубины деревни в нашу сторону двинулось с пением шествие. Вначале нам показалось, что это девочки-школьницы — на всех были одинаковые светлые платья с короткими рукавчиками и темными поясками. Но вскоре мы обнаружили свою ошибку — то были вполне взрослые женщины разного возраста. Голову молодой, статной предводительницы-капельмейстера украшала высокая фуражка, в сильной руке она сжимала палку и размахивала ею, управляя хором. Остальные демонстрантки, как это принято у женщин-кикуйю, обриту наголо, в обвислых, изуродованных ушах они несли столь непосильный груз металлических колец — десятка три в каждом ухе, — что вынуждены были подвязать украшения еще и тесемкой через голое темя. Обнаженные руки забраны браслетами над локтевым сгибом, на шее две-три ниточки бус. В песне, ритмичной и однообразной, то и дело упоминается имя Кариуки — величальная депутату, сложенная местными поэтами. Подобной же ритмичностью и однообразием, не лишенным завораживающей прелести, отличался и долгий-долгий танец, который женщины исполняли, не нарушая строя. Словно общая судорога враз пронизывала тела танцовщиц. Кариуки успел поговорить с мужчинами, пошутить со старухами, поиграть с детьми, посмотреть какие-то бумаги, а ритмические судороги не прекращались. Мы простились, сели по машинам, тронулись, выехали из деревни, а вслед нам все еще звякали украшения танцующих женщин.

Миновав дома из гофрированного железа, построенные на средства Кариуки для членов кооператива, мы взяли курс к бензоколонке, где он поменялся машинами



Кариуки среди избирательниц



Резчики по дереву

с женой, очаровательной, тихой, будто дремлющей женщиной, уже подарившей ему шестерых детей. Жена оставалась на ферме, а Кариуки ехал с нами в город.

— Береженого бог бережет,— сказал депутат.— Мою машину, наверное, уже заметили. А этот «ситроен» я только что приобрел, мы собьем злоумышленников с толку.

Никаких злоумышленников мы не обнаружили, лишь раз на перекрестке возникли четыре статные, длинные фигуры в одеялах, надетых на манер римской тоги — одно плечо и часть груди обнажена. Их волосы пламенили от охры, а при малом пригляде обнаружилось, что охрой покрашены и длинные, узкие ладони, и ногти, и ступни. Каждый держал у бедра то ли короткое копьецо, то ли длинный дротик. Масаи, скотоводы-кочевники, которых иногда называют кенийскими цыганами. Сильное, смелое племя. Их боятся львы. Масаи с детства приучаются бросать копье в цель. К совершеннолетию они делают это молниеносно и без промаха. Увидев льва, они бросают копье не раздумывая. И львы знают это, поколения львов и поколения масаи выяснили отношения, и вековой опыт обрел силу инстинкта. Львы, как и все остальные звери, не нападают первыми на человека (тигр-людоед и медведь-шатун — исключение, лишь подтверждающее правило), но и не удирают от него поджав хвост. На большей части территории Кении охота на львов запрещена, и хищники спокойно продолжают свою трапезу под нацеленными на них объективами фотоаппаратов. Но при виде красноголовых копьеметателей царь зверей обращается в постыдное бегство...

### Молодые силы

То был насыщенный литературой день. Утром мы побывали в двух крупных издательствах, в «час коктейлей» — у супругов Огот, вечером нас пригласил к себе молодой прозаик, поэт и редактор Джонатан Кариара.

Видный ученый, доктор Аллан Огот, муж талантливой писательницы Грейс Огот, автор трехтомной истории племени луо, к которому и сам принадлежит, рассуждал с комически горестным видом:

— До англичан никого не интересовало, кто ты — луо, кикуйю, камба или масаи. Живи себе на здоровье и

давай жить другим. Трибализм — английского производства. Они навязали кенийцам племенную рознь, как и во всех других своих колониях. Племенная вражда ослабляет африканцев, а колонизаторам того и надо. Им ненавистно все, что может способствовать нашему объединению. Они всячески препятствовали — и продолжают это делать сейчас — становлению у нас собственного литературного языка. Таким языком может стать суахили. На суахили говорят кикуйю и большинство других племен, населяющих Кению, Танзанию, Замбию, Конго, Уганду. Правда, на нем не говорят луо. Но вот я — луо, моя жена — луо, и мы твердо уверены, что суахили должен стать общим языком кенийцев, в конце концов луо тоже понимают этот язык. Пора нашим писателям переходить на суахили.

— С чего ты взял, что я тоже так считаю? — послышался голос Грейс Огот. Ее полные красивые губы медленно, словно нехотя, раздвигались над белыми, чуть торчащими вперед, как у всех луо, зубами. — По-моему, писать надо по-английски.

— Это что-то новое! — растерялся ее муж.

— Английский знают все, а суахили?! — она пренебрежительно дернула плечом.

— Боюсь, что в тебе заговорила племенная ограниченность, — улыбнулся муж. — Ты, конечно, понимаешь, что наречие луо не может претендовать на всеобщность, и отвергаешь суахили. Надо быть выше этого. Язык — та же идеология. Мы должны учить детей на языке нашей земли, а не на языке угнетателей. Значит, и писатель должен говорить с народом на этом языке. У нас не так много книг, достойных того, чтобы их читали там, где не говорят на суахили. Но есть немало хороших книг местного значения. А выдающиеся произведения можно перевести и на английский, и на французский, и на какой угодно...

— Ты слишком умный! — прервала Грейс. — Господи, почему мне достался такой умный муж!

Видимо, раздосадованная тем, что превосходство в споре оказалось не на ее стороне, Грейс принялась эпатировать присутствующих. Так, она начисто отрицала общественный характер своего творчества. Тщетно В. М. Озеров пытался убедить очаровательную романистку, что она, конечно же, служит обществу.

— У меня была бабушка, — сказала Грейс, — очень, очень старая и очень, очень добрая. Она собирала своих внучат у костра и рассказывала им сказки, прелестные, наивные, захватывающие сказки нашего племени. Вы полагаете, бабушка сильно задумывалась над тем, служит ли она обществу? Она просто старалась, чтоб внучатам не было скучно. Вот и я, как моя бабушка, болтаю у костра и, надеюсь, не очень скучно.

— Юрий Маркович! — вскричал скандализированный Озеров. — Почему вы молчите? Скажите о себе!

Мне подумалось, что силы будут слишком неравны: трое мужчин против одной женщины, и я принял сторону Грейс:

— Видите ли, я тоже, как бабушка...

Грейс Огот поцеловала меня, обогатив мой жизненный опыт знанием того, как целуют женщины луо. Таким образом, неожиданно оказанную мне милость можно отнести к этнографическому ряду. А на помощь В. М. Озерову пришел Аллан Огот.

— Когда ты писала рассказ о гибели Тома Мбойи, ты тоже просто болтала у костра?

Том Мбойя из племени луо, второй человек в стране, был застрелен днем на центральной улице Найроби. Стрелял в него не англичанин, а местный человек. Все очень темно. И хотя нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным, в настоящее время никто не знает правды о гибели Тома Мбойи.

— Мне было смертельно жаль Тома, и я ненавидела его убийц, — смяв яркий рот, сказала Грейс Огот.

— Да, и люди плакали, читая твой рассказ. Значит, его эмоциональный заряд имел общественный характер, не правда ли?

— Боже мой, какой ты умный, просто сил нет! Слушайте, — обратилась Грейс к нам, — вы много ездите по свету, найдите мне дурака, прошу вас!

Мы вынуждены были отказать Грейс: все дураки сейчас стали такими умными, что отыскать настоящего, откровенного дурака — дело непосильное.

У Джонатана Кариары старенький, задышливый «пежо». И я до сих пор не знаю, действительно ли живет он на вершине крутой горы или так трудно дался его машине малый подъем на одной из окраинных улиц Найроби. Мы источали столько голубого бензинового

дыма, производили столько надсадного шума — рева, гула, треска, словно форсировали гору Кению. У Кариары небольшой уютный домик, где он живет с крошечной племянницей и стариком поваром — тип кенийского Савельича. Правда, тут нет и следа того социального неравенства, которое хоть изредка заставляло юного дворянского сына Гринева вспоминать, что он барин, а старик дядька — раб.

Кариара собрал большую, в основном молодую компанию. Если исключить директора издательства «Бюро восточноафриканских литератур», очень элегантного и фундаментального человека, казавшегося много старше своих сорока двух лет, собравшиеся принадлежали к поколению, что вступило в самостоятельную жизнь уже после провозглашения независимости Кении. Эти люди — издательские работники, начинающие писатели, чиновники, журналисты, студенты и молодой парламентарий с женой-англичанкой. Вообще тут собрались дети разных народов: кенийцы, русские, индийцы, две англичанки, канадка, совершающая какое-то турне по Африке. Весь вечер она оказывала преувеличенное внимание известному фельетонисту, который не способен был ни ответить ей взаимностью, ни защититься по причине тяжелого опьянения. Кстати, эти двое выпадали из сдержанно-изящной компании друзей Кариары. Остальные танцевали с обычным для африканцев чувством ритма, иногда освежались глотком вкуснейшего консервированного пива, но в основном эти серьезные, глубоко задумавшиеся о будущем своей страны молодые люди пришли сюда для разговора.

Их многое не устраивает в сегодняшней Кении. Они не дают затуманить себе голову внешними приметами государственной самостоятельности: парламентом — миниатюрной копией английского парламента со спикером в белом нейлоновом парике, из-под которого стекает обильный пот на черное лицо, с мешком овса (а может, ячменя?), служащим ему сиденьем, со скрупулезным подражанием всем утомительным церемониям вестминстерского образчика; они видят, что плодами независимости пользуется элита отечественных богачей и тех, кто согласен служить иностранному капиталу; что англичане «ушли, но остались» и сейчас, вежливые, настырные и неутомимые, вновь набились во все поры делового и

общественного бытия Кении. На меня сильнейшее впечатление произвели полные искренности и боли слова Кариары, сказанные на прощание:

— Вы видели нас смеющимися, весело скалящими белые зубы, без устали танцующими. Поверьте, это маска. Мы рыдаем в глубине своей души. Рыдаем черными, как наша кожа, слезами!

Но Кариара и его друзья не только плачут невидимыми миру слезами. Они борются, ибо давно сделали выбор: служить не власть имущим, а народу. Очень точно назвал В. М. Озеров задачу журнала «Зука» («Пробуждение»), редактируемого Джонатаном Кариарой: «Активизировать сознание народа». Да, такова важнейшая и нелегкая цель, которую поставили перед собой передовые кенийские литераторы.

### Предания, быт, вера

В один из воскресных дней мы совершили путешествие к священному месту в предгорьях Кении, где проживают кикуйю, самый многочисленный из народов Кении. Кикуйю сыграли выдающуюся роль в борьбе за освобождение страны. Движение мау-мау зародилось среди крестьян-кикуйю. Лишь потом к нему примкнули люди других племен.

Предание говорит, что прародители кикуйю были несведущи и бесплодны, подобно библейским Адаму и Еве до того, как змей пришел им на помощь. Откуда произошли они сами — дело темное, похоже, тут не обошлось без участия бога Нгаи. Когда они совсем извелись, Нгаи устроил им плодотворное соединение в дупле старого дерева, с того и пошел могучий, многочисленный народ. Интересно, как совпадает мифология кикуйю с некоторыми библейскими мотивами: тут что-то от истории наших прародителей и мотив бесплодия Сарры, зачавшей уже в глубокой старости, и — уже из Нового завета — двусмысленная причастность бога к тому, что является личным делом супругов. Место, где произошло это волнующее и знаменательное событие, открыто совсем недавно. Иные вольнодумцы утверждают, что с равным основанием можно было канонизировать другое дуплистое дерево. Как бы то ни было, хоть сюда и не потянулись толпы паломников, туристы порой делают крюк,

чтобы, поднявшись сотни на две метров, оказаться перед сквозной оградой вокруг нескольких старых деревьев — одно с глубоким темным дуплом, — двух убогих хижин и колоды для пчел. К воротцам прибит плакат: «Вход строжайше запрещен!».

Прочтя вслух грозную надпись, наш проводник — корреспондент ТАСС Сергей Кулик тут же толкнул хилые воротца и дерзновенно ступил на священную землю.

— Что вы делаете?! — вскричали мы. — Это строжайше запрещено!

— Запрещено — бесплатно, а мы готовы заплатить, — хладнокровно отозвался бывалый Кулик, — да и вообще надпись сделана для подогрева интереса.

Он не ошибся. Из-за поворота возникла группа мужчин и женщин, будто поджидавшая, чтобы мы поддались соблазну. Мужчины были молоды, одеты по-европейски — в пиджачные костюмы и свитеры; женщины — стары, бритоголовы, иные в кофтах и юбках, иные завернуты в лоскут материи. На худых руках старух брели браслеты, уши, свернутые в трубочку, как пересохший осенний лист, изнемогали от тяжелых украшений. Среди мужчин оказались деревенский староста и учитель школы, среди женщин — бабушка, сторожиха священного места. После краткого, крайне дружелюбного разговора мы в сопровождении всей компании проследовали за ограду. С нас денег не взяли, лишь попросили дать мелочишку симпатичной веселой бабушке, присматривающей за хижинами. Она поминутно совала нам маленькую горячую руку, улыбалась, показывая зеленоватые десны, говорила: «Гуд бай!».

За изгородью стоял дом главы семьи, а по сторонам — дома жен и хранилища кукурузы, ямса. В дом хозяина женщина не имеет доступа. Когда надо, он сам отправляется к одной из жен. Мы познакомились с хозяйством бедняги, имевшего всего одну жену.

Удивительно непритязательное с виду жилище круглой формы (круг под дом вычерчивается деревенским колдуном с великими церемониями) сооружено из жердей и веток деревьев, крыша не пропускает влаги даже во время затяжных дождей, но выпускает дым — топят по-черному. В дом ведет низенькая дверца, посередине сложен очаг, служащий для приготовления пищи и обогрева.

При всей кажущейся примитивности жилище устроено очень разумно. Тут есть закуток для хозяйки с полатями, способными приютить двоих, и «детская». При входе, справа, — кладовая для пищи, слева — ларь, где хранится теплая одежда, далее — запас топлива. Здесь же обитают овцы, куры и петухи, но маленькое жилье так вместительно и складно, что всем хватает места, тепла и даже воздуха — последнее кажется чудом.

Я говорил о женской хижине. Жилище главы семьи просторнее, он живет в гордом одиночестве, у него нет очага, лишь костерок, ибо пищу ему приносят дети мужского пола. Близ изголовья лежака — баклажка для молока, другая — для виноградного вина, миска и чашка.

Жизнь деревенских кикуюю опутана множеством религиозных предрассудков, суеверий, идущих из древности обычаев. Например, обрезание девочек. Но можно ли сказать, что кикуюю религиозны? Пожалуй, нет. Во всяком случае твердости в вопросах веры у них нет. Они довольно охотно посещают англиканскую церковь, но это не значит, что языческие божки разжалованы. Мы видели богослужение в церкви Форт-Хилла, украшенной превосходными фресками Эммо Нджау. Вся история черного Христа и его черной матери при участии черного Иоанна Крестителя, черных ангелов, черных апостолов, черных фарисеев и саддукеев и эбеновой Марии Магдалины воспроизведена на стенах в ультрасовременном храме с огненным темпераментом, заставляющим вспомнить великих мексиканских монументалистов. Белым был во всей этой истории только голубь, навестивший жену плотника Иосифа. Прихожане, только что сосредоточенно внимавшие черному пастору, отвлеклись нашим появлением в храме и никак не могли вернуться к слову божьему. Да и сам молодой проповедник потерял нить...

Некоторое время назад Сергею Кулику пришлось брать интервью у знаменитого бегуна Кипчого Кейно из племени календжин. Дело было незадолго до игр Британского содружества. Когда Кулик приехал в казармы, полицейский лейтенант Кейно находился в церкви на молитве. Кулик терпеливо дождался конца богослужения, но легендарный бегун, всегда расположенный к русским, на этот раз не проявил обычного гостеприим-

ства. Оказалось, он торопился в деревню на небольшое языческое представление: смесь богослужения с сельским празднеством, густо сдобренным эротикой. Он рвался туда не ради нарушения спортивного режима, а чтобы умиловать языческих божков.

— Не будь соревнования столь ответственными, — объяснил Кейно, — я ограничился бы молитвой в церкви. Но это же игры Британского содружества! Нельзя ударить в грязь лицом. Я дал слово Джомо Кениате привезти золотую медаль. Тут уж надо хорошенько застраховаться.

И он действительно застраховался так удачно, что завоевал две медали: золотую на своей коронной дистанции — полуторке, бронзовую — на пяти тысячах. Он совершил этот спортивный подвиг, несмотря на анонимные письма с угрозами лишить его жизни, если он «не подвяжет одну ногу». Совместные заботы Иисуса Христа и кривого деревянного божка, над которым курил и бормотал сельский колдун, уберегли бравого полицейского от ножа и пули и привели к двойной победе...

### Маски

Когда заходит разговор об искусстве Кении, первым делом вспоминают о замечательных деревянных масках. Действительно, маски так же характерны для Восточной Африки, как головки из черного и красного дерева — для Западной. Пугающе уродливые маски разной величины: от крошечных, умещающихся на ладони, до тяжеловесных громадин — пялятся на вас щелевой пустотой глаз с витрин магазинов, с лотков уличных торговцев, с прилавков рыночных продавцов; они разложены на дражных кошмах возле дверей отелей, гроздьями свешиваются с сучьев акаций в местах людских скоплений, назойливо предлагают свое высокохудожественное безобразие — оскал кровожадных клыков, жесткую лепку злобных морщин, тайнопись зла на каждой черточке. Их ритуальное назначение выражать идею зла.

Лишь поначалу кажется, что многообразие масок безгранично. Потом ты обнаруживаешь, что маски повторяются. Резчики по дереву следуют определенным трафаретам.

В артели под Момбасой, на берегу Индийского океа-

на, я приобрел довольно большую маску дьявола: черную с красным языком, торчащим меж красными клыками. Зловещую и уютную — уж больно не страшен дьявол в наши суровые дни. Артельщики — их там более сотни — работают на корточках в узких длинных землянках с двускатной соломенной крышей. Их орудия производства — стамеска и короткий острый нож с черенком, обернутым изоляционной лентой. Артельщики — народ в большинстве своем молодой, добродушный и веселый, хотя нельзя сказать, чтоб их заработки располагали к большому веселью. Лишь немногие мастера, выполняющие тонкую и замысловатую работу, получают довольно высокую плату (во всяком случае крестьянину такие доходы не снились).

О заработке ремесленников можно судить по запястью левой руки. У подмастерьев там болтается на дешевой браслетке что-то вроде детских часиков без механизма; у более высокооплачиваемых — горят поддельным золотом дешевые броские часы сомнительных швейцарских фирм; у мастеров высокой квалификации можно увидеть даже «Омегу», не последнего, разумеется, выпуска; а вот подвыпивший бригадир, одаривший нас своим вниманием, щеголял в японской «Сейке» на красивом браслете с хитрым замком.

Наше знакомство и началось с часов. Он привязался к Виктору Рамзесу: какие же вы, мол, белые, если у вас порядочных часов нет?

— Вон у нашего друга «Сейка», — кивнул на меня Рамзес.

— Подумаешь, одна «Сейка» на троих!

— Мы люди бедные, — улыбнулся Рамзес.

— Тоже мне англичане! — с глубочайшим презрением сказал бригадир и сплюнул. Его ввело в заблуждение превосходное «лондонское» произношение Рамзеса.

— Мы не англичане, мы из страны рабочих и крестьян.

— Откуда? — не понял бригадир.

— Из Москвы.

Бригадир удивился, присвистнул и сразу перестал дерзить. Он даже разрешил сфотографировать себя за работой. Он взял какую-то доску и принялся обтесывать ее стамеской-молотком, уверенно и ловко, хотя и нахо-

дился под мухой. Рамзес защелкал затвором «Зоркого», а В. М. Озеров пустил завод кинокамеры.

— Часы видны? — спросил бригадир.

— Видны, видны, — заверили его.

— А чего этот, который с «Сейкой», не снимает? — строго спросил бригадир.

— У него аппарата нет.

— Пусть снимает часами!

Смеялись все кругом, даже маски...

### Праведник

Эти скульптуры можно видеть на витринах и стеллажах художественного салона «Гелери оф Аффрика» в центре Найроби. Темные и оттого кажущиеся сумрачными фигурки из глины высотой в полтора-два вершка: крестьянин с ножом-панго, похожим на мачете, женщина со скрбком для очистки шкур, терпеливый рыбак, торговец коврами, уличный мальчишка. Иногда фигурки образуют нехитрую композицию: на длинной скамье сидят несколько мужчин и женщин. Пожилой мужчина, чуть наклонившись вперед, словно баюкает искалеченную руку в толстых лубках; рядом с ним женщина вытянулась струной, руки зажаты в коленях, ей неможется, что-то тянет внутри, и она тщится принять удобную позу; на руках у ее соседки с больным, измученным лицом безмятежно спит ребенок, экая напасть — захворала, а ребенка оставить не на кого; еще одна, совсем молоденькая, в горестно-нежном порыве прижимает к себе зашедшегося в плаче малыша — какая-то хворь терзает маленький организм; обезумевший от боли мужчина отчаянно схватился за щеку... «Очередь к врачу» — так называется скульптура тридцативосьмилетнего скульптора-самоучки Эдварда Нженги. Он изображает самые простые бытовые сюжеты, уличные сценки: девушка в мини-юбке встревоженно смотрит на часы — кавалер опаздывает; другая — в телефонной будке — прижала к уху трубку и забыла обо всем на свете; подросток удирает от полицейского; усталый каменщик, нищие, побирушка, копающаяся в отбросах. Все скульптуры отмечены острой социальной характеристикой, это не просто случайно примеченные люди толпы, это типы сегодняшней Кении. Скульптуры Нжен-

ги хочется рассматривать долго и пристально, в них сила и доброта истинного таланта, любовь и сострадание к малым мира сего, громадная наблюдательность, в них жар социального протеста.

Персональная выставка Нженги имела огромный успех, его слава выплеснулась за пределы страны, работы пошли нарасхват. А Нженги, имеющий жену и троих детей, беден, как церковная мышь, ютится в полутемной комнате и работает лишь по ночам при тусклом свете слабой электрической лампочки. Поэтому он не может заниматься живописью, которую считает главным своим призванием, да и краски дороги, ему не по карману.

Эдвард Нженги служит в Истли, беднячком пригороде Найроби, где под эгидой пресвитерианской церкви находится «Центр помощи неимущим». Здесь имеется бесплатная школа с одной учительницей, обучающей детей бедняков чтению, письму, счету и закону божьему; консультация, помогающая девушкам приобрести профессию машинистки-секретарши; здесь бесплатно раздают еду, а по воскресеньям устраивают молебны, дабы бедняки могли хорошенько поблагодарить боженку за все его милости.

Эдвард Нженги носит громкое звание директора этого Центра. Когда-то он работал телефонным техником. То было еще во время господства англичан, и люди племени кикуйю дали клятву борьбы с поработителями. Англичане производили массовые аресты в расчете выловить давших клятву. У кикуйю клятва — святое дело, даже если она дана по принуждению. Нужно очень постараться, чтобы сделать из кикуйю клятвопреступника. Англичанам это порой удавалось. Режим их лагерей отличался крайней жестокостью. Заключенных томили голодом, жаждой, непосильным трудом, избивали за малейшую провинность, бросали в яму, подвергали чудовищным пыткам. Молодой Эдвард Нженги провел два года в лагере Лагата. Он освободился лишь с падением колониального режима. К прежней профессии уже не вернулся. Не мог вернуться. Он насмотрелся на горе, страдания и муки и навеки исполнился глубочайшей жалости к своим братьям во человечестве. Он пошел работать в «Центр помощи неимущим». Церковь не особенно щедра к своим подопечным. Все деньги, зарабо-

танные от продажи скульптур, Эдвард Нженги отдает беднякам Истли. Он мог бы жить в просторной, хорошо обставленной квартире, иметь свой автомобиль, а главное — покупать дорогие краски и заниматься живописью. Но, подвижник милосердия, он корпит ночами над терракотовыми скульптурами, чтобы затыкать многочисленные прорехи в скудном бюджете бедняцкого Центра.

Нженги начал лепить по выходе из лагеря, вспомнив, что еще в детстве пробовал создавать из глины фигурки людей и животных. Эти попытки творчества вызвали град насмешек в деревне — из глины надо лепить хозяйственные горшки, а не бесполезную чепуху, и Эдвард Нженги постарался забыть о своем странном даре. Но теперь мучительная память о пережитом не давала ему ни сна, ни покоя, и пальцы сами потянулись к мягкой, податливой глине. Он стал наделять материальным существованием преследующие его образы мук и горя. Без устали лепил он своих товарищей по заключению — в непосильном труде, на больничной койке, на краю могилы. Потом он сделал композицию «Переноска камней» — сгибаются под тяжелой ношей костлявые спины заключенных, на голове одного из них мешок с прорезями для глаз — это доносчик. Лагерное начальство трогательно заботится о предателе, закрыв ему лицо, чтоб заключенные не могли узнать его и отомстить.

Уже в первых работах Нженги проявились особенности его дара: острейшая наблюдательность, вера в подробность, умение обобщать. Он не думал о славе, ни тем более о выгоде, ему нужно было пригасить уголек в груди. И вдруг оказалось, что скульптуры эти имеют значение не только для него самого, к ним тянутся души других людей, а вслед за душами потянулись руки с кошельками. Так Нженги обрел возможность добывать солидный приварок к скудному бедняцкому котлу своих подопечных в Истли.

Эдвард Нженги — праведник, подвижник, такие люди, как он, — надежда Кении...

1970 г.

## ПУЭНТ-НУАР

Я только что вернулся из Народной Республики Конго и весь еще там, на берегу великой реки, в джунглях и саванне, на волнах Атлантического океана, в теневой зелени Бразавиля. Я по-прежнему принимаю делаги от малярии, как всегда разыгравшейся конголезской весной, и вкус горькой пилюли мне сладок, потому что возвращает назад, к тем местам, где мне было так полно, радостно и увлекательно, к любимившимся людям, к дружественному душе пространству. Мне еще не под силу рассказать о всей стране, слишком остры, свежи и многообразны впечатления, а я не отдышался с дороги, не обрел того спокойствия и чувства расстояния, что необходимы для размышления и творчества.

Но мне хочется, чтобы Народная Республика Конго присутствовала в этой книге, и я попробую рассказать хотя бы о Пуэнт-Нуаре — морских воротах страны.

Мы отправились туда на четвертый день по приезде в Конго, уже очарованные столицей и страной, дружелюбно приоткрывшейся нам и за столь короткий срок. На аэродроме в Пуэнт-Нуаре нас встретили соотечественники из ветеринарной группы, работающей в Конго. Чудесные люди! Они уступили нам — писателю Александру Кулешову и мне — свое жилье в Бразавиле, однокомнатную поместительную квартиру над бензоколонкой «ЭССО», со всеми запасами французских порошковых супов: от лукового до шампиньонового, итальянских макарон и отечественной копченой колбасы, и, судя по всему, решили не оставлять своим покровительством и в Пуэнт-Нуаре. Вот они — ветеринарные врачи Александр Александрович и молодой Дима, обходящийся пока без отчества, коренастый шофер-механик Геннадий Иванович, сухожилистый переводчик Володя, неизменно щеголяющий в обтяжных полосатых трусиках.

Все нерослые, крепкие, как кленовая свиль, заряженные неиссякаемой веселой энергией. У таких не забалуешь: они наверняка заставят дойти местных коров и помогут конголезцам создать продуктивное животноводство — коровы малочисленных стад почти не дают молока. Здесь редко встретишь овец, коз и свиней, лишь голенастые куры бродят вокруг крестьянских хижин. Конго ввозит мясо-молочные продукты. В основном из Республики Чад.

С ветеринарами приехал и глава советской колонии в Пуэнт-Нуаре, молодежавый, похожий на киногероя твердым абрисом рта и поволокой ласковых карих глаз преподаватель географии Анатолий Иосифович Сиротенко.

Распределившись по машинам, мы двинулись к городу. День шел под уклон — через каких-нибудь полчаса вспыхнет пожарно-багровая заря и сразу сгаснет, и на черном бархате неба загорится звездный рисунок Южного полушария. И все же я попросил свернуть к океану и, ловя последний отблеск дня, сходу разделся и кинулся в крутые, теплые, упругие волны. Они приняли меня отнюдь не бережно, оглушили и отнесли далеко в сторону...

Когда я брел к машине, передо мной по темнеющему нежному песку проскальзывали какие-то призрачные существа, заявляющие о себе лишь дрожанием воздуха, тенью смещением. Я уже склонен был отнести эту странную мельтешню за счет игры воображения, потрясенного океаном, но тут переводчик Володя протянул на ладони крошечного белесого крабика с длинными ножками и выдвинутыми вперед на тонких росточках глазами — будто переносные лампы на шнурах. Он опустил крабика на песок, и тот исчез в мгновенном светотеневом промельке.

Мы въехали в Пуэнт-Нуар — невысокий, белый, типично южный приморский городок, обсаженный пальмами, кокосовыми и веерными, похожими на распахнутый павлиний хвост, банановыми и манговыми деревьями, убранный бугенвиллеями и каким-то вьюнком с бледно-лиловыми цветами. Вмиг наставшая тьма озарилась светом нечастых фонарей, ослепительным — витрин и празднично-ярким — реклам. Город располагал к себе покоем нелюдных улиц, обилием зелени, легким

морским воздухом — а мы-то боялись, что здесь нечем будет дышать от испарений, — деловым, укрощенным расстоянием, шумом порта, причастностью мировому пространству.

Сидя в просторной машине Сиротенко и любуясь вечерним городом, мы слушали легенду Пуэнт-Нуара. Впрочем, легенде предшествовал вполне достоверный исторический экскурс.

В пятнадцатом веке первые европейцы — португальские моряки — высадились на землю Конго немного севернее Пуэнт-Нуара. Там находилось небольшое королевство Луанго, процветавшее за счет работорговли. Португальцы оказались выгодными клиентами... Пуэнт-Нуаром, Черным Местом называли рабы клочок суши, куда их сгоняли перед отправкой на невольничьи суда. Таково самое раннее предание о происхождении названия морских ворот Конго.

В девятнадцатом веке сюда пришел французский исследователь Саворьян де Бразза, родом итальянец. Он числился по морскому ведомству, но пришел не морем, а сушей, из Габона, который исследовал и «подарил» Франции. Король Макоко в свою очередь подарил любезному и щедрому на мелкие знаки внимания пришельцу часть своих владений от бухты Луанго в глубь суши.

Открыленный успехом, де Бразза двинулся дальше, за новыми подарками, а в бухту Пуэнт-Нуар вошла канонерская лодка «Стрелец». Капитан Робер Кардые собрал окрестных вождей и под стволами наведенных орудий заставил их подписать договор о протекторате. Впрочем, вожди не понимали по-французски и ставили племенной знак под документами, смысл которых оставался для них темен. Так началась колонизация Конго...

Первоначально французы думали строить порт в бухте Луанго, но выяснилось, что она непригодна для крупных судов, и тогда остановили выбор на бухте Пуэнт-Нуар, не испугавшись зловещего названия. Впрочем, новые хозяева страны полагали, что это название происходит — вполне безобидно — от обнажений черной земли в красных глинистых почвах.

Но африканцы знали, что это не так. У входа в бухту некогда высилась скала, черная, как кожа африканца, и острая, как копье. Днем она погружалась в воду, но,

когда в бухте появлялся вражеский корабль, скала стремительно всплывала и топила непрошеного зашельца. Ночью же с приближением опасности скала вспыхивала яростным пламенем, и ослепленные враги разбивались о ее твердь. И все же настойчивость, алчность, дерзость белых людей осилили дивную скалу, и она навсегда ушла на дно. Нет, не навсегда. Когда вся Африка станет свободной, скала подыметя со дна океана и займет свое место у входа в бухту как гордый символ освобождения. Такова поэтичная и трогательная легенда Пуэнт-Нуара, отраженная в гербе города: на фоне волн высится остроконечная скала.

— А мне говорили, — вмешался вдруг переводчик Володя, — что название Пуэнт-Нуар возникло оттого, что место тут низинное и с кораблей кажется, будто за кромкой берега черная пустота.

— Ну вот, еще одна легенда, — заключил Сиротенко, сворачивая к гостинице...

В тот же вечер состоялась наша встреча с советской колонией.

Хорошие люди поехали работать в Народную Республику Конго! Мы недолго пробыли вместе, я не сумел даже запомнить иных по имени-отчеству — военная контузия резко ослабила мою механическую память, но не коснулась памяти душевной, и они все во мне со своими добрыми, внимательными лицами, шутками, дружелюбным смехом, характерными словечками, жестами, с ясным светом человека на каждом челе.

Я отдаю себе отчет, что иной скептически настроенный читатель подумает с усмешкой: ладно уж, люди едут в Африку заработать на кооперативную квартиру и машину, и нечего лирику разводить! Да, если человек добросовестно отработает положенный по контракту срок, если не спасует перед тропиками: жарой, духотой, влажностью, малярией, не падет духом перед бытовыми трудностями — далеко не все попадают в столицу и крупные города, — если сам не ударит от слабости и тоски или его не попросят «выйти вон», то несомненно заработает себе и на квартиру, и на машину, и на всякую радио- и магнитофонную технику. Но в случае, о котором сейчас идет речь, вполне резонный материальный стимул ничего не объясняет.

За редким исключением специалисты, работающие

в Пуэнт-Нуаре, уже не впервой в Африке. Многие приехали сюда из Алжира — там условия жизни куда лучше, иные побывали в конголезской глубинке — там нет простейших бытовых удобств, и все давно построили себе квартиру и машиной обзавелись и тем не менее продолжают работать в далекой стране, где дьявольская сушь сменяется ливнями и парной духотой, где малярийные комары издеваются над усилиями фармацевтов, где работа неизмеримо труднее, сложнее, изнурительнее, нежели на родине. Те же специалисты, что приехали сюда впервые, уже обеспечили себе необходимый «житейский набор», но все до одного изъявили желание остаться на второй срок. Нет, как хотите, одними лишь соображениями выгоды этого никак не объяснишь.

Да и о какой выгоде может думать, к примеру, старший преподаватель Валентина Ивановна Куркина, немолодая, одинокая женщина, отсчитывающая свои годы уже не веснами, а зимами? Опытный, уважаемый педагог, она пользовалась в Москве всем заслуженным комфортом, преподавала в Педагогическом институте, ходила в театр и на концерты, принимала друзей. И вот же, бросила удобную, налаженную жизнь и подалась в Конго, в дремучую глухомань, на север страны, в крошечный городишко, где не было ни водопровода, ни канализации, где движок, проработав два дня, замолк на два года, оставив Валентину Ивановну при керосиновой лампе, облепленной мошкаррой; где школьницы достигают полного женского расцвета в четырнадцать-пятнадцать лет со всеми неизбежными последствиями, а старшеклассники, которым за двадцать, являются отцами семейств. Легко ли, просто ли с такими учениками? Достаточно ли тут обычного педагогического опыта, твердых знаний и усердия? Нет, тут требуется нечто куда большее — способность жертвовать собой. Сейчас Валентина Ивановна преподает географию в лицее Пуэнт-Нуара, и там не просто: молодежь занозистая, требовательная до дерзости, жадная к знаниям, но с плохой подготовкой, остро чувствительная к малейшей обиде. То, что делает Валентина Ивановна в Конго, называется не службой, а служением. Это слово с полным правом можно применить и к доктору Степаненко, хирургу «за все», которого его многочисленные

пациенты считают чудесником, и ко многим, многим другим.

...Новый день начался с огромного и грозного пуэнтнуарского рынка, раскинувшего свои крытые ряды неподалеку от нашей гостиницы. Издали деловой хозяйственный рынок напоминал праздничную ярмарку — так пестра толпа, так сочны африканские краски, так громка музыка сотен транзисторов. Здесь я наконец воочию узрел зверьевого мир Конго, который тщетно пытался обнаружить в окрестностях Браззавиля. Правда, был этот мир безгласен и бездыханен.

Над мясным рядом возносился на деревянных шестах вспоротый по осевой бледного брюха и распяленный по всей трехметровой длине питон. Продавец с деловым видом разделявал крокодила, и хозяйка в цветастой кофте — мапуге — и розовой головной повязке озабоченно прикидывала — взять ли ей филе или седло. Рядком на лотке лежали тушки пальмовых крыс в белесой редкой шерстке; с громадной морской черепахи был сорван панцирь, из растерзанной спины черпали мясо для супа; крошечные антилопы свешивали точечные головки с прилавков, их томные, удлиненные, будто плачущие глаза, казалось, еще видели; и жутью веяло от копченых нацельно обезьян, скрючившихся в позе утробного младенца. А еще тут торговали змеями, улитками и живой домашней птицей.

В рыбном ряду застыла такая плотная вонь, что мутилось сознание. Крупная рыба-капитан соседствовала с молоденькими, вершка по два-три, акулятами, морскими окунями, электрическими скатами, камбалой, с речными форелями и так называемой «серой» рыбой, с моллюсками, креветками, всевозможными крабами и рачками. То и дело подкатывали грузовички со свежим уловом морской и речной рыбы.

Немного поодаль торговали тканями, мужской и женской одеждой, самодельной обувью, фигурками из дерева, камня и слоновой кости, ожерельями, кольцами, браслетами из поддельного и настоящего золота, аляповатыми детскими игрушками, различными кустарными изделиями — от мужских ремней с фестоном до купкупа (род мачете), от темных очков до изящных кошелечков из разноцветных бусинок. В пыли под солнцем дремали разморенные зноем желтые африканские со-

бачки, не обращая внимания на машины, мотоциклы, велосипеды. Они знали, что им ничего не грозит, собак здесь жалеют и берегут...

Прямо от рынка мы взяли путь на Кабинду, провинцию борющейся Анголы. Мыском выходящий к океану, Заир отрезает Кабинду от остальной территории Анголы. Это сослужило добрую службу повстанцам. Кабинда полностью контролируется партизанами, португальским наемникам нелегко сюда добраться.

Мы мчались по неширокому асфальтовому шоссе мимо маленьких опрятных деревень с глиняными или каменными домами под двускатными, чаще всего железными крышами. Нигде в Африке не видел я таких чистеньких, прибранных деревень. И, как всегда, никакой, даже малой скотинки, только куры и петушки. В стране нет ни одной лошади, а ведь лошадей завезли сюда еще во времена де Бразза. Но все они погибли от мухи цеце, ныне ставшей здесь совершенно безвредной.

С ветвей высоких стройных пальм свешивались диковинные плоды — чернели груши на длиннющих стеблях. Но это вовсе не груши, а гнезда птицы неукосы, одной из немногих пернатых обитательниц Конго. Дорога то углублялась в мангровые заросли, в их гниlostное тепло, то вырывалась в пальмовый редняк, она почти не петляла, и мы держали сто двадцать километров в час, снижая скорость лишь в деревнях. И вот мы оказались на берегу неширокой речки, у погранзаставы: шлагбаум, будка, двое автоматчиков в шортах и широкополых шляпах. Впереди перед нами Кабинда, партизанский край.

Когда мы выходили из машины, третий солдат, удививший рыбу в речке, подсек и вытащил на берег какое-то серебристое полено со свиным пяточком. В жизни не видел ничего подобного: толстое, округлое тело — ни дать ни взять батон любительской колбасы в серебряной обертке — и пяточок на коротком рыле. Солдат взял рыбу и тут же выронил, будто обжегся. Рыба забилась на земле, стремясь к воде, и солдат стал ловить ее, обернув руку тряпичей. Эта фантастическая рыба мощно заряжена электричеством. Оказывается, она бьет током, даже когда ее потрошат.

Но рыба рыбой, а на заставе продолжалась тщательная проверка наших документов. До партизанского

края было рукой подать. Помните, во время Великой Отечественной войны — партизанская держава на Орловщине, где действовали советские органы власти, издавалась газета, дети ходили в школу, а немцы и носа не казали? Что общего, казалось бы, между Кабиндой и Орловщиной? А общего много: и здесь открыты школы, печатаются бюллетени, процветает самодеятельность, разрабатываются планы дальнейшего развития страны. Партизанское командование осуществляет всю полноту власти. Об этом мы узнали, правда, много позже, встретившись в штабе партизанского движения с заместителем командующего силами анголезского Сопротивления Ларой. На этот раз мы к партизанам не попали — не хватило чьей-то закорючки на пропуске.

Словно желая усугубить нашу неудачу, хлынул дождь, неудержимый, бурный, безуданный. Наконец-то мы узнали, что такое тропический ливень, а то у нас создалось впечатление, будто пресловутый сезон дождей — это скорее некая постоянно несбывающаяся угроза ливня с грозно клубящимися тучами, лезвистым блеском молний, раскатами грома и пригоршней горячих капель, тут же скатывающихся на земле в пыльные шарики. Сейчас не было ни грома, ни молний, но дождь лупил не переставая. Но вот обозначился просвет в той стороне, откуда низом напозала поливающая нас туча. Синева разрастается, вот-вот распахнется во все небо, да не тут-то было. Мгновенно переменившийся ветер гонит с океана другую тучу, как бы вдвигающуюся в первую, — синевы нет и в помине, серые хлопья ползут над землей, цепляясь за верхушки пальм. В довершение всего отказали «дворники» хваленого «пежо». Геннадий Иванович ведет машину вслепую. Мы потеряли наших спутников, потеряли весь окружающий мир за водяной завесой, и я отчетливо представил себе, каково это жителям Атлантиды.

Мы хлюпали сквозь дождь, утратив всякое представление о нашем местонахождении, как вдруг справа, внизу, открылся ширью океан, темный, вспененный; громадные валы пушечно рушились на берег. И щемяще-восторженно прозвучали во мне слова Александра Блока: «Есть еще океан!..»

Я был уверен, что ливень если и кончится, то новым всемирным потопом, но, когда мы достигли устья реки

Уилу, что в среднем течении именуется Ниори, а у истока — Ндио, небо разом расчистилось, заиграло солнце на желто-взмученной воде, прорезаемой неуклюжим паромом, а из маленькой пивной высыпали отдыхающие по воскресному дню жители приречного поселка и принялись отплясывать мамбу под звуки радиолы. Наши тут же кинулись фотографировать, а на площадке перед входом в пивную зазвучал гневный голос местного Цицерона. Африканцы — прирожденные ораторы, это общеизвестно. Голос старого плешивого трибуна то утончался до стопа флейты, то рокотал горным обвалом, в нем звучали гнев, укоризна, печаль, насмешка, возмущение и жесткая требовательность:

— Фотографируйте, о чужеземцы, нашу природу, — вещал старец, — если это доставляет вам удовольствие, наши джунгли и наш океан, нашу реку и наших птиц. Но оставьте в покое людей, особенно если они веселятся. Не касайтесь наших священных обычаев и наших развлечений, они не для вас. Но уж если вы переступили порог дозволенного, — тут голос его взлетел к горным высям — то платите по крайней мере деньги!..

Платить никому не хотелось, поэтому фото- и кинолюбители быстренько вернулись в машины. Перед тем как тронуться, переводчик Володя купил у какого-то паренька двух колибри, связанных за тонюсенькие лапки, и выпустил птичек на волю. Они мелькнули кобальтово-золотистыми вспышками и вмиг истаяли в воздухе...

Теперь нам предстояла самая волнующая часть программы — конголезский обед в ресторанчике на берегу океана. Но перед этим мы свернули к знаменитому ущелью Луанго, одноименному лежащей внизу бухте. На край этого ущелья век назад вышел де Бразза и обомлел при виде отверстого красного зева земли. Меж кустов по отвесной пади змейкой вилась тропинка, на дне ущелья скрывался в зарослях родник, и женщины спускались с глиняными кувшинами на головах.

К ресторану мы пробирались словно утайкой — низом, по едва приметной в траве и густом кустарнике проселочной дороге. Затем, с ходу одолев крутой подъем, вынеслись на запруженную машинами площадку перед рестораном, к самой кухне, располагавшейся под открытым небом. У жаровни орудовали две аппетитно-

толстые, как и полагается поварихам, веселые женщины; одна жарила шашлычки на коротких шампурах, другая опаливала щипаную курицу. Другие куры доверчиво крутились возле стряпух, расклеывая кишки и желудки своих незадачливых товаров.

Под сырным деревом за колченогим столиком устроилась веселая компания: молодые большеглазые женщины в национальной одежде — куски ткани, которыми были обернуты их длинные ноги, напоминали макси-юбки — и элегантные мужчины в костюмах-тропикаль и ярких галстуках. Светло-шоколадный тон лица некоторых женщин выдавал метисок. Женщины громко смеялись и высоко подымали бокалы с розовым вином.

В ресторане, вернее под соломенным навесом, где стояли длинные грубо сколоченные деревянные столы и лавки, былолюдно, шумно и по-домашнему просто. Тут все были знакомы между собой. Мужчины слонялись от стола к столу, похлопывали друг дружку по плечам, нежно целовали детей и церемонно — пальцы женщин. Я еще раз убедился, что смешанные браки не редкость в Конго, чаще встречается сочетание черного мужа с белой женой. Далеко не все дети брали поровну от отца и матери, нередко верх одерживало африканское начало, но никогда — европейское.

Наш провожатый, молодой ветеринар, учившийся в Советском Союзе, назвал нам собравшихся здесь. Сплошь — нынешние или бывшие президенты, вице-президенты, министры, был даже какой-то посол-министр, красавец двухметрового роста, с такой звучной и плавной французской речью, которой позавидовал бы Лабрюйер. Я никогда еще не попадал в столь изысканное общество. Мне думается, что всякая молодая государственность тяготеет к бюрократическому излишеству, создавая пышные должности и высокие чины в количестве большем, нежели то необходимо. Сказывалось и прошлое Браззавиля, административного центра французской Экваториальной Африки, чиновничьего рая. Стать чиновником было верхом мечтаний каждого честолюбивого конголезца. В дальнейшем я узнал, что сокращение и демократизация управленческого аппарата — одна из насущных задач республиканского правительства. Кстати, многие из знатных людей, сгрудившихся

на малом пространстве приморского ресторанчика, похоже, забывали о приставке «экс» к своему званию.

И был обед из десяти смен, с шашлыком, взрывающимся во рту, с двумя рыбными блюдами, с жареными цыплятами и рагу, с вареной маниокой и мелкотолчеными, заправленными оливковым маслом стеблями маниоки, напоминавшими то ли шпинат, то ли содержащее куриного желудка, с салатом-латуком, помидорами и огурцами, с сыром пяти сортов, с плодами манго, апельсинами, бананами и ананасом, с терпковатым белым и благоуханным розовым вином.

А потом мы купались в океане. Я лежал на заплеске под давно умерившими свой пыл мягкими волнами, вверху синело бездонное небо, в нем растворялись изумрудные верхушки деревьев, а там, за колченогими столбами, были все эти прекрасные женщины и столько разного начальства, и я думал, что это и есть счастье.

Когда уже в сумерках мы возвращались в город, предварительно навестив церковь, где хранился стол, за которым де Бразза сжедал и заготавливал липовые документы для обмана доверчивых царьков, а также католическую школу, где отец Годар с самоуверенным смирением служителя божьего рассуждал о любви к чернокожим братьям, в то время как его овчарка, ластясь к белым, оскаливала желть клыков на черных, чем разоблачала лицемерие пастыря,— мы вдруг увидели на дороге в свете фар чудо чудное, диво дивное. Перед нами на велосипеде ехала громадная серебряная рыба, по бокам ее литого тела ритмично двигались, крутя педали, худые черные ноги. Чудо объяснялось совсем просто: рыбак приторочил пойманную сеть рыбину (он называл ее акулой, но у конголезцев всякая большая рыба — акула) к двум жердям, закрепленным на багажнике. Рыба была так велика, что закрывала его со спины, лишь ноги торчали наружу...

На следующее утро мы отправились в порт. У причала — с десятков грузовых пароходов разного водоизмещения. Самые крупные прибыли из ФРГ, под названиями судов более мелким шрифтом выведено: Гамбург. Были суда из Южной Америки, Мавритании, Голландии и малыш из Дании, даже удивительно, как он отважился на столь дальнее путешествие. Светловолосые и заросшие, как хиппи, немецкие матросы в грязно-бе-

лых джинсах, повиснув в люльках над пучиной, подмалевывали облупившиеся имена судов.

Основа конголезского экспорта — матиба, красное дерево, действительно багряно-красное по распилу. Можно часами смотреть, как подвижные и с виду неосновательные автокары с платформой-зацепом ловко подхватывают из штабеля десятиметровое бревно — в поперечнике до двух метров, — подвозят к борту судна и сбрасывают наземь. Крановщик тут же подает стрелу крана с железным тросом, запетленным на конце. Грузчик в желтой спецовке накидывает петлю на бревно. Оно угрожающе повисает над причалом, над крошечными фигурками людей, жутковато ворочается в нетугой петле и, кажется, вот-вот рухнет вниз. Но этого никогда не случается, бревно держится в петле собственным чудовищным весом, создающим мертвый сцеп. Затем бревно, совершив полукружный полет и поколебавшись над палубой, исчезает в ненасытном трюме с глухим, похожим на вздох звуком. И все начинается сначала. Кстати, тонна необработанного красного дерева стоит пятнадцать тысяч конголезских франков, или шестьдесят долларов, а весит каждое бревно десять тонн.

И грузовой и рудный порт механизированы по последнему слову техники. Здесь работают французские специалисты, но рабочие — и рядовые докеры и высококвалифицированные — как правило, местные. В порту родился и окреп конголезский пролетариат.

Порт играет первостепенную роль в экономике страны. Сейчас конголезцы создают отечественную металлургию, исследуют недра — уже обнаружена нефть на дне морском и запасы подземного газа, — в собственность народа перешли пивные заводы «Примус» и кофейный завод, принадлежавший израильской фирме, строятся новые предприятия. Национализирован и пункт-нуарский порт, а также питающая его железная дорога из Браззавиля с веткой на Габон. Но если распределение электроэнергии и воды находится целиком в руках государства, то порт сдается в аренду французским компаниям.

Доходы государства складываются преимущественно из налогов, которыми облагаются компании, владельцы фабрик и заводов, а также из таможенных сборов: через

пуэнт-нуарский порт Габон экспортирует марганец, а ЦАР и Республика Чад — хлопок.

На стареньком, но вертком «пежо» мы долго крутились по территории порта, объезжая бесчисленные штабеля могучих бревен, которые в недалеком будущем станут либо честной современной мебелью, либо подделками под Буля, Жакоба, Чиппенделя, что так модны сейчас в Европе и Америке. В этих могучих нагромождениях как-то терялись другие грузы: то же красное дерево, но в разделанном виде, черное дерево, тюки с хлопком...

У нас еще оставалось время до отлета, и мы решили попрощаться с джунглями и океаном. Проехали окраиной города, зацепив лицей, где преподает Валентина Ивановна, но в гости не зашли — сегодня занятия во всех учебных заведениях отменены в связи с выборами в Молодежную организацию. Учащиеся собрались на большом лицейском стадионе для голосования. Достаточно было беглого взгляда на бурлящую, разгоряченную, бешено жестикулирующую толпу парней в желтых брюках, желтых приталенных рубашках навыпуск и девушек — белые кофточки, синие юбки, чтобы понять, как заинтересованы молодые конголезцы в общественной жизни...

Джунгли встретили нас на подступах высокой опаленной травой, вмиг испачкавшей копотью нашу одежду, в чаще — болотной топью, ручьем в глинистом русле, плетением живых и бородами мертвых лиан, духотой, влагой и чарующей тихой музыкой, рождаемой маленькими голосами незримых птичек, насекомым стрекотом, пилением, сильным ростом зеленой жизни, что-то отстраняющей, отгалгивающей, сбрасывающей на своем пути, а также черной многощожкой, деловито и не без изящества перешолзавшей по коряжкам ручей... Мы выбрались из зарослей и сели в машину. Джунгли остались позади, но океан не отпускал нас, пока мы не въехали в город. Он возник еще раз — всей своей необъятностью — под крылом самолета и скрылся навсегда. Впрочем, почему навсегда? Когда-нибудь, быть может в той же Африке, мы вновь встретимся с ним.

1972 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Хохлов. Своя чеканка</i> . . . . .	5
На земле Марокко . . . . .	11
У порога страны . . . . .	11
Дурной глаз . . . . .	13
Мимозы . . . . .	16
Нищий . . . . .	18
На дороге . . . . .	21
Ремесло . . . . .	23
О простоте . . . . .	25
Покупка велосипеда . . . . .	26
Волюбилис — мертвый город . . . . .	30
Сокровище королевского дворца . . . . .	33
В берберском жилище . . . . .	36
На верблюжьем торжище . . . . .	38
Две встречи . . . . .	43
Содом и Гоморра . . . . .	47
Шофер Хуан . . . . .	55
Плата за вход . . . . .	61
В пальмовой роще . . . . .	68
Солдат . . . . .	70
Антуан . . . . .	72
Козы . . . . .	75
Кумушки . . . . .	77
Луксорский извозчик . . . . .	80
Ахмад Неисчерпаемый . . . . .	85
Музыкальная коробка . . . . .	100
Они любили своих детей . . . . .	108
Страна рослых людей . . . . .	121
Из нигерийской тетради . . . . .	154
День в Дагомее . . . . .	197
Кенийские очерки . . . . .	208
Пуэнт-Нуар . . . . .	232

**Юрий Маркович Нагибин**

**МОЯ АФРИКА**

**Путевые очерки**

Утверждено к печати  
Институтом востоковедения  
Академии наук СССР

•

Редактор *Л. Ф. Керцелли*  
Младший редактор *Г. А. Бурова*  
Художник *Э. Л. Эрман*  
Художественный редактор  
*И. Р. Бескин*  
Технический редактор  
*Л. Ш. Береславская*  
Корректор *М. Э. Шафранская*

•

Сдано в набор 18/II 1972 г. Подпи-  
сано к печати 21/XII 1972 г. А-10269  
Формат 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. № 1. Печ.  
л. 7,75. Усл. п. л. 13,02. Уч.-изд.  
л. 12,76. Тираж 30 000 экз. Изд.  
№ 2949. Зак. № 1216. Цена 54 коп.

•

Главная редакция восточной  
литературы издательства «Наука»  
Москва, Центр, Армянский пер., 2

Ордена Ленина типография  
«Красный пролетарий»  
Москва, Краснопролетарская, 16.

## Юрий Нагибин

**Н16**      Моя Африка. Путевые очерки. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1973.

245 с. с илл.

В книге собраны очерки, новеллы-были, документальные рассказы известного советского писателя, созданные им под непосредственным впечатлением от многочисленных поездок в страны Африканского континента. Очерки-рассказы эти знакомят читателя с природой, живогным миром, искусством, бытом, обликом городов и деревень, социальными проблемами и общественной жизнью ряда стран современной Африки: Марокко, Туниса, Египта, Судана, Нигерии, Дагомеи, Кении, Народной Республики Конго.

91ц

2-8-1

126-72

**ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ  
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»**

**ВЫЙДУТ В 1973 ГОДУ**

**Горбатов О. М., Черкасский Л. Я. Сотрудничество СССР со странами Африки и Арабского Востока (1917—1967). 25 л.**

**Демкина Л. А. Национальные меньшинства в странах Восточной Африки (социально-экономическое и политическое положение индо-пакистанского и арабского населения). 7 л.**

**Кузьмин С. А. Системный анализ экономики развивающихся стран. 18 л.**

**Кулик С. Ф. Современная Кения. 25 л.**

**Куприянов П. И. Сельское хозяйство Ганы (1950—1965). 10 л.**

**Заказы на книги принимаются всеми магазинами книготоргов и «Академкнига», а также по адресу: 117463, Москва В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин № 3 («Книга — почтой») «Академкнига».**

**Цена 54 коп.**